


РБ  
ЕББ

ГЕННАДИЙ  
ЕМЕЛЬЯНОВ



БАБЬИМ  
ЛЕТОМ

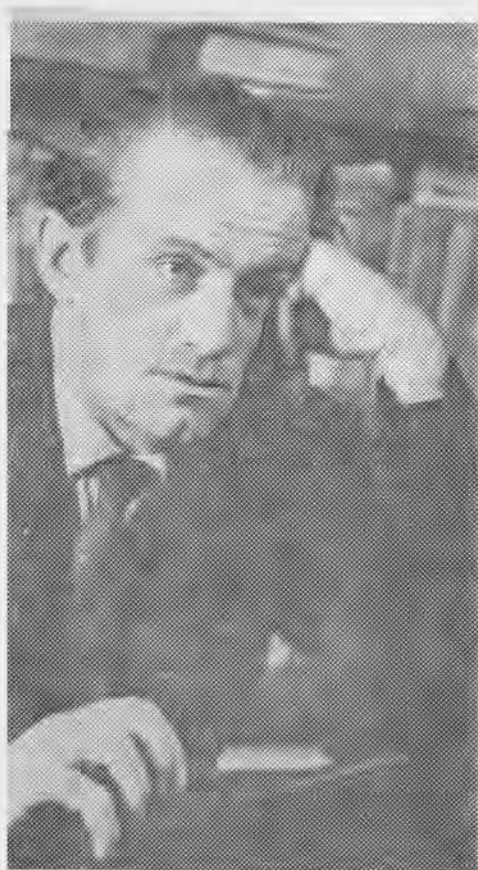
ДАЛЁКИЕ  
ГОРОДА

568104

ОДЕЛ  
КОНТОХРАМЕНИЯ

ЗК

90171(x) 88



ГЕННАДИЙ ЕМЕЛЬЯНОВ

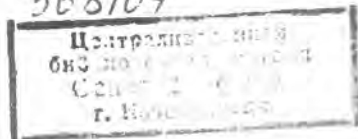
# ДАЛЕКИЕ ГОРОДА

---

# БАБЬИМ ЛЕТОМ

ПОВЕСТИ

Кемерово,  
Кемеровское  
книжное издательство  
1979



P<sub>2</sub>  
KE60

**Емельянов Г. А.**

**Е-60** Далекие города. Бабьим летом. Повести. Художник  
В. Д. Беляев. Кемерово, Кемеровское книжное изда-  
тельство, 1979

400 с., 30 000 экз.

Книгу составили произведения о становлении характера моло-  
дого современника. Герои обеих повестей — студент Федор Анань-  
ин и только получивший диплом журналиста и ставший сотрудни-  
ком районной газеты Гурий Лопатин — учатся думать и жить не  
по учебникам, а сталкиваясь с многообразной и сложной действи-  
тельностью, с хорошими и плохими людьми.

Е  $\frac{70302-5}{M145(03)79}$  19-79

P<sub>2</sub>

# ДАЛЕКИЕ ГОРОДА

---

1

Я выскочил в тамбур, взялся за скользкий поручень и свесился под дождь.

Мать на перроне подвинулась поближе — маленькая, худая, как девчонка, в сером плаще и сапогах с калошами. Она ничего не могла сказать, у нее вздрагивал подбородок.

— Да не плачь ты, хватит! Не на войну же едет! — уже в который раз повторил отец, — гордиться надо, а она, понимаешь — нет, ревет белугой.

— А ну вас! — мать заправила под платок мокрые волосы и поджала губы, сдерживаясь, — совсем забыла, господи прости! В корзине там курица, сверху лежит. Ешь сначала курицу, не то протухнет. И это... соль там в белом мешочке... Да не выскакивай на станциях и за вещами поглядывай: люди всякие едут...

3

— Провинция,— уныло сказал отец и потрогал боро-  
денку.

— Помолчи, Фрол!

— Радоваться бы, понимаешь — нет...

— Один он у нас, Фрол! — мать заплакала, утирая слезы кулаком,— оди-и-ин.

Поезд сейчас тронется, повезет меня к новой жизни, а они сядут в тесный «бобик», выпрошенный ради такого случая у председателя колхоза, и будут пробираться по раскисшей дороге до позднего вечера, если нигде не застрянут.

С крыши вагона редко и тяжело падала мне на затылок вода.

На перроне появился дежурный в красной фуражке. Паровоз закричал, вагон дернулся, вокзал белого кирпича качнулся и поплыл. Родители мои замахали платками.

Потянулись мимо мокрые крыши, мелькнул жидкий рядок тополей и пошли невеселые дворы со стожками свежего сена, макушки которых накрест были придавлены досками. Желтые тропки разбегались врозь, к дальнему чернолесью. Уходила назад глухая сибирская станция Топь.

Я встал на нижнюю ступеньку сходней и снял кепку. Старики мои уже не махали платками, только смотрели напряженно вслед поезду.

И все!

— До свиданья!

Меж туч проглянуло солнце и раскинуло на небе дымную паутину. Дождь сделался стеклянным, и вода на про- водах вспыхнула синеватым огнем.

Солнце тут же пропало. День улыбнулся и снова нахмурился. Ничего. Мать говорит, что уезжать в дождь — к добру.

Запахло сырой полынью.

Я еще собирался стоять на воле, но проводница захлопнула дверь вагона и сердито сказала, что в тамбуре



делать нечего. Я поплелся в купе. Впереди у меня была длинная дорога.

Мне вдруг захотелось домой, обратно. Я представил, как спускаюсь к селу по рыжей дороге, пью воду из Шилова ключа, ополаскиваю лицо, шею и утираюсь рукавом. На дне ключа кружатся ягодки костяники и ржавые талиновые листья. В деревянном корытце перекачивается ручеек, болтается на воде берестяной ковшик, привязанный веревочкой к гвоздю.

Я отдыхаю на пеньке, от которого пахнет опятами, встаю и сворачиваю на тропку: здесь ближе — напрямик и через лог.

Тропка скользкая и переплетена корнями.

Стучит где-то кедровка: тум-тум. Замрет и снова, уже часто, яростно: тум-тум-тум! В узком просвете между сосен я вижу тучу, она ослепительно белая и похожа на тюк раздерганной ваты. За белой тучей тянется синь. Через час того и гляди ударит дождь — может, короткий, может, затяжной. Не угадаешь.

За сосняком будут старые вырубки, заросшие смородиновым кустом и жимолостью.

Я пройду мимо большой поляны на берегу Шумихи. Там наверняка пусто.

Сразу за поляной будет молоканка, похожая на скворечник, и погреб, обложенный опилками. От молоканки тянет кислым, на измятых бидонах, выстроенных вдоль дороги, поблескивают капли молока. Отсюда начинается улица Ленина — главная и единственная. Она тянется сперва вдоль Шумихи. Река берет круто вправо, а улица тянется дальше по прямой и упирается в скалу. Здесь улице ходу не было, тогда она завихрилась, как ручей, и уступами поползла вверх. Поселок, если смотреть на него с какой-нибудь сопки, напоминает гетманскую булаву с длинной рукояткой.

Есть у нас на улице Ленина и площадь — вытопанный пустырь с полгектара. В май и на октябрьские мимо зеле-

ной трибуны проходит колонна с кумачом лозунгов и знамен.

На площади же стоит и клуб — бревенчатый домина в два этажа. В палисаднике перед клубом растут анютины глазки и бессмертники, есть еще облупленная статуя пионерки с барабаном и Доска почета.

...Неужели я никогда уже не буду зоревать у реки и не пойду на охоту по первой пороше! Сколько холодных ночей высидел я у костра — и не счесть. Ночи у нас необыкновенно темные, звезды — крупные.

Я люблю смотреть, как огонь синей стежкой бежит по березовым поленьям, как береста закручивается кольцами и чернеет, исходя жаром.

Потянет вдруг низом ветерок и зашевелится в сосняке; на осинах прозвенят листья, головешки в костре обольются темно-малиновым цветом и побуреют, гулко застреляют дрова. Дым от костра стелется косою и сливается с туманом. В черемушнике рядом стонет какая-то птица да пилит коростель — трик-трак, трик-трак.

От села до устья Незванки надо идти сыпучей тропой верст тридцать с гаком. Путь по-таежному неблизкий, зато места хоть куда и рыба есть — таймень, хариус, усуч, ну и всякая мелочь. Осенью особенно хорошо здесь. Утром, еще по инею, начинается листопад. Лист падает и кружится — желтый, оранжевый, кровавый. Кружится без конца. Поднимается солнце и зажигает воду. Красная рябь подползает к берегу и кладет на песок неровную полосу пены. Туман вздымается и тает. На заимке ниже по течению кричат петухи.

К заморозкам Незванка совсем высветляется, и вода на плесах играет, будто парной воздух над пашней. Всякий камушек на виду, и скользят у самого дна черные рыбины, серебряной кашей кипят гальяны.

Хариус, когда на него нападет жор, будет клевать с утра до вечера, но если уж жора нет, сматывай удочки и не

старайся взять на уху — только продрогнешь да изведешься.

Хариус берет на быстрине или в ямках. Червяк на живую надо копать по-над берегом, лучше под камнем у самой воды. Червей кладут в мешочек со мхом хотя бы на ночь, лучше — на две. Тогда дело верное, не промахнешься. На овода еще ловят или на мушку из рыжего волоса.

Есть у нас на пасеке мужик по фамилии Суходолов. Борода у него аж до пояса и цвета крепко обожженного кирпича. Суходолов, когда выпьет, кромсает бороду ножницами и продает пацанам ради шутки по тридцать копеек за пучок. Покупатели заворачивают волосы в бумажку и кладут за пазуху как драгоценность: на мушку из бороды пасечника хариус в очередь стоит и хватает с необъяснимой охотой...

Неужели все это не вернется ко мне никогда?

А поезд стучал и стучал колесами — торопился...

2

На вторые сутки наш вагон опустел.

В купе ко мне села востренькая старушка с котомкой, от которой пахло яблоками, и угостила меня пирожком с морковкой. Я вежливо жевал пирожок и смотрел в окно. Старушка задремала, сложив на колени руки.

Скоро — город.

За окошком бежал ровный сосняк и одинаковые домики с желтыми крышами. Люди провожали поезд глазами и никто не махал нам вслед, загородившись от солнца ладошкой. Даже ребятишки не махали.

Старушка встрепенулась и ткнула черным ногтем в стекло.

— Приехали уж, ох-хо-хо! — и поволокла свою котомку в тамбур.

7

Я был здесь чужой, никому ненужный. И город — суровая громадина — пугал меня своим будничным, натруженным лицом. Я ведь никогда не бывал в больших городах. Помню, в пятом классе преподавала у нас русский язык пожилая, очень обходительная женщина, эвакуированная из Ленинграда. Она тосковала по дому и не скрывала этого. Я спросил у нее однажды: что такое паркет? Она погладила меня по голове, прижала к мягкому животу и сказала:

— На отшибе вы, далеко от мира и трудно вам будет после...

Она пожалела меня тихой, снисходительной жалостью, а я рассердился и уже никак не мог полюбить ее снова.

Над городом стлались дымы, тянулись какие-то складки, по кривым улицам ползли трамваи, переламывались на поворотах, точно червяки. Наконец, поезд остановился у дощатого перрона. Я вышел, поставил чемодан и еще раз ощупал толстовку. Во внутреннем кармане у меня лежал конверт, который дала мать перед отъездом. Адрес я помнил наизусть: Военный городок, Первый Северный проезд, дом четырнадцать, квартира шесть. Спрашивать Кулагину Анастасию Федоровну. Эта Анастасия Федоровна росла с моей матерью в одной деревне, они учились на вечернем рабфаке в городе Минусинске. Мать рассказывала о той поре часто и кончала рассказ одинаково: прошла, минула молодость, теперь-то уж и ждать нечего.

— Настасье,— говорила мать нараспев,— грех жаловаться: жила и живет в свое удовольствие, весь свет исколесила, на людей посмотрела и себя показала. Не из робких баба: хоть и на чужое не позарится, но и своего не отдаст.

Переписывались они редко и от случая к случаю. Письма приходили к нам из Новосибирска, из Магадана и Свердловска. Последнее было из нашего краевого центра.

Анастасия Федоровна сообщала, что имеет теперь другого мужа, что новый ее спутник жизни — ответственный товарищ, инженер-геолог — и сошлись они в Магадане. Сама она не работает и занимается исключительно воспитанием

ем сына. Ее не мучают угрызения совести, поскольку в свое время она отдала Советской власти много сил и здоровья, так что пришла пора пожить немного и для себя.

Мать после этого письма не находила покоя несколько дней и все вспоминала вечерами про Минусинск и про рабфак.

Настасья тогда работала в ГПУ и отстреливалась от бандитов из нагана, агитировала за коммуну, верхом, как заправский мужик, обскакала всю волость и ничего-то-ничегошеньки не боялась, бедовая такая была — страсть! И еще Настасья — писаная красавица: глаза имеет лазоревые и большие, а зубы — белее сахара.

— Из-за нее начальник застрелился. В каком году это было, Фрол?

Отец мычал как от зубной боли и закрывался газетой.

— В каком, Фрол?

— Кто ее знает...— отвечал отец и в сердцах бросал газету на пол.

— Ну, а Степаненко Порфирий? Степаненко, я тебя спрашиваю? Порфирий.

— Что Порфирий?

— Не ухлястывал он за ней, скажи?

— Ухлястывал. Тому бы юбка только. Любая! — отец, побагровев, сгребал газету с пола, — все ее любили, все без исключения!

Круглое лицо матери делалось злым, в ушах плясали серьги-ягоды.

— Ты каменный, Фрол, ты черствый!

— Да я разве мешаю? Рассказывай, понимаешь — нет, сколько душе угодно. И про Настасью — пожалуйста! — отец удалялся в другую комнату, от греха подальше, на затылке у него гребешком торчали волосы и скорбно высвечивала плешь.

У матери сразу пропадала охота говорить, она громко стучала посудой на кухне и вздыхала.

Приезжая публика выкатила меня на при вокзальную площадь, которая кипела, как базар. Эти двести метров от вагона до площади стояли кровушки: я натыкался на узлы и чемоданы и никак не мог обогнать проводницу, она с усердием муравья тащила полосатый мешок с пустыми бутылками и гремела, как разбитая телега.

Был уже вечер.

На площади рядами выстроились такси, шоферы встречали нас у ступенек вокзала и скучно спрашивали, не надо ли подбросить. Бывалые люди в поезде не советовали мне брать такси: шоферня, мол, в больших городах жулик на жулике — будут возить по закоулкам, пока не кончится бензин, и оберут как липку.

Я сел на чемодан в стороне, чтобы переждать суматоху, а потом уж спрашивать, каким транспортом добираться до этого самого Северного проезда.

Мне все еще не верилось, что я в городе, что имею право, как и другие здесь, забраться в троллейбус и прокатиться куда глаза глядят, могу купить мороженое вон у той тетеньки с крашеными губами или зайти вон в тот кинотеатр и спросить в кассе билет на одного или на двоих... Чудно!

Я искренне убежден был тогда, что в городах живут особенные люди, не лучше, может быть, нас, но особенные.

Над кинотеатром через площадь зажигались и гасли зеленые буквы с вилюшками — «О пожаре звоните по телефону 0-1», рядом горела реклама муравьиного цвета: «Граждане, вас приглашают курорты юга!» Кого это «вас?» Меня, например, еще никто не приглашал плыть по морю на белом пароходе. Я еще нездешний, я гость, но дойдет и до меня очередь — пригласят когда-нибудь обходительные товарищи совершить путешествие по историческим

местам Черноморского побережья. Чем, граждане, я хуже других?

Гулко хлопали дверцы машин на площади, и такси разбегались во все четыре стороны как на пожар.

— Вот и мой пассажир. Скромный такой товарищ.— Возле остановились двое — большой мужчина в кожаной курточке и берете, он крутил на пальце ключи и глядел сумрачно, будто я только что залез к нему в карман. Второй был меньше, худой и русоголовый, в его круглых глазах было веселое любопытство.

— Нельзя же тебе за баранку, Алексей, мне ведь не жалко,— угрюмо сказал большой и зажал ключи в кулаке.

— Вот новость-то, нельзя! Иди пиво пей, я мигом. Охота прокатиться. Куда тебе, парень?

— Военный городок.

— Это далеко. Но доведу.— Худой потащил меня к желтой «победе», помог уложить чемодан в багажник, велел сесть впереди, и мы поехали. Большой остался на площади и вяло махнул нам рукой.

Таксист смотрел на дорогу и долго пел странную песню: «Ах, неужели лопнут шпоры, шестерка не возьмет коней? Моя погибель неизбежна, уверен твердо в этом я», а когда спел эти слова на несколько рядов, взялся расспрашивать, откуда я такой хороший и зачем явился в столицу нашего края? Я отвечал с охотой и не боялся его: не такой он вроде человек, чтобы обманывать.

Мы проехали через центр, мимо театра, свернули направо, в считанные минуты оставили позади короткую улицу, дома на которой были одинаково серые, и вырвались на пустое шоссе. Оно бежало все прямо и прямо — через пустырь, засаженный картошкой. Впереди, далеко, мерцали редкие огни. Параллельно шоссе и с обеих его сторон тянулись без перерыва черные трубы, уложенные на козлы из бревен метра в два высотой.

— Зачем трубы, а?

— Здесь болото,— ответил шофер,— торфяники. Через эти трубы грунт намывают. Строить скоро начнут.

— Жилые?

— Да, в основном жилые. Городу расти надо, а места ему уже нет, горы кругом, сам видишь.

— Вижу. Скоро?

— Доведем мы тебя, Федор-друг, ты не дрейфь, и концы в воду. Мы быстро. Семен там беспокоится.

— Напарник?

— Друг. Его машина, я прав не имею, отобрали права.

— Почему же?

— Медицина не велит. Меня Алексеем зовут, кстати. Где-то здесь обитают твои знакомые. Беги, и концы в воду.

— А деньги?

— Не надо денег, мы же катались. Ну, счастливо тебе. Мир тесен, доведется, так и встретимся. Узнаешь?

— Узнаю, конечно.

— Беги, Федор-друг.

Я остался один на шоссе.

Было здесь тихо, как у нас в селе, пахло дождем и прелым деревом. На небе уже проступали звезды и над крышами вытягивались в ниточку, таяла каленая полоска заката.

Шоссе пересекала улица, освещенная редкими фонарями. Где-то здесь и живет Анастасия Федоровна Кулагина. Я прошел немного вперед и попал в узкий коридор между крохотными палисадниками с заборчиком из металлических полос. Палисадники тянулись вдоль двухэтажного дома, справа была тесовая стена, впереди виделся двор и сарай. Я прижался к заборчику, потому что рядом была лужа. В лицо лезли ветки, ноги разъезжались на тропе, и ступать приходилось осторожно.

«Город тоже, грязь непролазная!».

Кулагины жили на первом этаже. Я откашлялся и нажал кнопку звонка. Сердце мое зашлось, точно на качелях.

— Кто там? — голос был далекий и глухой.



— Анастасия Федоровна? — я помялся и добавил: —  
К вам, из деревни Знакомые тут.

Звякнула цепочка, щелкнул замок.

— Входите.

Я не поднимал глаз и не видел ее лица. Я смотрел на халат. Он шелестел и переливался цветами радуги.

Булавка на кармане, в котором лежал толстый конверт, никак не поддавалась и я вырвал булавку вместе с куском подкладки.

— Головной убор в доме снимают, молодой человек. Вас этому не учили?

Нас, конечно, учили, не такие мы темные. «Сейчас уйду — на черта мне такие знакомые! На крайность переночную где-нибудь, не пропаду».

Она повернулась спиной ко мне, разорвала конверт и выронила фотографию.

На этой фотографии я снят в новехоньком матросском костюме, я сижу на стуле, и мои ноги не достают земли. Ноги тонкие, как лапша, и в чулках. Уши у меня оттопырены, а рот распахнут, потому что фотограф — носатый и лысый старик — обещал птичку, она выпорхнет из аппарата и исполнит песенку «Ой, Дунай мой, Дунай». Рядом, опершись на мое плечо, выпятился толстощекий мальчик — это Владлен, сын Анастасии Федоровны; его воспитанию она и посвятила остаток жизни.

На обороте карточки написано: «Минусинск, июль 1936 года». Мне было тогда пять лет от роду.

Анастасия Федоровна попятилась, и, не отрываясь от письма, присела на диван. Рука ее, расслабленно брошенная на валик, то сжималась так, что белели суставы пальцев, то разжималась.

Я изучал квадратную прихожую в темных обоях, потом заметил, что ботинки мои грязные и на коврик у порожка оставили следы.

— Извините, — голос мой был хриплый, как спросонья.

Анастасия Федоровна подняла голову.

Мать правду говорила: глаза у нее лазоревые, большие и приятные. Я не поймал в них никакого выражения. Она, пожалуй, лишь слегка удивилась, что я оторвал ее от дела, и только.

— Извините. Мне пора.

Она вздернула брови и опять уткнулась в письмо, а мне показала место рядом с собой. И больше уже не приглашала садиться. Я упрямо стоял у порога, меня угнетали эти пятна на коврике, к тому же я с утра ничего не ел, кроме разве пирожка, которым угостила в вагоне старушка. Уйти вот так сразу неудобно, а толкаться в дверях тоже мало удовольствия.

Она отложила, наконец, письмо, встала, подошла близко, захватила мои щеки ладонями, поцеловала в лоб, в губы, и отступила на шаг.

— Вымахал-то, господи! А на кого похож? Ни в мать, ни в отца... Сам по себе, да? Время-то бежит, торопится! Я вежливо кивнул: торопится время.

Она зашелестела халатом, пропала за дверью и привела доброго молодца в пестрой пижаме.

— Это — Владлен и есть.

У Владлена волосы были напомажены и лежали на голове, как крем на торте — аккуратными завитушками. Он покачался с носка на пятку и подмигнул, раздувая щеки:

— Ну, здравствуй, здравствуй. Маленький ты ябедой был. И драли же меня за твои доносы! Теперь-то отольются мои слезы, берегись! — он еще подмигнул и показал в улыбке хорошие зубы. — Помнишь, как вместо сахара соды наелся?

Я не помнил.

— У тебя спрашивали: «Федька, ты чего так плохо говоришь, совсем ты, Федька, косноязыкий?» А ты отвечал: «Шода язык шъела». Я вот помню.

— Ты же на шесть лет старше, — сказала Анастасия Федоровна.

Владлен поднял мой чемодан.

— Пошли. В ногах правды нет.

Столовая у них была в два окна и тоже квадратная, оклеенная веселыми обоями — васильки по светлому фону. Полированный стол, пианино, оттоманка, несколько венских стульев. Над столом низко висела круглая люстра с хрустальными подвесками.

Начались, конечно, расспросы: как живется там, в деревне, сильно ли изменились мои родители — Фрося и Фрол?

Почем я знаю — сильно или несильно, для меня-то они всегда одинаковы, для меня они не меняются. И живем мы, как все — обыкновенно.

Мы ужинали и пили чай. Я остался у них ночевать.

4

Звук был низкий и раскатистый, как гудок парохода. Звук пришел из самой глубины сна, налился силой и вдруг лопнул, рассыпался каплей. Я проснулся, но не открывал глаз. Я чувствовал солнце — оно теплыми бликами касалось моего лица. В форточку задувал ветер, пахло железом и нагретой краской. Звуки снова побежали, торопясь, и снова погасли. Я приподнялся на локте, чтобы посмотреть, кто есть в комнате.

Владлен сидел ко мне спиной у раскрытого пианино и тыкал по клавишам одной рукой, в другой дымил папироса.

На полу перевернулось отражение тюлевых занавесок и в нем тоже кипело, текло солнце.

Я проснулся счастливым. Я тогда часто просыпался счастливым.

Владлен обернулся. В его больших зеленых глазах с девичьими ресницами тоже, показалось мне, была беспринципная радость.

— Доброе утро, товарищ Ломоносов. Как спалось?

— Хорошо спалось.— Я прошлепал по теплому полу, забрался на стул и высунул голову в форточку.

За домом тоже были палисадники, разбитые на ровные квадраты. Напротив окна росла черемуха. Было еще рано, и песок на дорожке высыхал пятнами.

На нижней ветке черемухи сидел пегий голубь, перья на его грудке сердито топорщились, он гукал басом, переступал лапками и бочком подвигался на самый конец ветки, потом улетел, вспугнутый кем-то. На дерево черным градом упали воробьи.

Дальше, за черемухой, был виден пятиэтажный кирпичный дом без крыши.

— Что там строят?

— Школу вроде...— Владлен потянулся, стрельнув в форточку окурком и положил руку мне на плечо. Рука была теплая, участливая, и мне стало вдруг до очевидного ясно, что я могу полюбить этого парня. Мне показалось в ту минуту, что живем мы вместе давно и никогда не расставались, и мне сейчас же захотелось сделать ему приятное. Я привез банку майского меда, и она лежит в чемодане. В старые времена, говорят, мед наших мест, как особый по качеству и аромату, поставляли к столу самого государя-императора, теперь же пасеки вывелись, потому что к этому промыслу почему-то нет интереса. Мать наказывала довести баночку до города и угостить медом Анастасию Федоровну. Я отдам этот мед ему.

Владлен наигрывал одним пальцем «Сердце красавицы склонно к измене».

— Пойдем завтракать,— сказал он и захлопнул крышку пианино,— мать, наверно, ждет.

Анастасии Федоровны на кухне не было, Владлен приказал мне закрыть и придерживать дверь, а сам запустил руку в нутро посудного шкафа по самое плечо — что-то искал там и гремел тарелками.

— Далеко прячет! — он засмеялся и поставил на стол початую бутылку, налил две рюмки под самые краешки,

опрокинул свою единым махом, вытянул трубочкой губы, выдохнул и крикнул: — За встречу. Ты живей шевелись, мамаша застучает — не сдобровать.

— Это что?

— Коньяк, да живее ты!

Отказаться я не посмел: за встречу по всем статьям надо пить, а потом ведь дают — бери, бьют — беги.

— Крепче самогона, зараза! И клопами воняет.

— Не крепче, допустим, но зелье серьезное. Еще по одной?

— Мне хватит.

Владлен выпил еще, запихал бутылку обратно и едва успел замести следы: в окошко с улицы постучала Анастасия Федоровна. Она держала у груди руки, испачканные землей. Мне кивнула через стекло и постучала еще.

Владлен загородил рюмки спиной и открыл створку.

— В чем дело?

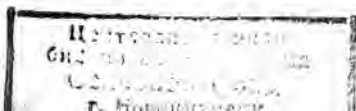
— Помоги, одна не справлюсь.

Мы пошли во двор.

Деревянное крыльцо только что помыли, и мокрые доски приятно холодили ноги. Доски курились паром. Тени во дворе были резкие, а небо начинало уже подбеливаться зноем. Я сел на ступеньку.

Крыльцо с обеих сторон огораживали заборчики из узких, похоже алюминиевых полос. На полосах были дыры в форме ложек. Наверно, поблизости есть завод, который штампует эти самые ложки. Столовые. Все кругом было обыкновенно: заборы, лужа, небо. Двухэтажный дом, где жили Кулагины, был в оспинах, сквозь которые пучилась дранка.

По дорожке мимо вышагивал дюжий гусь с фиолетовыми отметинами на крыльях. Гусь вытянул шею в мою сторону, открыл клюв и засипел, помаргивая красными глазками. Ишь ты, серьезный какой! Я кинул в него камешек. Гусь пошипел еще и, не теряя достоинства, удалился за угол.



568104

Владлен сел рядом на ступеньку и принялся рассказывать длинный анекдот о медицинском институте, но осекся: к нам суровой поступью боярыни двигалась Анастасия Федоровна. Она была в стареньком сарафане и платочке, повязанном клинышком. Из кармана красного передника у нее лезвием вверх торчал кривой садовый нож. Она остановилась подле нас. Владлен подтянул колени к подбородку и спросил не очень вежливо:

— Что тебе?

— Помогги, я же просила.

— Малину делить? Нет уж, уволь. И есть такой закон, мамочка: накорми, напои, после уж дело требуй. В русских народных сказках — а ты мне в детстве много читала русских народных сказок — этот момент выпячивается особенно остро.

Анастасия Федоровна сердито поджала губы.

Я поднялся и кашлянул:

— Разрешите мне?

Черемуха, которой я давеча любовался, росла в палисаднике Кулагиных. Под ней стоял столик на неошкуренных сосновых жердочках да грубая лавка без спинки. От калитки к черемухе шла дорожка в один след. Все здесь было ухожено так, словно эти метры, обнесенные зеленым штакетником, кормили семью. Грядки были высоко и пышно взбиты. Я вспомнил свой огород на полгектара, поросший у прясла крапивой и полынью. У нас земли не жалеют!

На грядках щепотьями торчал пожелтевший лук, в междурядьях вились по ниточкам прядки гороха, было много цветов — георгины, розы, маки. Названий других я не знал. На цветах сочно, литыми каплями блестела вода. «Кто же поливает утром, под жару? Под закат, оно больше подручно: тогда и корень влагу берет, и земля пьет вдосталь».

Пока я стоял и осматривался, боясь сойти с тропки, Анастасия Федоровна нашла под столиком ржавый топор и позвала меня в тень, за черемуху: там штакетник, примы-

кающий к общему забору со стороны школы, был повален и подмял малину.

— Подними загородку,— сказала Анастасия Федоровна и приберй крепче,— она сунула мне мокрый топор и громко добавила: — До седых волос некоторые дожили, а ни стыда у них, ни совести! Вы малину помяли, гражданин Титков?

На соседнем участке возился носатый старик, он повернулся к нам, опираясь на черенок тяпки, и посмотрел из-под очков со спокойным любопытством. Его плешь отливала темной медью.

— Мне снова в домоуправление обращаться, гражданин Титков: Или уже в милицию.

— Малина эта не ваша, уважаемая, я ее сам высаживал. В питомник за корешками ездил, в подсобное хозяйство,— ответил гражданин Титков, сглотнул и опять, скосившись, незлобно и с любопытством посмотрел из-под очков,— я же вам объяснял, уважаемая.

Анастасия Федоровна подтянула концы платка и покрутила головой:

— Несерьезно ведете себя, Титков!

Титков вздохнул и почему-то согласился:

— Несерьезно, я понимаю, но как же с вами иначе, соседка? — он широко развел руками и уронил тяпку, поднял ее, натужно разогнулся,— вы ведь меняетесь. Вы мельчаете, соседка. И очень это печально. Да.

— Не ваше дело, Титков!

— Не уверен, совсем не уверен,— он раздумчиво потер щеку пальцами и на этот раз сноровисто поймал черенок тяпки, зажал его в кулаке.

— Я все-таки буду жаловаться!

— Ради бога! Только ведь малина не ваша, нет.

Я глупо топтался возле них, царапая босые ноги о кусты и не решался поднимать забор: эта сцена меня тяготила. Я ударил топором, не оглядываясь. Я не хотел, чтобы этот самый Титков смотрел мне в затылок и следил за

ним исподтишка, но он не обращал на меня внимания. Было неловко, будто я крал у ближнего кусок из-под носа. Взрослые люди, а паршивую малину не поделили, возьми их за рупь двадцать!

После завтрака Владлен позвал меня к себе в боковушку. Он сидел у столика за лишущей машинкой.

— Мой кабинет,— сказал Владлен и широко повел рукой.

В узкой комнатке едва помещалась кровать, два стула и тумбочка с книгами.

— Ты, Федька, стихи сочиняешь, коли на факультет журналистики поступать собрался,— к лирике склонен? — Владлен подмигнул мне и вытер пыль с машинки рукавом пижамы.

«Богато живут,— подумал я,— машинку вон имеют. Наверно, дорогой инструмент».

— Тут понимаешь, какое дело... Помощь нужна. У меня приятель есть, со странностями товарищ, артистическая, так сказать, натура. Он на практику в Сызрань уехал, а мне завещал посылать письма своей возлюбленной на главпочту до востребования. Смешно, правда?

— Непонятно что-то... Почему же он сам не напишет из этой, как ее, из Сызрани?

— Нужно, чтобы на конверте городской штамп стоял, такое он выдвинул мне неперемное условие.

— Ну, так пусть тебе посылает письма, а ты их уж переправляй на главпочту.

— Я ему так и предлагал, он же утверждает, что у меня стиль лучше. Просил человек, в ресторане мы его стипендию до рубля просадили, и я слово дал. Неловко теперь будет.

Владлен двумя пальцами стал нащелкивать первую строчку: «Здравствуйте, Машенька! Я снова обращаюсь к Вам, потому что не могу иначе: я ЛЮБЛЮ, и этим решительно все сказано».

— Он ее «на Вы», солидно. Интеллигентно. По-моему,



перед какой-то балериной из оперы икру мечет, определенно чокнутый парень. А ты подсказывай, Федька, работай: подрядчик обещал еще раз в ресторан сводить. Стихи бы вставить, без стихов девицу в слезы не кинешь, а?

— Твоя машинка?

— Отчима. Как насчет стихов? Думай.

В девятом классе учительница литературы, рыжая и застенчивая Валентина Ивановна, подарила мне томик Светлова. Стихи понравились, и как-то само собой, в охотку, я выучил томик наизусть, от корки до корки.

...Ты меня хотя бы для приличия  
Выслушай, красивая и шустрая,  
Душу сквозь мое косноязычие,  
Как тепло сквозь полушубок,  
Чувствуя...

— Подойдет?

Стихи Владлен одобрил, с них мы и начали. После, с потугами, в папиросном дыму, написали, что у Димы (так звали чокнутого парня) систематически закатывается сердце, когда он видит ЕЕ, но он не смеет подойти и заговорить о своем неизбывном чувстве, что он следит за ней издали, немножко ревнует ко всем и надеется на чудо, но чуда нет и нет. А почему? Несправедливо белый свет устроен, вот почему!

Владлен забавлялся со вкусом, по-ребячьи, и хихикал:

— Пень сырой, я бы с ней в один миг договорился, к чему бумагу портить!

Мне эта комедия отчего-то перестала нравиться. Я сказал, что надо готовиться к экзаменам, лег в горнице на оттоманку и закрылся грамматикой немецкого языка.

Владлен наступивал еще с полчаса, потом\*явился с запечатанным конвертом в руке, вырвал у меня грамматику, полистал, и, зевая, бросил ее мне на живот.

— Состряпал. Пойду отправлю.

— Делать тебе, вижу, нечего.

Вечером, когда уже стемнело, мы с Владленом сидели на песочнице во дворе, дышали перед сном.

На втором этаже кто-то забавлялся патефоном. Песня была старая, и голос был старый. Пластинка обреченно хрипела под тупой иглой.

Я смотрел на луну. Она просвечивала насквозь. Ниже луны чешуйками рассыпались облака, а выше рясно играли звезды. От городских цветов вокруг дома пахло кондитерской.

По двору прошел кто-то в белом, как проплыл — не слышно.

Промычала электричка, зацокали по рельсам колеса.

Тьма все густела и наполнилась звуками.

Кончался мой первый день в большом городе.

## 5

Вставал я рано, уходил в садик, раскладывал на шершавом столе книги и делал вид, что готовлюсь к экзаменам по немецкому.

Немецким я занимался всего один год, в десятом классе, да и то через пень-колоду, потому что учителей на нашу дыру как-то не находилось. Уже перед экзаменами на аттестат занимался с нами немец Иоган Вильгельмович Кесслер — человек уже в годах, трогательно робкий, по специальности пчеловод. Гаша, как его звали, стойко переносил наши жеребьячи выходки, а когда ему бывало совсем невмоготу, он сморкался в платочек и грозил бабьим голосом:

— Эта... Пойду директор принесу.

— В мешке принесете? — гоготали мы.

— Почему э-э-э... так.

— В охапке?

— Я его э-э-э приведу, да!

Гаша никогда не приводил директора — он уходил сам и

тосковал на скамейке за школой, пока делегат от класса, извинившись за всех, не приводил его обратно под локомоток. Тогда мы его жалели, убитого, и разучивали хором стихотворение «Лорелей», которое его умиляло.

Я кутаюсь в толстовку, кладу руки между колен ладонями вместе: утрами в тени зябко.

Солнце только поднимается, и на крышах лежит его багряный след. На старый тополь, что растет в торце дома, сыплются воробьи. Говорок воробьиного базара похож на перестук голышей, когда они катятся к воде с крутого берега. Сквозь ветки черемухи в глаза мне бьет рябое солнце, играет роса на кустах. По окнам, по двору, наискосок несется тень растворного ящика, урчит мотор. Это заработал кран на школе. Сейчас крановщица крикнет из своего гнезда:

— Повите, мальчики!

Значит, уже восемь часов.

Сейчас Анастасия Федоровна отворит кухонное окно, и я подам ей конец шланга, который свернут кольцами и лежит под столиком, как спящий удав. Она нацепит этот конец на кран, пустит воду, и я буду поливать сад. Если пустить воду на полную, струя ударит далеко и щедро, между грядками жгутами совьются ручки и затрепещут, оседающая зелень кусочки радуги. Зелень залоснится, штaketник потемнеет разводами, и в садике запахнет немеряным раздольем.

Работы на три минуты, а мне хочется поозоровать с водой, я поднимаю шланг к плечу и чувствую ладонью через резину живые веселые толчки. Я крадучись поливаю участок старика Титкова, потому что он носит воду ведерками из своей квартиры: у Титкова нет такого шланга.

Я сворачиваю мокрую резину и опять сажусь за немецкий. В голову ничего не лезет, да и разве за неделю на-верстаешь то, что упущено за годы!

Когда радио пригласит на зарядку, из-за угла выворачивает Титков с ведерками и рыжей лейкой в руках.

На нем кепка с длинным козырьком, плоская, как лист жести, черная косоворотка, выбеленная на спине, и желтые штиблеты без шнурков. Титков идет медленно и на-шлепывает штиблетами, разговаривает сам с собой и водит бровями. Может, он сердится, что я поливаю его участок? В мою сторону он не смотрит, будто меня совсем и нет на белом свете.

Работает Титков с толком, спует полный день, человек божий. Отдыхает он под кустом смородины на чистом половичке, окаменеет на десяток минут, пока не погаснет сигарета в мундштуке, и снова за дело.

Меня подмывает спросить у кого-нибудь, почему, например, старик Титков тужится тихой сапой отстоять два кустика малины и как он погал в этот Военный городок? Раньше, говорят, здесь жили семьи офицеров, потом заселили геологов, они, однако, ненадолго задержались: управление ликвидировалось, и новый муж Анастасии Федоровны в числе многих прочих был командирован за границу. После командировки он будет переведен на постоянную работу в Москву.

А старик Титков причем здесь? Ведь он, кажется, один, как перст?

Я ловлю себя на мысли, что вовсе не так уж и важен для меня Титков и его судьба, просто невмочь в такое погожее утро корпеть над немецкой грамматикой. Это несправедливо.

Я закрываю учебники — Анастасия Федоровна зовет есть.

В этом доме я терял аппетит. Мне казалось, что здесь провожают вздохом всякий кусок, который я кладу в рот. Ничего такого на самом деле, конечно, не было, но от неловкости, от внутренней скованности мне так и не удавалось избавиться до конца, хоть я квартировал у Кулагиных без малого полгода. Знаете, все-таки неуютно спать на чужой постели, хлебать щи за чужим столом, блюсти чужие уставы.

Анастасия Федоровна, присмотревшись, сказала, что я мальчик начитанный и довольно развитой для своего возраста, но запущен. Она, разумеется, делала скидку и на деревню, и на глушь, но человеку с гуманитарным образованием, какое я хочу получить, этот багаж мал и негολиден. Нужно срочно обтесываться, и она берется помочь мне обтесаться в самые короткие сроки.

А началось все с блинов, будь они неладны!

Блины лежали на тарелке столбиком и просвечивали, как чистый воск. На макушке этого круглого столбика в золотой лужице с белой пеной по краям оседал кусок масла. Над тарелкой вился пар.

Я всегда помнил, что в гостях, и держался с чинной застенчивостью, но в этот момент благоразумие оставило меня: с азарта, не соизмерив силы, я ткнул вилкой так, будто колол налима на перекате, и развалил блины. Я хотел оставить на вилке только один блин, как того требуют приличия, но потащил, роняя на стол, штук десять и тяжело плюхнул остатки в свою тарелку.

Владлен перестал жевать и вылупился на меня невидными своими глазами, в которых плавала ласковая влага (значит, нашел в буфете коньяк). Владлен не осуждал, не смеялся, он был искренне шокирован: зачем так шумно все это делать?

В ушах хозяйки вздрогнули сережки — как две слезы, выплаканные по моей никчемности. Анастасия Федоровна привстала и неуловимо ловко, одной вилкой, скатала оброненные блины наподобие солдатских конвертиков, сложила их мне на тарелку, подвинула ближе соусник с теплым маслом и вытерла тряпочкой стол.

Владлен сказал:

— Не поваляешь, не поешь, а? — и зажевал опять размеренно и скучно, будто корова.

Я готов был заплакать, на меня накатила жалость к себе. Вместе с жалостью пришло зло на них: они дома, они уме-

ют сворачивать блины солдатскими конвертами, они само-надеянны и недобры. «Уйду я от вас, и все тут!»

Анастасия Федоровна двумя пальцами держала за ручку фарфоровую чашечку с драконами и мелкими глотками пила кофе.

— Что нового? — после тягостной паузы спросил Владлен, ни к кому, собственно, не обращаясь, и вытянул ноги под столом. — Как твой убийца, мать?

Тогда, летом пятидесятого года, город был переполнен тревожными слухами о некоем рецидивисте, который бежал из заключения и грабил таксистов, не оставляя свидетелей, он их стрелял на месте из автоматического обреза.

Анастасия Федоровна водила знакомство с начальником отдела милиции, он от нее ничего не таил, а она рассказывала нам под великой тайной, что сейчас разослан куда надо словесный портрет бандита, а специальная оперативная группа на ногах день и ночь.

— Будьте осторожны, — повторяла Анастасия Федоровна, — по вечерам в такси не садитесь.

За меня она могла не беспокоиться: здесь я стал домоседом, а на такси не ездил, и не потому, что боялся каторжника с автоматическим обрезом, просто у меня не было лишних денег. Анастасия Федоровна болела, конечно, за Владлена: он возвращался поздно, когда уже и автобусов не было на маршрутах, и обязательно под хмельком, а то и вовсе пьяный. Среди ночи принимался петь «Тройка мчится, тройка скачет...» Открывал крышку пианино, слегка проводил пальцами по клавишам. Звуки в тишине ночи раскатывались устало и были как-то особенно печальны. Я не двигался на оттоманке: если он услышит, что не сплю, умучает бессвязными разговорами. Что с пьяного-то возьмешь!

Владлену иной раз бывает тошно, он не спит до утра и возится, по-бабьи вздыхая, на своей кровати. Стенка тонкая, и я все слышу.

На другой день Владлен не замечает меня и, занятый своими мыслями, шутит невпопад. Потом его зовет к себе

Анастасия Федоровна. Они часами говорят о чем-то и расходятся, недовольные друг другом. Владлен берется за газеты, Анастасия Федоровна на кухне громко стучит посудой, кончик носа у нее белый и на лбу — поперечная складка.

— Тебе бы, мать, следователем быть, — сказал однажды за столом Владлен и полез в карман за спичками.

— Была и следователем, — Анастасия Федоровна поставила чашечку, — и следователем была.

— Без образования?

— А совесть разве не образование? — Анастасия Федоровна посмотрела на меня, требуя поддержки. Я кивнул: конечно, чистая совесть дает право судить людей, а то как же! Я об этом где-то читал, и в книжке было сказано про совесть точно такими же словами.

Владлен рыхло перевалился на стуле и подмигнул мне: тоже звал в союзники.

— Чистая совесть — хорошо, но образование тоже нужно.

Анастасия Федоровна вытерла губы салфеткой и села прямо.

— Времена другие, — сказала она.

— Ну, и удалось тебе что-нибудь на этом благородном поприще, а? — спросил Владлен.

— В каком смысле?

— Ну, раскрыла ты хоть одно преступление?

— Не одно раскрыла.

— А например?

— Не вспомнить уж всего-то...

— Все вспоминать и незачем. Выгнали тебя со следователей, да?

— Как тебе не стыдно!

— Да что ты, мать! — зашевелился Владлен. — Я ведь так, интереса ради.

— Скоморох ты несчастный! — Анастасия Федоровна схватила за чем-то кофейник и выскочила на кухню. Ее ха-

лат уже не шуршал, а скрипел и повизгивал, полы его взметнулись высоко и косо, когда она открывала дверь.

Владлен смеялся долго и искренне.

— Почему ты ее обидел?— спросил я,— ни к чему это совсем.

— Не беспокойся, она свое возьмет. Итак, завтрак прошел в теплой и дружеской обстановке, а?.. Ты привыкай, не то еще увидишь.

Я не хотел привыкать.

6

Первый экзамен я держал по литературе письменно.

Мы сидели по двое за столиками и ждали.

Ассистент кафедры русского языка и литературы Милованова — худая и высокая женщина с косичками — писала на доске темы, мел крошился в ее пальцах, падал, и на свежоокрашенном полу цепочкой отпечатались белые следы.

Сквозь стрельчатые окна, выложенные сверху цветными стеклами, сочились зеленые, багровые и желтые блики. Мне видны были отсюда ржавые крыши на той стороне улицы и зубцы кирпичной стены.

Милованова, скосив плечи, писала ровные строчки.

1. Почему Печорин был лишним?

Мудрого тут нет ничего: социальные условия и свинцовый гнет монархии не давали ему развернуться во всю широту натуры. Надо вспомнить подходящую цитату для эпитафии — из Белинского или Некрасова: «Суждены им благие порывы, но свершить ничего не дано». Ну, и дуй до горы в том же духе. Это — просто.

Милованова писала дальше:

2. Л. Н. Толстой и его эпопея «Война и мир».



Посложней тема, чего и говорить, я за нее не возьмусь, лучше уж про Печорина, что ли...

3. И дым отечества нам сладок и приятен.

По улице бежали машины, катились троллейбусы. Шины слитно издавали своеобразный звук, какой бывает, когда на мокрую тряпку поставишь сильно горячий утюг. В окнах подрагивали стекла. Эти звуки преследуют и давят, я чувствую себя разбитым и много сплю, я забыл уже, с каким трепетом отрывал листки календаря и подгонял день отъезда. К городу, к его гаму и суете, мне, кажется, и не привыкнуть. Да и робею я перед этой важной публикой. Вон парень впереди сидит, гордый такой товарищ, интеллигентный, при пенсне (в кино такие пенсне с цепочкой по скуле носят монархисты и заговорщики); этот товарищ все знает, с детства учен французскому, музицирует на фортепьяно и не одно кресло протер в оперном театре. Куда мне с таким тягаться: конкурс-то шестнадцать человек на место!

Или вон девица по правую руку. На нее смотреть нет мочи — такая она красивая и модная. Я даже и думать не смел, что вот такие ходят ногами по земле запросто да еще экзамены сдают по литературе письменно на факультет журналистики в университет. Их вне конкурса принимать надо!

Все или почти все в этой аудитории — здешние ребята, потому что факультет не имеет общежития для иногородних. Один я затесался в эту компанию по неведению и отступать поздно.

Я стеснялся своей вельветовой толстовки, которую шил специально для города наш сельский портной Моисей Саввич, ласковый старик на деревянной ноге. Он убеждал меня, что вельветовые толстовки с накладными карманами всегда были в ходу, что этот покрой — «несколько мешковатый» — обожают люди искусства. Работал Моисей Саввич у нас дома, без конца крутил пластинку про то, как еще до революции в Красноярске обшивал семью генерала Тал-

дыкина, «был при огромных деньгах», носил золотые перстни и часы фирмы «Павел Буре». Он обмеривал меня, точно неодушевленный предмет, и чертил деревяшкой, как циркулем. Резиновая нашлапка оставляла на полу жирные следы, и мать заставляла мыть пол горячей водой с мылом. Старый хрыч натолкал под плечи толстовки с пуд ваты, и когда я надевал ее, казалось, что на моих плечах лежит доска. Я был самый широкоплечий парень в этом городе. На такие сверхдюжие плечи требовалось по крайней мере еще две головы, а у меня была одна и обыкновенных размеров, потому в глазах встречающих я постоянно угадывал сперва испуг, потом открытую усмешку.

— Свободную тему дали,— рассеянно сказал мой щекастый сосед и потер ручкой кончик носа,— банально и трудно, если по-настоящему. Квалифицированный треп нужен, ты не находишь?

Я не ответил ему — не было настроения разговаривать, я вдруг сильно, до слез сильно, заскучал по дому.

За стрельчатыми окнами аудитории играл светлый предосенний день. У нас в селе подлески скоро обольются медным дымом, небо выголубится и поднимется выше. В тайге поспела малина, и бабы да ребяташки с берестяными торбами, по росе еще, уходят далеко и возвращаются уже под звездами, нагруженные ягодой. Мать поди варит малину в тазу, раскладывает пенку по тарелкам с красными журавлями на каемках, отмахивается от пчел рушником и думает про меня — я люблю пенки с варенья.

— Проверить тебе сочинение? — сосед нагнулся ко мне и задышал в ухо,— я без ошибок пишу.

— Сами разберемся...

— Дело хозяйское. Какую тему выбрал?

— Про Печорина я...

— Я Толстого взял.

«Ну, и бери на здоровье Толстого, мне-то что. Бери».

Я уже тысячу раз видел себя идущим по дороге от станции к селу. Я видел у молоканки доярок. Они как одна

в старых мужниных пиджаках с подвернутыми рукавами и белых передниках. Бабы приметят меня издали и загалдят:

— Никак Федька Ананьиных катит, ясно солнышко, глядит-ко! Не успела мать по разлуке глаза выплакать, и уже встречать надо! — они утрут о передники руки и будут здороваться. Руки у них шершавые и тяжелые.

— Не пожилось в городе-то, Федюня?

— Домой потянуло, женщины.

— У нас вольно тут, правильно. Вытурили небось?

— Сам вытурился.

Доярки не возьмут в толк, конечно, что я уехал по своей воле. Они меня не за поражения осудят — за дерзость: каждый сверчок, мол, знай, свой шесток.

Я не стану ничего объяснять дояркам и, если дело будет под вечер, сразу пойду в контору колхоза — она стоит у речки за складами райпотребсоюза. Склады к тому времени уже закрыли и опечатали, выпущены на ночь кобели, и в колхозной конторе тоже пусто, там сидит под портретом Калинина председатель Олег Порфирьевич Яшин и, навалив кулеть на стол, перебрасывает костяшки на больших счетах. Председатель поднимется из-за стола и скажет:

— Ты разве, Федька! Вот уж не ждал так не ждал.

Я сяду на табуретку в углу и буду молчать.

Из кабинета председателя видны склады, возле них горой свалены пустые ящики и бочки в лишаях соли. Простматривается еще кусочек реки в блестях заката и темная тайга на горах.

Я вытащу из кармана трубку с медным ободком и положу ее на стол с краю: давно почему-то хочу, чтобы председатель Яшин курил трубку — он похож на шкипера из какой-то книжки, он горбонос, с тонким и сухим лицом. Ему вот только трубки и не хватает для полного сходства.

Яшин потрогает ногтем губу, повертит трубку на свету и улыбнется. Однако он будет расстроен: он не ждал меня назад и верил в меня как никто другой.

Я скажу ему, что Энсск — город шибко большой, что

люди там нарядно одеты и жуют на ходу — так им некогда, что воздух в этом городе тяжелый, от него першит в горле и болит голова. Я честно признаюсь, что все это не по мне.

— Не сердись, Олег Порфирьевич, не сердись, пожалуйста! Ты уж прости ради нашей дружбы, а?

...Щекастый сосед толкнул локтем:

— Работай.

— Сейчас...

...Есть у нас за селом небольшое озерцо, вернее, старица, сплошь затянутая кувшинками и ржавой травой, но местами там глубоко — взрослому с макушкой. Зимой лед на старице чистый, как стекло, иссиня-зеленый, на нем попадаются пузыри, надутые болотным газом. Проткнешь такой пузырь гвоздем, подставишь к дырке зажженную спичку — и вверх столбиком плеснется огонь, ровным кружочком расползется вода и тут же застынет.

На этой самой старице мы гоняли на коньках клюшками шарик, оравой пропадали там с утра до вечера, и по весне, когда уже лысели горы и снег покрывался настом, я ухнул в полынью, только шапка осталась с краю. Ребятишки мал мала меньше кинулись на выручку, но лед прогнулся корытом, застрелял и пошел морщинами. Я хватался за острые закраины, разевал рот и почему-то не кричал, а голова моя все чаще скрывалась под водой. И тут подоспел председатель Яшин. Он не мешкая выломал сухостоину, кинулся через полынью и едва не потонул сам, но меня вытянул за воротник шубейки, завернул в свой полушубок, кинул через плечо, как мешок, и бежал так без роздыха до самого нашего дома. После уж, когда меня откачали и растерли спиртом, ругал помертвевшую от испуга мать за недогляд. Досталось на орехи и соседкам, которые пробовали замолвить за мать словечко. Председатель в одной рубашке ушел к себе. Мать следом понесла ему полушубок, пыталась благодарить, но он не смягчился и закричал:

— Ступай, Ефросинья, я не икона, чтобы молиться. За мальчишкой лучше приглядывай, один он у тебя.

Меня же с той поры председатель стал отличать от других ребят, он со мной почти не разговаривал, зато относился как к понимающему мужику, никогда не смеялся над неловкостью или неумением и брал с собой на рыбалку. Жил он холостяком, с дядей, подслеповатым стариком Перегудовым, единственным родственником, которого вызвал с Украины. В просторной стайке у Перегудова была целая мастерская с полным набором столярного и слесарного инструмента. Он искусно мастерил наборные ручки к ножам из кости, а после, когда свел знакомство с летчиками,— из плексигласа разных оттенков. Делал он и ножны из мореной березы, обшивал их шевром и особым способом выжигал на шевре хитрые узоры и картинки: то ягоды с веточкой, то белку на дереве, то рога сохатого. За этими ножами охотники годами стояли в очередь.

Держал Перегудов и пасеку на пять ульев, корову и борова. И сам справлялся с хозяйством, без Яшина, да и какой из Яшина помощник без руки-то!

В их доме устоялись хорошие запахи — пахло медовыми сотами, калиной, варом, стружкой. Дом был чистый, большой, с окнами на три стороны, с высоким крыльцом на витых балясинах. Наличники были увиты деревянными кружевами, а на коньке крыши в улицу вертелся хвостатый петух из жести.

...Я буду ждать приговора, мне будет стыдно перед Яшиным: ведь это он, когда родители отказались пустить меня на учебу, явился к нам, отругал мать и спросил:

— Или денег у вас нет, так я высылать буду, я же бездетный пока, куда мне деньги-то?

Мать задергала губами от обиды:

— И мы в состоянии!

— Так, выходит, скупитесь или как вас понимать?

Мать после его ухода кинулась на меня коршуном: ты бессердечный, ты грубый и добра не помнишь.

— Неужели мы с отцом враги тебе, скажи на милость, неужели мы зла тебе желаем?

Но Яшин сломал мать окончательно, она рассердилась и махнула рукой: езжай хоть к черту на кулички, коли нас ни во что не ставишь!

... — Как ваша фамилия?

Я вздрогнул.

— Ананьин.

— Отчего же вы, Ананьин, не работаете? — надо мной, склонившись, стояла Милованова и смотрела мне в затылок, — вы какую тему взяли?

— Это, свободную...

— Хорошо. Вот и работайте, — Милованова скрипнула туфлями. Я покраснел и опустил глаза. На Миловановой была синяя юбка в обтяжку с длинным разрезом, и сквозь разрез проглядывала нога в чулке. Я покраснел еще гуще.

Я пододвинул к себе бумагу, обмакнул ручку в чернильницу.

— Мух ловишь? — сказал щекастый сосед с ехидцей и тяжело задышал.

— Тебе-то что за дело — сидишь и сиди!

— Никакого дела, конечно.

Мне нечего было ответить ему. Действительно, мух ловить приехал за тысячу верст? А ведь Яшин не простит трусости моей. Не простит. Как я ему в глаза смотреть стану? И так получается, что вроде виноват я буду перед каждым, кто меня знает и кого знаю я. Нет, так не годится!

Перо мое, спотыкаясь, побежало по бумаге. Я буду писать про свое село Березовку, буду писать как умею: там начинается мое Отечество, и дым его я чувствую здесь.

7

Анастасия Федоровна нарвала для нас в палисаднике букет георгинов, но Владлен от цветов отказался — «руки еще занимать!».

— Возьми ты, Федя.

Она не жалела своих цветов, рвала их всякому, кто

попросит, а то и сама навяливала: не откажитесь, все равно завянут. Вчера она нарезала старшей по дому Корнеихе полную охапку. Старуха собиралась на свадьбу и подарком была довольна.

Я положил букет на стул, сказал спасибо. Георгины — это нелишне, отдам кому-нибудь по дороге, девочке красивой, например. Чем плохо?

Владлен кланялся перед зеркалом и показывал, как завязывают галстуки.

— Смотри. Р-ряяз,— он сопел, вытягивал подбородок и плющил губы,— два, три и готово. Пробуй сам.

Я тоже сопел, тоже водил губами, но путался и так измочалил галстук, что его пришлось тут же гладить.

Над моей толстовкой Кулагины смеялись, Анастасия Федоровна обещала даже отдать ее старьевщику и принесла из своей комнаты серый пиджак, который мне был впору. Иван Иванович, новый муж хозяйки, уехал в долгосрочную командировку, и мне разрешалось до лучших времен пользоваться его костюмом.

Мы собирались в оперу. Я боялся опоздать, но Владлен мешкал и занудливо кланялся у матери «хотя бы еще полсотенную». У меня были деньги, полторы тысячи, полученные неожиданно-негаданно. Я написал председателю Яшину о своем житье в городе, между прочим пожаловался на портного Моисея Саввича, а Яшин понял все буквально и выслал телеграфом эти полторы тысячи на одежду поприличней. Я не имел представления, как деньгами распорядиться — отослать назад — значит, обидеть председателя, купить костюм — расстроить родителей: они ведь тоже могли прислать, но я их не просил, а сами они считали, что наш портной вполне на высоте и способен угодить любому заказчику. Я не сказал о деньгах вслух, подмигивая Владлену, но он моих намеков не замечал, и, распаясь, заявил, что в этом доме из него сосут кровь наперстками и смаху ударил дверь. Я топтался в прихожей и не знал, что де-

лать. Анастасия Федоровна сунула мне в кулак несколько десятков, приготовленных, видимо, заранее, и подтолкнула к выходу.

Букет остался на стуле, я забыл про него.

Я догнал Владлена у почты, мы пошли рядом, и не к автобусной остановке почему-то, а в сторону трамвайного круга, к парку.

...Может быть, сейчас, когда я пишу эти строки, какой-нибудь парнишка из сибирского таежного захолустья идет, спотыкаясь, по улице города впервые и думает так же, как думал я, что город бесконечен и непознаваем, что под этим океаном из камня и железа однажды земля прогнетса и лопнет, как бумага. Парнишка тоже думает, что в городах ему жить не дано.

Не робей, парень, двигай вперед и не оглядывайся. Города тоже можно любить!..

В первое время я знал один маршрут — до университета в центре. Вылез из автобуса и айда себе, как пишут газеты, в светлые аудитории храма науки. Но свой околоток на окраине я сразу изучил основательно. Военный городок — шесть одинаковых двухэтажных домиков, огороженных штакетником, стояли ровно посередине пустыря, который пересекала брусчатка, она вела к рынку. Ниже рынка начинается парк. Это была сосновая роща, она скатывалась к речке Тихой, за речкой, дальше, тянулись поля, согры и березовые колки — угожья подсобного хозяйства.

...Владлен плевался и ворчал, как дед на печи, снова поминал про кровь, которую пьют из него наперстками — так мучительней, потому что пьют ее постепенно и систематически. Ведрами, но сразу кровь отдавать куда как легче.

— Успеем?

— Куда еще?

— На оперу?

— Говорят «в оперу». И катись ты со своей оперой куда подальше! — и он опять надолго завелся.

Тем временем мы вышли к рынку.



У ворот парка, через дорогу и левее рынка, с натужным скрежетом разматывался трамвай на кольцо и поблескивало озеро. Владлен направился к причалу, где старик в тельняшке отцеплял лодки напрокат — три рубля в час — и брал под залог паспорта, будто мог отыскаться среди публики человек, способный вытащить лодку из этой вонючей лужи и на горбу потащить домой.

Владлен, заложив руки за спину, кого-то высматривал на трамвайном кольце и у ворот парка.

Вода в озере была городская, усталая и в радужных разводах; вода дышала, и дощатый причал качался. Пахло болотом и смолой. За церковью догорал закат.

— Не опоздаем?

Владлен надул щеки и покачал головой: какая, мол, беспросветная темень!

— Сейчас девять, мальчик мой, — он поднес часы к самым глазам, — да, девять, а опера начинается в семь, испокон веков так заведено: опера начинается в семь,

— Зачем тогда голову морочил?

— Мы со смыслом время проведем, не расстраивайся. Договаривался тут с одной, так нет, ее, опаздывает. Поехали в центр, используем вариант номер два.

— Никуда я с тобой не поеду!

— Да ты что, Федор! Тебе сам бог велел приобщаться к светской жизни. Поедем, милый, не дуйся.

На этого человека я не умел и не мог долго сердиться, он все-таки уговорил меня ехать в центр.

После короткого дождя стояла благодать, город умылся и посвежел, пахло липами. Капало с крыш, капало с деревьев, и улица была рекой в шальных росчерках света. Помаргивали вывески — зеленые, красные, белые.

До Нового шоссе мы добрались трамваем и у типографии пересели на двухэтажный троллейбус. Владлен сказал, что двухэтажных троллейбусов в городе несколько, они отжили свой век, списаны и присланы сюда из Москвы за

ненадобностью там. В Москве же эти каракатицы убирают с маршрутов.

Я забрался наверх и устроился впереди. Владлен тоже полез на второй этаж, потому что кроме меня наверху сидела симпатичная татарочка, она вцепилась в сумку на коленях и не дышала — так было ей страшно. Владлен попросил у нее разрешения сесть рядом и поинтересовался, сколько теперь времени. Он у всех так спрашивал, когда хотел знакомиться. Девчонка с трудом оторвала руку от сумки, посмотрела на часы и ответила шепотком, громче говорить у нее не было сил. Владлен по-отечески отсоветовал ей на будущее ездить на верхотуре: во-первых, эти троллейбусы каждый день переворачиваются («совершенно элементарно»), во-вторых, проваливается пол (он постучал туфлей по резиновой дорожке между креслами).

— Слышите, совсем тонко.

Татарочка задеревенела и сожмурилась.

Владлен с печальной строгостью в лице сказал, что недавно один почтенных лет гражданин, дрессировщик мелких животных на пенсии, продырявил потолок, рухнул сверху и пришиб молодого кандидата наук в расцвете сил и возможностей.

— А сам? — спросила татарочка со слезой.

— Дрессировщик-то? Разбил пенсне и потерял калошу.

Дальше я не слушал. Сейчас он ее успокоит («со мной нестрашно») и назначит свидание на завтра у Драматического театра, четвертая колонна справа. В трамвае он уже с двумя так договорился. И не придет, конечно.

На этом чердаке и впрямь было жутковато. Впереди, близко, катился троллейбус, сыпал искрами с проводов, и я ладошкой прикрыл лицо: вдруг да и залетит в глаза синяя звездочка! Провода, казалось, вот-вот шаркнут по затылку. Я неудобно пригнулся и сидел так, пока не заломило в пояснице.

Навстречу — машины, следом — машины. Они двигались лениво, как стадо на закате.

Троллейбус уютно покачивался и шел себе хозяином в этой мешанине. В щеку бился ветерок и заносил сюда шум улицы — шорох ног, обрывки музыки из открытых окон, свистки постовых на перекрестках. Я почувствовал себя каплей этого моря. Вот сейчас вольюсь в него — не прибавлю, не убавлю ничего, но вдруг все-таки где-нибудь море и выплеснется из берегов? Я начинал понимать горожан, потому что тоже бежал уже в бесконечной цепочке людей и на мои ботинки садилась горькая пыль улицы.

Мы вышли на площадь и свернули в переулок, из которого тянуло запущенным колодцем; Владлен купил бутылку шампанского, коньяк и припустил в темноту, в сырую и бесконечную глубину переулка.

— Опаздываем, прибавь шагу, рохля!

Я поплелся за ним, как бык на веревочке.

8

Общежитие автодорожного института было в самом конце переулка.

На площадке, сразу у входа, за деревянным барьером, стояла дежурная с красной повязкой на рукаве и сонно щурилась.

Владлен повернул в коридор, освещенный скупой лампочкой без абажура, и здесь нам дорогу загородил верзила в лыжных брюках и пиджаке внакидку. Маленькая и носатая голова на его широченных плечах казалась чужой.

Владлен поклонился ему:

— Здравствуй, Семен.

— Здравствуй, Кулагин. Заворачивай к нам, примем ради праздника. Не люблю я тебя, а примем.

— В другой раз как-нибудь, спасибо.

— К девочкам направился! А это что? — верзила нащупал бутылки у Владлена под мышкой и кровожадно гыкнул: — К нам, без разговоров! У Лехи день рождения. Пить

больше не дает, а ты вроде случайно, на огонек. Деньги за пойло — отдам.

— Причем здесь деньги. И я не один — видишь.

— Не помешает и этот, как там тебя? И кто тако~?

— Родственник...

— Вали до кучи, родственник. Я гитару искал, не дают ребята, прячут — струны, говорят, рвешь.

Комната была похожа на переполненную больничную палату, вдоль стен впритык стояли кровати, угол справа был отгорожен шифоньером и занавешен простыней с казенной меткой, посередине комнаты — стол, застеленный газетами. За столом, привалясь к нему грудью, сидел человек в белой рубашке и без интереса смотрел на нас. Я его сразу узнал — того шофера, что вез меня до Кулагиных. И в этот раз я убедился, что он похож на Суворова: сухое с мелкими чертами лицо, впалые щеки и веселый хохолок над лбом. И — складки у рта. Улыбался он, помню, нехотя, будто через силу, но хорошо улыбался: такой камень за пазухой держать не умеет. Он сказал, что мир тесен. Наверно, не всегда это к добру, но я был рад сейчас, что он все-таки тесен и люди не теряются навсегда.

Я ждал его улыбки.

Он бросил догоревшую спичку в блюдечко, потянулся через стол и подал руку.

— Вот и встретились, Федор Ананьин.

— Вот и встретились.

— Нашел дом-то?

— Нашел. — Я помялся и добавил: — И концы в воду, — выговаривая слова точно, как он — с волжским раскатом.

Он, наконец, улыбнулся.

— Гостем будешь. И ты садись, Кулагин. Мы гульнули немножко: суббота, да и мне тридцать шесть стукнуло. Угостить вот нечем...

— Поздравляю, Алексей Иванович! — Владлен сделал на лице сладкое выражение и поцарапал грудь возле сердца.

— Спасибо, Кулагин, спасибо. Вы зачем сюда?

— На девок целились,— охотно объяснил за нас Сема и отодвинул на край стола сковородку с картошкой, поставил бутылки. И Сему я узнал теперь — это его такси стояло у площади на вокзале и это он уговаривал Алексея Иванovichа не садиться за баранку.

Леша прочитал этикетку на коньяке и строго поднял брови:

— Откуда?

Сема соврал, не сморгнув. И нескладно:

— Кулагин взял: неудобно, говорит, в гости без горячего. Так ведь было дело, Кулагин, я тебя не принуждал ведь?

— Совершенно верно,— с наигранной бодростью подхватил Владлен,— не обессудьте, Алексей Иванович. От чистого сердца, честное слово!

Я приподнял матрац и присел на холодную раму кровати.

Семен протиснулся к окну, закрыл форточку и достал нам из тумбочки по яблоку.

Владлен неудобно держал стаканы на весу — ему не терпелось уйти. Он был тих и робок здесь, как девица, и приторно вежлив. Вот уж никак я не думал, что этот парень способен тушеваться, мне представлялось, что ему любая компания — своя.

Семен обнял Алексея, они пригорюнились по-мужицки, спели «Бьется в теплой печурке огонь».

— Идут годы, Леха! — сказал Семен,— тебе тридцать шесть, мне уже тридцать четыре скоро. Стареем.

— Еще не годы, брат, здоровья вот нет — это грустно.

— Поправишься, Леша, вылечат.

— Нет уж, не вылечат — не могут. Я еще ротой командовал и был у нас товарищ один, ты его не застал — под Киевом его, если не ошибаюсь, контузило. На днях в столовой столкнулись. Едва признал. «Постарели, говорит, Алексей Иванович, невозможно как!» И радехонек. Он на десять

лет старше, сорок шесть ему. «Чему радуешься?» — спрашиваю. «Я, говорит, старости-то пуще смерти страшился, а пришла она, и страшиться перестал — жить еще можно. Не хотел признавать старость за собой, а надо. Минули годы, как по лесенке спустились. Бывало, мол, в очереди толчешься — показывают: «Вот за этим молодым человеком», после — «за дяденькой», теперь же — «за пожилым товарищем в шляпе». Мне, говорит, ничего, а у самого глаза слюдяные — тоскует. Я ответил: — не по очереди годы меряй и не по зеркалу, а спроси у себя: «Интересно мне на белом свете или уже все дела переделал, которые по душе мне, и концы в воду?» Так что я лично покамест молодой, потому что любопытный еще.

Владлен вышел на цыпочках и прикрыл дверь.

Эти двое сидели тесно, с затвердевшими лицами и вспоминали. Семен убрал руку с плеча Алексея так осторожно, будто не хотел сделать больно ему, и оперся локтями о стол.

— Фронт много взял у нас, Алексей.

— И научил кое-чему.

— Верно. А наука — тяжелая.

— Да. Но как же иначе?

Они курили. А я думал о том, что могу называть этих парней по имени, могу выпить с ними и подтянуть песню, но между нами — тысячи лет. Они — люди войны. Я читал про войну в книжках. Они закрывали глаза мертвым, любили своих матерей и заставляли плакать чужих, они боялись жалости — она мешала воевать. Я, может быть, никогда не услышу, как хрустят кости под штыком, не увижу крови на стволах берез, потому что это слышали и видели они. Вместе с нехитрым солдатским скарбом они пронесли и мой груз: стреляли за меня, валялись в госпиталях за меня и пришли в Берлин — за меня. И потому мою долю удачи, если она выпадет, пусть возьмут себе: я ничего не могу дать им больше. На них — печать войны, для них она никогда не кончится.

Я не хотел, чтобы они вспоминали про войну.

— Жить будем!— сказал Алексей,— по возможности— хорошо, так ведь? Расскажи-ка лучше, Федор, как вы там в тайге шевелитесь. Охотой баловался?

— У нас всякий маленько охотник.

— На медведя ходил?

— Не доводилось. А веселую историю про медведя могу рассказать, в подарок вам на день рожденья.

— Давай, послушаем.

— А то закручинились вы.

— Повесели, что ж...

А было так.

...Председатель Яшин привез с войны двустволку Зауэр три кольца, германский трофей. Ружье висело у него над ковром в горнице больше для красоты: одной-то рукой не шибко постреляешь, да и должность у человека хлопотная, полные сутки в разбеге. Зато мужики из-за этого ружья как с ума посходили: продай да продай, и все тут. Правда, для настоящего добытчика нужней доброго ружья вещи нет, а это бьет без малого на шестьдесят сажень, осечек не знает и легкое, как перышко. Яшин не поддавался на уговоры: память, мол, да и уникальное оно, заказной работы.

Колхозный сторож дед Афанасий тоже затаенно вздыхал по ружью, но торговаться не смел, а однажды согласился ехать с председателем на дальнюю лесосеку для компании, чтобы только пострелять из германского ружья.

Верхами они добрались до места еще засветло, Яшин присел отдохнуть да перекинуться словом с колхозниками, а дед от жадности набил полный патронташ, обещал обществу достать гусей к ужину и скрылся.

Солнце скоро склонилось к закату, река обдымилась, и в ельнике пролегли прядки тумана. По случаю приезда начальства лесорубы зашабашили и собрались на поляне кружочком — слушали Яшина да наблюдали, как в котле, подвешенном на обгорелой жердине, доспевало варево.

Кто-то вспомнил к месту:

— Дед где? Гусей к ужину сулил.

Тут захрустел валежник с такой силой, будто на огонек из тайги шел трактор. На поляну, спиной к костру, пятился дед Афанасий в изодранной рубахе, странно приседал и уговаривал кого-то мятой скороговоркой:

— Слышь ты, ружьишко-то не мое, товарища Яшина ружьишко, нашего председателя! Слышь ты! Пусти, окаянный, лешак тя возьми!

Лесорубы вытянули шею, любопытствуя.

А дед пятился, подламывая ноги в коленях, ударился о дерево спиной и остановился. Тогда все увидели медведя. Медведь и дед, между ними, поперек — председателево ружье. Они вцепились в него намертво и тянут каждый к себе. Медведь сопел, подергивал головой, тоже приседал и скалился.

Народ от костра как ветром смело.

Парень по прозвищу Филя Косой в тот момент стаскивал сапоги, чтобы повесить портянки на просушку. Он стащил оба сапога только наполовину и бежал так по тайге версты три, пока не рухнул в заброшенный шурф. Его целую ночь искали с фонарями.

Повариха тетка Марья — женщина пудов на шесть — вздумала перемахнуть через огонь, но опалилась вся, опрокинулась навзничь, расколола на две равных дольки артельный лагун с самогоном. С тех пор она жалуется на колотье в низу живота и собирает лечебные травы. Пожилой кержак Иван Кузьмич полз от костра по-пластунски и так вжимался в землю, что начисто выдергал о сучья ухоженную бороду. Столяр Степан Брыкин, воспитанный староверами в строгих правилах, запил с той поры старательно и систематически — от нервного переула.

Но все это уже отголоски, все это уже после выявилось. А тогда возле костра остался один Яшин — может, оттого, что на него навалилась трясушка. Он прыгал по кругу и неверной рукой вышаривал в манатках лесорубов огнестрельное оружие.



Медведь тихо и без злости все тянул ружье на себя. Дед Афанасий кричать уже не мог — только шелестел, трудно сглатывая:

— Ружье-то Олег Порфирыча, слышь ты, варнак!

Яшин замысловато матерился, потому что ничего подходящего на глаза ему не попадалось, он схватил тогда в охапку таз с грязной посудой и бочком пошел на смертный бой. Посуда гремела, скатывалась под ноги и кололась.

Медведь пошевелил мокрым носом, чихнул и отпустил ружье.

— Стрельни! — закричал Яшин, но от деда проку не было.

Медведь спокойно подался к чащобе, его зад, облепленный репьями, был полон достоинства: пошутили, дескать, и довольно.

Дед ахнул, сполз на землю и сказал только:

— Руки разожми, председатель, занемели вовсе.

...— Такой случай был, — закончил я, — не пофартило деду Афанасию.

— Врешь! — захлебывался в смехе Сема, — ну, врешь же?

— Клянусь — не вру!

Алексей Иванович согнутым пальцем вытирал глаза.

— Нервный шок, — сказал он, — бывает.

— Врет ведь!

— Да ну вас, ребята! Слушать согласились — рассказал, чего еще?

— Спасибо, насмеялись вдоволь. Как же дед с медведем столкнулся? И как за ружье медведь взялся?

— Как да почему! Отмахнулся ружьем, вот и схватились.

Вернулся Владлен. С ним пришли две девушки.

Толстощекую звали Розой. Она поздоровалась со всеми за руку, долго смеялась невесть чему, прижимая кулак к несимпатичному носу, и взялась хлопотать у стола. Семену велела сейчас же катиться прочь и прикрыть чем-нибудь

«ужасную волосатость». Тот не прекословил — сгреб рубашку с кровати, нырнул за простыню у двери и заворочался там, загремел ведром.

Вторую звали Надей. Она была высокая и тонкая, в красном свитере грубой вязки и юбке в обтяжку с разрезом чуть выше колен. Она села и рассыпала по плечам пьяные волосы, которые отдавали стеклянным блеском. Она, наверно, не очень и красивая, но встретишься с такой — нескоро забудешь. Это так.

Надя обвела нас диковатым взглядом, словно прикинула, кто чего стоит, и каждому вынесла приговор. Мы ей явно не показались, она и не прятала свою неприязнь — хотя бы из вежливости. Ее просили, она пришла, вот и все. Ради кого пришла? Ради Владлена или с подружкой за компанию?

Я неприлично уставился на нее, она опустила голову так низко, что на длинной и тонкой шее у нее обозначились позвонки, и закрылась от меня волосами. Надя перебирала на коленях ломкие пальцы и скучала.

Я вдруг отчаянно пожалел себя, такого деревенского и серого, пожалел Сему. Только Алексей Иванович определенно не нуждался в жалости, я это чувствовал. Она исподлобья рассматривала его, щурилась, как от дыма, и, похоже, не могла втиснуть его в какой-то свой стандарт. Он курил и улыбался ей по обыкновению вроде бы нехотя.

Роза вытаскивала из бумажных мешочков помидоры, колбасу, сыр, взяла из сетки шампанское.

Семен был неловок и облил шампанским юбку тихой Нади. Она, не отрывая спины от стула, с таким видом, будто готова была и к худшему, промокнула носовым платком мокрое пятно, платочек же после некоторого колебания завернула в газету и спрятала в сумку.

Семен густо покраснел, извинился по всей форме, с поклоном, и застегнул рубашку на последнюю пуговицу, под самым кадыком. Она кивнула ему и забросила волосы назад, совсем белые волосы — как вода под солнцем.

Роза загорюнилась было, но ненадолго.

— На поминках мы, что ли?— капризно сказала она,— развлекайте, мужчины, ну?

Семен рванул за гитарой, но Алексей Иванович удержал его и посоветовал не срамиться:

— Играть не можешь, только струны рвешь.

— Спой, Владик!— попросила Роза все тем же капризным голосом,— спой, родненький! Он дивно поет, товарищи. За горло и терплю его, Наденьке прощаю, что балбеса любит. Извините, у кого день рождения? У вас, Алексей Иванович? Спой, Владик, в честь Алексея Ивановича, он того стоит.

Алексей Иванович тоже попросил:

— Не ломайся, коли можешь.

Это было похоже на приказ.

Владлен отказаться не посмел, он поднялся с неохотой, скосоротился, расслабил галстук, сцепил руки на животе, как это делают эстрадные корифеи, и постоял, раскачиваясь.

— Что петь-то?— спросил он грубо.

— Тебе видней.

Владлен наморщил лоб и отрешенно уставился в потолок.

Скажите, девушки, подружке вашей,  
Что я не сплю ночей, о ней мечтая...

Я вздрогнул. Комната стала тесной, как туго сжатый кулак.

Голоса такой окраски мне не довелось встречать больше — у него был баритональный тенор «на бархате», как иногда говорят знатоки, и особенно «на низах» он был хорош.

Обыкновенная ведь песня, знакомая до оскомины, а вот поди ж ты, он открыл мне ее заново. Значит, обыкновенных песен просто нет.

Алексей Иванович пронес окурок мимо блюда, приспособленного под пепельницу, и передернул плечами, как

от холода. Надя клонилась все ниже и ниже, Семен жевал корочку лимона, Роза закаменела с открытым ртом, подавшись вперед.

...Что нежной страстью сама ко мне пылает,  
Расстанься с глупой маскою и сердце мне открой...

Владлен кончил петь, вымученно улыбнулся и долго не открывал глаз.

— Ну, знаешь! — только и сказал Алексей Иванович и поскрипел стулом, шевелясь, — почему ты у нас учишься, в консерватории тебе место, там, и концы в воду!

Владлен не ответил ему и полез в карман за платком.

— Еще пой! — всхлипнула Роза, — пой, миленький, пожалуйста!

Владлен спел подряд «Нищую» на слова Беранже и арию из «Гальки» — «Ой, Галина, ой, дивчина». Настоящий концерт дал, одним словом.

В комнату набежал народ, явилась снизу держурная навести порядок, но приклеилась к косяку и слушала до тех пор, пока Алексей Иванович не дал отбой — времени было за двенадцать. Он выгнал посторонних и обнял Владлена:

— Уважил, ну уважил! Разговор есть к тебе, да после, не будем праздник портить.

Семен сбегал к телефону и вызвал машину. Оказывается, они с Алексеем Ивановичем проходят практику в таксопарке, а шоферня всегда выручит — свой брат.

— Здесь остановитесь, — сказала Надя.

Крупно горели буквы — «Ресторан». Окна дома были черны, в дверь ресторана, точно в днище пустой бочки, стучал кулаками пьяный. Горбясь, уходила в темноту улица.

Владлен шепнул:

— На минутку.

Я отворил машину и вышел на тротуар.

— Деньги есть?

Я сунул ему скомканные десятки, которые дала вечером Анастасия Федоровна.

— Мало!

— На костюм мне прислали, только с возвратом.

— Давай. Все давай. Завтра сшибу в одном месте, будет тебе костюм. Рижский. Ну, пока.

Потом я видел их под фонарем. Надя смотрела на свою тень и поправляла волосы. Она смотрелась в асфальт, как в зеркало. Они свернули за угол, и я долго слышал стук ее каблучков.

Сперва шофер отвез домой Алексея Ивановича, потом — меня.

9

Набежал невесть откуда шалый дождик, повисел косыми прядками и затих.

Я смотрю сквозь ветки на небо и на тучи. Они уходят от солнца и оставляют за собой незабудочную чистоту.

Я готовлюсь к немецкому по новой методе (эту методу рекомендовал на консультации заведующей кафедрой иностранных языков) — читаю в подлиннике «Сыновья» Вилли Бределя, перевожу в день по странице, разбираю каждое предложение и заглядываю в грамматику.

У меня за спиной парк.

Поляна скатывается к речке, и на той ее стороне, на крутом берегу с песчаным надбровьем, светлеет березнячок, дальше тянется луговина в стожках сена и холмы в робких еще мазках осени. Вдоль речки чуть заметно продержнулось голубоватое марево.

Тучи пухнут, грудятся и уходят, очищая небо. Я чувствую, как летит и кружится Земля.

Я отыскал эту тихую окраину и ухожу сюда от суеты и от Кулагиных.

49

За речкой прыгает стреноженная лошадь, она далеко, величиной со спичечный коробок.

Я закрываю глаза, а Земля летит и кружится.

Я услышал голоса и отпрянул от дерева, оглянулся.

Владлен Кулагин собственной персоной! От него не спрячешься даже здесь. И он был не один — с Наденькой Зиминой. Они остановились неподалеку лицом к лицу, она протянула к нему руки ладонями вверх и что-то говорила, он не отвечал и смотрел под ноги себе. Она сникла и пошла прочь. Наверно, ждала, что он окликнет, вернет, но Владлен раскачивался с носка на пятку, молчал и даже, кажется, насвистывал негромко. Она же уходила, низко опустив голову, и шла все быстрее, быстрее, словно боялась вернуться теперь уже сама, покориться его непонятной силе.

У меня часто забилося сердце — я видел ее еще раз, хоть мельком, хоть в спину. Даже в этом городе можно встретиться дважды!

Она скрылась за деревьями.

Владлен обнаружил меня и не удивился, без натуги улыбнулся и сделал поклон:

— Тебе не скучно, мальчик?

— Нет, не скучно.

— А мне вот нехорошо — с любимой женщиной повздорил. Айда пить? Истина в вине.

— Пива — пожалуй...

К воротам парка тянулись парочки. В глубине парка, за сосновой рощей, которая на фоне угасающего неба была тяжела и тиха, будто каменная, вздыхал духовой оркестр. Куполы церкви под фарами машин окутывались голубовато-золотой дымкой, подрагивали и мертвели, проваливаясь в темноту.

Владлен посмотрел на церковь и вздохнул:

— В бога уверовать, что ли. Для разнообразия? Плохо ведь ни во что не верить.

— Дьяволу душу продай, не прогадаешь.

— Ну, это страшно,— Владлен пристально и с интересом посмотрел мне в лицо,— ты начинаешь мыслить, деревня.

— А как же!

Ветер набирал силу. По площади катились обрывки газет, кувыркался палый лист. Женщины зажимали юбки между колен и, горбясь, поворачивались к ветру спиной. Небо опять заполонили тучи.

Мы зашли в пивную.

Она была пропитана казенным духом капусты и томатного соуса. Пол в этих заведениях посыпали опилками, чтобы не мыть лишний раз. Третью помещения обычно занимал могучий шкаф, окрашенный стандартно — под желтый мрамор в крапинку.

Буфет отгораживался от публики трубами на литых стойках, способных выдержать лобовой удар племенного быка. По стенам на уровне груди были прибиты доски — для кружек с пивом и тарелок с закуской.

Хозяиничали в этих точках системы общепита мужчины, выдержанные ГОСТом: румяноликие, мокрогубые и в возрасте чуть за сорок. Они носили костюмы бостона «метро» с припуском на брюшко, строили дачи, болели за команду «Спартак» и фигурировали в «Вечерке» под рубрикой «Расхитители наказаны».

Но в пивной у рынка торговала Сонечка — цыганистая женщина со следами былой красоты, как принято выражаться.

За единственным столиком в дальнем углу сидели двое — худой старик в гимнастерке и мужчина помоложе, окатистый, как валун на быстрине, и скуластый. Голова его была чисто выбрита и отстреливала лучиками... Старик сидел спиной к нам. Спина его была прямая и плоская.

У окна в простенке, упершись локтями о стойку, дремал чубатый парень в пестрой рубашке, расстегнутой до пояса. Он вскидывался, когда терял опору, тарачился и скрипел зубами. В его шевелюре запуталась спичка.

На дворе ударил дождь — яростный, с пересыпом. В мокрую мостовую, как большие лимоны, окунулись фонари. По стеклам ползла вода, и улица за окном то уходила далеко, то набегала близко и росла, она точно качалась.

Владлен принес от буфета, пива, тарелки с килькой и водку, искал глазами, куда бы пристроиться, и толкнул поднос на угол стола, к старику и бритому.

— Разрешите, товарищи, к вашему шалашу?— Владлен учтиво изогнулся и сделал улыбку. Бритый кивнул ему без особой теплоты: можно.

Владлен и здесь обращал на себя внимание — слишком уж шикарно для этой забегаловки он был, наверно, одет: на нем был синий костюм с иголки, белая сорочка при запонках с камнями в золотой окантовке и лаковые штиблеты. С ним некоторые здоровались, но никто не подходил к нам. Буфетчица Сонечка называла его почему-то Жоржем и целомудренно румянилась, когда он посылал ей воздушные поцелуи. Она любезно подала нам из своей каморки стулья и мы устроились на уголке стола.

— Это по-шоферски,— Владлен показал растопыренными пальцами на стаканы и кружки,— по сто пятьдесят с прицепом, а это,— он приподнял тарелки, где веером, голова к голове, лежали кильки,— хор Пятницкого. Похоже?

Сходство было: кильки напоминали девочек в белых платьях на сцене, когда они выводят под баян, «ой, при лужке, при лужке». Ни дать ни взять, наша школьная самодейтельность. Хор девочек исполнял еще «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром» неизвестного композитора. Конферансье произносил эти слова с особым значением — «неизвестного композитора». Я засмеялся.

Владлен медленно выцедил водку, подышал в ладонь и отхлебнул пива. Играючи выпил! Я отлил ему из своего стакана и заел водку теплым хлебом.



— Бережешь здоровье?

— Берегу.

Соседи замолчали — прислушивались к нам. Бритый шевелил бровями и смотрел угрюмо. Старик повернулся, больно задел мои ноги сапогами, поелозил на стуле, примериваясь: он хотел видеть и бритого, и нас. Он, кажется, был не против компании.

У этого старика были впалые щеки, нос с горбинкой, тонкий, усы без седины, а голова — белая. Совершенно белая. Встречается такая вот особенная седина — ковыль-ная, легкая. Так седеют враз, опаленные бедой. Я рисовал бы с этого старика Григория Мелехова, когда он, усталый и помудревший, возвращается домой насовсем. И молодого Григория тоже б рисовал с него, молодого. У колодца с Аксиньей, на пашне за Доном. Рядом со мной сидит Григорий, смотрит на меня жаркими зрачками, ищет во мне что-то и не находит. На гимнастёрке у старика был орден Красного Знамени с побитой эмалью — давний, видно, на подкладке из красного сукна, вырезанного по контуру. Так раньше носили ордена. У нас после финской войны с Красной Звездой вернулся Федор Столяров, единственный на район. Он тоже свою Звезду на тряпочку навинчивал и не давал никому к ней притрагиваться руками.

Старик еще толкнулся сапогами, повернулся к бритому, ударил ребром ладони в пивную лужицу на столе и сказал:  
— Даром тоже ничего не давалось, кровушки тоже стоило.

— И никто не против, — ответил бритый.

— Революция, сынок, великая ломка. За кого ты, и куда стреляешь? Случалось, брат в брата попадал, а сын — в отца. Без твердости духа, значит, без веры до конца, революцию не сделаешь. А нам выпало делать, вот так-то.

— И никто не против, — ответил бритый, — а ты под минометным огнем стыл в болотах, ты голодал, ты видел, как людей в печах жгут? Ты этого не видел!

— Я в гражданскую, сынок, заметь это себе, почти все

фронта прошел. На Перекопе дивизией командовал. Сталин, значит, приказал тылы отрезать, я и отрезал, долг свой революционный, значит, выполнил и совесть моя чиста...

— Осталось у нас по малости, так выпьем? И нечего нам делить с тобой, сынок! Несладко и тебе пришлось, чего уж! Но стоим ведь. И стоять будем!— старик громко пососал огурец, бритый подставил ладонь под вилку и понес к раскрытому рту капусту.

Владлен круто перегнулся через загородку буфета и, придерживая Сонечку за голый локоток, нашептывал что-то ей в самое ухо. Сонечка рдела и таяла.

Меня подташнивало от водки, от сладковатой испарины прелых опилок, от капусты кооперативного посола. Пиво было старое и отдавало полынью.

Чубатый в простенке не хотел падать, цеплялся за стену и мычал.

А дождь все нашлепывал, и не было ему конца.

Дома у нас по этой поре тоже, наверно, дожди — морские и затяжные. Зарядят другой раз на неделю, а то и больше. Зато бабье лето обязательно бывает чистое. Даль яснее, и по солнцу видать белки на хребтах у монгольской границы. И тайга линяет: береза желтеет, рябина горит, тальник блекнет и сразу осыпается. На тропинках посуху греются большущие стрекозы, и сквозь их крылья трава кажется пепельной и в седых блестках. Голенастые девчушки вяжут стрекоз нитками и пасут на лужке, а когда наскучит, отпускают их на волю и машут вслед. Пахнет бабье лето снегом, мокрой галькой и росным клеверным сеном. Запахи эти скупы и едва уловимы.

— У нас в селе чайная и то аккуратней,— сказал я,— у нас хоть пол моют.

— Кабак,— рассеянно отозвался Владлен и сдул пену из кружки мне на штаны.

— Ты осторожней!

— Извини, нечаянно.

Мне надо было что-то вспомнить. Хорошее. И я не мог

никак вспомнить, но уверенность, что вспомню, все-таки скрашивала убогую эту и ненужную выпивку.

Старик предложил бритому:

— Добавим?

— Погожу, не к спеху.

Старик, цепляясь за стулья и за наши спины, полез к буфету.

Дождь нагнал в пивную народа, и Сонечка работала, как машина.

Бритый подвинулся ближе к нам, налег локтями на столешницу и попросил у Владлена спички, но не прикурил, поиграл коробком и забыл про папиросу, которую мял пальцами. Спички он, видимо, спросил для заделья, он был уже в таком состоянии, когда испытывают нужду в слушателях.

Вадим подмигнул мне и кашлянул:

— Пиво опять с водой. Кругом нынче жулики.

Бритый не взял наживу. Его заботило другое. Он поднял на нас соловые глаза и покачал головой.

— Орденом гордится. От самого, говорит, Фрунзе получил! У меня их, если все нацепить, до пупа хватит.

Владлен оживленно подхватил:

— Ходил же такой анекдот сразу после войны. Молодой человек назначает девушке свидание по телефону. Она и спрашивает: «Как же я вас узнаю?» «Проще просто: я буду без орденов и в калошах».— Владлен хохотнул для почина, но бритый то ли не взял в толк анекдот, то ли вовсе не слушал.

— Германская, гражданская... И никто не против,— говорил раздумчиво бритый сам себе,— и никто не против,— в его рыжем кулаке хрустнул спичечный коробок,— а в болотах под минометным огнем валяться тоже несладко, вот что!

Владлен уже без надежды добавил:

— Дело в том, что сразу после войны калош в продаже не было, не выбрасывали калош.

— Хватит паясничать,— сказал я,— не липни к мужику. Вон Сонечка тебя глазами ест, займись Сонечкой, это по твоей части.— Мне эти подначки были не по нутру.

Мой отец тоже воевал в гражданскую и носит рану — его ударило осколком чуть повыше щиколотки, отец хромает, в ненастье рана мозжит и не дает покоя.

Мылись мы как-то с отцом в общей бане, и ребяташки, мои погодки, смеялись над кривой ногой отца. Мне сделалось тогда так больно, я так озлился, что выплеснул одному конопатому таз кипятку на спину. Вышел большой скандал.

Владлен отмахнулся от меня, как от мухи.

— Пойди проверь, кто из них революцию делал.

— Перестань!— сказал я Владлену с расстановкой, чтобы услышал,— схлопочешь по шее, честное слово!

Он передернул плечами, собрал губы трубочкой и пустил дым папиросы мне в лицо.

— Ты что, деревня? Он грозит, он не выбирает выражений!

— Схлопочешь, честное слово!

— Не мешай, дай послушать товарища фронтовика, товарищ весьма интересно говорит.

Бритый швырнул спички со стола.

— То-то и оно — пойди проверь. Нас под Балатоном триста было, трое вернулись. Легли и не встали.

— Шустрый дед,— неопределенно сказал Владлен.

Старик пробрался на свое место, снова натыкаясь на стулья, и сел.

Бритому тоже занудилось добавить, и он ушел к очереди.

— За что орден, папаша?— ласково осведомился Владлен и подмигнул мне. Вот товарищ, ваш сосед, хвастает, что у него этих наград до пупа достанет, если все нацепить.

— За дело давали. И теперь за дело дают. А ты еще не заработал?

— Не довелось воевать.

— И говори спасибо. Мы за вас отвоевались. Конец бы этому, да насовсем,— старик поднял кружку на свет и крякнул. Пиво еще кипело и было похоже на липовый мед первого сбора.

Бритый вернулся и сказал словами, приготовленными еще, наверно, в очереди.

— И никто не против: совершили вы революцию. Да разные люди есть. Ты на поверку-то, может, отец, семечками торговал. А нас под Балатоном было триста, вернись трое. Легли и не встали ребята.

Старик отер усы кулаком и незло ответил:

— Все тело мое в болячках, бесстыжие твои глаза!

— Болячки разные бывают,— сказал Владлен и поднял брови: я, мол, ничего такого не имею в виду, но все-таки...

— Действительно, нашел чем хвастать!

— Бесстыдник ты, сынок!

— Не трожь ты меня!— бритый встал, тряскими руками расстегнул пиджак, рванул рубаху и оголился до пояса, обнажил рыжеватую грудь, усыпанную шрамами, как изюминками,— любуйся, запоминай: тринадцать осколков ношу!

И старик поднялся, одернул гимнастерку, выпрямился, напрягся, но зла в нем не было — гордость была.

— Выдь на воздух, сынок, и успокойся. Не кажи шпане этой раны свои. Имей гордость.

— Мы нисколько не шпана, папаша,— обиженно сказал Владлен.— Он повеселел: завел-таки мужиков, размотал скуку. Шепнул, наклонясь ко мне:— Смываемся, а то сцепятся и быть нам в свидетелях, этого еще не хватало!

Я взял бритого сзади за плечи и потащил к выходу. Он сначала рвался от меня, но скоро обмяк и сел на пустой ящик у дверей и закрыл лицо ладонями. Старик уже стоял навытяжку и качал головой: неладно, мол, получилось, совсем неладно!

— Мы не шпана, папаша,— втолковывал ему Владлен ласково,— мы тоже хлеб не напрасно кушаем.

Я потянулся к пивной кружке и подумал спокойно, что надо ухватить ее ловчее и крепче, я нацелился и выплеснул пиво Владлену в лицо. Он сожмурился и, пятясь, стал шарить в карманах платок. Он пятился и сшибал стулья.

— Щенок!— сквозь зубы сказал Владлен,— я тебе это припомню, щенок!

Потом я сидел на причале и слушал гнусный стон лягушек.

На той стороне озера, за лесопитомником, порхала зарница.

Мне было одиноко и нехорошо.

## 10

Я решил уйти от Кулагиных. И не только из-за Владлена: я плохо уживался в этом доме. Анастасия Федоровна без конца и без меры наговаривала мне прописные истины и верила, что мы там, в деревне, не имеем понятия о самых элементарных вещах. Пеклась она обо мне скорее всего от чистого сердца, но чересчур уж назойливо, а слушать каждый божий день одно и то же малоприятно.

Иногородние абитуриенты с нашего потока уже поустраивались: кто снял угол, другие — комнату на двоих или троих или прописались на дачах близ города. Только я остался при милости на кухне.

На консультации я свел знакомство с парнем, который тоже приехал из села, с Митькой Седых. Я рассказал ему о своих затруднениях, и он потащил меня на Конный базар, где помещалось бюро по обмену жилплощади.

В тупичке неподалеку от университета толкалась пестрая публика: робкие мальчишки, отличники учебы и дети интеллигентных родителей, удрученные парочки, на которых медовый месяц обрушился, как стихийное бедствие. Этим наскучило любоваться штампами загса в паспортах,

они жаждали шалаша, откуда начинается рай; были здесь и старушки в шляпках кастрюлями и белобородые старики с тростями. Люди держались замкнуто и скромно, будто ждали выноса тела. В этой толпе не попадалось счастливых, были только неустроенные.

Митька подвел ко мне седую женщину с пожухлым лицом. На ней было плохонькое пальто, пахло от нее ванилью и пережаренным луком. Она опаздывала на работу и написала адрес на листке блокнота. Квартира однокомнатная, в центре, и сдается угол — триста рублей в месяц. Она сказала, что живет с сыном примерно моего возраста, мальчик он покладистый, и подружиться нам будет совсем просто. Конечно, она предпочитала бы не иметь в своем доме посторонних («уж простите, ради бога, за откровенность»), но так уж сложились обстоятельства.

Расстались мы без особой теплоты, зато теперь мы бы-ли нужны друг другу!

Сборы я не стал откладывать: вытащил чемодан на середину горницы и разложил свои пожитки, как барышник.

Анастасия Федоровна неслышно появилась из своей комнаты, когда я уже заперл чемодан. Она прижимала к животу раскрытую книгу и терла ладонью примятую подушкой щеку. Она было прошла мимо, но остановилась, вынула из кармана халата очки, долго ладила их на тонком своем носу, встряхивая головой, и уставилась на меня так, будто видела впервые. Очки скрывали глаза, и я не мог понять значения этого взгляда: удивлялась ли, одобряла или ей было все равно? Она спрятала очки в кармашек, так же неслышно вышла на кухню и заплескала там водой. Я даже обиделся немножко: ишь ведь какая! — и приподнял чемодан с всячим замком. Я проверил документы, пересчитал деньги и вздохнул с облегчением: конец хлопотам! А сердце однако защемило: это ведь был первый мой самостоятельный шаг, я поворачивал судьбу своими руками. «Выхожу один я на дорогу», значит...

Вернулась Анастасия Федоровна с полотенцем через плечо, зарумяненная, посвежевшая, села на оттоманку и сцепила руки на коленях. Кожа на ее пальцах блестела и шелушилась.

За окнами совсем стемнело, на стенах положились тени, когда в нашу сторону поворачивалась стрела крана у школы. Полосы света разбегались по углам, опадали и таяли, на люстре позванивали стекляшки.

Анастасия Федоровна дотянулась до книги на стуле, пошуршала страницами и подала мне два конверта, подписанные пузатыми буквами. Я узнал почерк матери и спросил глазами: читать? Она кивнула: да. Я присел на чемодан.

«Здравствуй, Настасьюшка!

Поклон тебе да и спасибо, что не забыла про молодость нашу, прожитую, и песни перепетые. Еще спасибо за сына. Христом-богом молю, Настасьюшка, помоги ты ему хоть по первости стать на ноги, ладом смотри за ним и не по-такай. У вас там от людей тесно, есть кому столкнуть мальчика в яму. Сердце болит, как подумая о том. Он у меня не то чтобы испорченный, но уросливый. Я-то с ним не умею справиться по слабости материнской, а у тебя, поди, не забалует».

Письма были одинаковые, в них был страх перед большим и непонятным. А мать ведь агроном, курсы кончала.

Анастасия Федоровна тихо улыбалась, когда я читал про многочисленных сватов и знакомых, о судьбе которых мать была наслышана и чистосердечно полагала, что это интересно и другим.

«Помнишь ли Мотрю Селиванова? Они на выселках жили, против Горелого Бора. Так Мотря умер прошлым годом на Октябрьские. Фекла Анохина теперича в Красноярске живет и при хозяйстве — корова у нее, первотелок,



хрячок да куры. Гриша Сарапульцев на Север забрался и деньги имеет немалые».

Я не судил Анастасию Федоровну за усмешку: она, наверно, пробует иногда представить, какой была бы сейчас там, в деревне, откуда они с матерью родом, в стилом затишье, где всякому, кто остается, заказан предел, где в министры не вылезешь, разве что в председатели сельсовета на сто дворов.

— Оставь чемодан!— в глазах Анастасии Федоровны вдруг поблекла лазурь и возле губ подковкой обозначились складки. Эта женщина умела приказывать, но я и не думал подчиняться. Я поднял и тряхнул чемодан за ручку, примериваясь. Она, видимо, почувствовала, что на меня накатывает воловье крестьянское упрямство, и сразу переменилась — расслабла, и, привалясь спиной на подушки, высоко вскинула голову. На грудь ей клинышком упала тень от подбородка. Она затихла так, в неудобной позе, надолго, а когда выпрямилась, я увидел на ее щеках две слезы. Она смахнула слезы платочком и сказала напряженным голосом:

— Ты мне должен помочь.

Я присел на чемодан.

— Сейчас объясню. Все объясню,— две круглые слезы покатались по ее лицу.— Ты, наверно, уже кое-что заметил? Владлен,— она громко сглотнула, ломая губы,— ведет себя... ну, не совсем нормально, пьет часто. В институтские свои дела он меня не посвящает, сердится, когда вмешаюсь, советов не слушает — взрослым себя считает, а какой он еще взрослый! Ты успокойся, ехать уже поздно. Завтра уедешь, если захочешь, держать не буду.

— Я сегодня обещал.

— Ничего, потерпится.

Она говорила час или больше. Я слушал.

Она говорила о том, что жизнь их сложна, и всегда была сложна, но особенно — в последние годы, оттого что

она связала судьбу с человеком, которого любит. Любить, оказывается, никогда не поздно. Это молодые считают, что настоящее чувство — привилегия молодости, во все не так. Первый ее муж и отец Владлена (он военный) — человек хоть и безусловно добрый, но безалаберный, распутный, и она от него натерпелась всякого. Ради Владлена терпела: семья все-таки есть семья, даже самая никудышная. Наконец, пришлось ломать это видимое благополучие.

С Иваном Ивановичем (теперешним мужем) она познакомилась в Магадане, он хоть и москвич, но полжизни провел на Севере, потому что геолог и видный специалист по редким землям. Сейчас Иван Иванович в отъезде. Она бы с ним уехала, но Владлена одного оставлять нельзя: ее новое замужество он перенес тяжело и до сих пор не в себе. Он замкнутый по натуре, ему нужен товарищ, настоящий товарищ.

Анастасия Федоровна потянула меня за полу толстовки и усадила рядом, запустила руку в мои волосы. Я краснел и чувствовал себя неловко от этой нежданной ласки.

— Ты понял меня? Ему товарищ нужен. Или ты к нему совсем равнодушен? Нет ведь? Он тебе нравится?

— Нравится.

Что я мог ей ответить? Не сказать же, что он, по-моему, сволочь порядочная.

— Он всем нравится. А в университет мы тебя устроим.

— Если сдам экзамены.

— Ты сдашь экзамены. Ну, как? Остаешься? Не дай ему сбиться с пути, прошу тебя, как мать прошу! Ну?

— Ладно, останусь. Пока.

— Дальше видно будет, — сказала она и убрала руку с моей головы, — ты хороший мальчик, отзывчивый, я в тебе не ошиблась. И вот еще что. Тебе, вижу, неприятна эта тяжесть из-за малины? Мне она тоже неприятна. Но дело вовсе не в малине, дело в принципе. Титков не прост, ох,

не прост. Не верю я ему. И поблажек он у меня не дож-дется ни в большом, ни в малом.

Что-то она слишком уж сурово высказалась насчет де-да, но ей лучше знать, она всякого насмотрелась, однако, оставить ей бы малину в покое — из великодушия хотя бы. Дело ведь не в малине...

...Анастасия Федоровна принесла из геологического уп-равления справку, в которой было сказано, что я с малых лет на иждивении Кулагиных, и поскольку Кулагины работа-ли в системе Дальстроя, то я автоматически имею право, согласно постановлению Правительства, от такого-то и такого-то, в любой вуз страны поступать вне конкурса. Но ведь это — обман! Если я, допустим, сдам экзамены и, ми-нуя конкурс, попаду в университет, то обязательно за счет кого-то, кто, может быть, способней и нужней меня. Моя удача кому-то обернется немалой бедой, так ведь? Так. И успокоить себя нечем.

Я не посмел отказаться от справки — Анастасия Федо-ровна была бы убита моей черной неблагодарностью — и сдался. Да и слабо я верил, что справка поможет. Однако ночами ворочался — думал и думал. Отчего-то было осо-бенно жаль Митьку Седых — большеротого заморыша, ко-торый сдавал экзамены со страхом и потугами, потому что дома у него распоряжалась злющая мачеха и был пси-ховатый отец, инвалид войны. Митька проникся ко мне до-верием и много рассказывал про свою семью. В универси-тетском буфете он обедал за копейки, брал салат из капусты, сосиску, кусок хлеба и оттирался в сторону с книжкой. Его залатанный пиджак был всегда в известке. Он начитывал мне свои стихи — про сирень на бульварах и недосказанную любовь. Стихи были щемяще-робки, как далекий звон струны.

И этот самый Митя — незадачливый, виноватый перед всем миром и злой мачехой — сойдет однажды со ступе-нок университета на улицу. В последний раз за его спиной выстрелит тугой пружиной факультетская дверь, а сторо-

жиха в последний раз замученно и привычно наполнит ему о том, что дверь надо придерживать, хоть дверь и казенная, и если каждый станет звякать да брякать, то и каменные стены возмутятся трещинами, то и крыша с конька свалится на головы добрым людям.

Он посмотрит на нее тускло и зашаркает, как старик, он уйдет насовсем, чтобы остался я и занял его место. Этот парень стоял за моей спиной и дышал в затылок.

...Анастасия Федоровна вытащила меня из толкучки у расписания, взяла за рукав и куда-то потянула. Перед нами расступались с насмешливой почтительностью — все было ясно: еще одна ретивая мамаша хлопочет за своего недоросля. И мамаша не из робких.

За нами на некотором отдалении скромно топали абитуриенты: почему бы и не развлечься, коли выпадает такая возможность!

Анастасия Федоровна стучала каблуками — будто камешки рассыпала на захоженный университетский пол. Плащ ее отдавал фиолетовым блеском, как брюшко навозной мухи. Заграничный плащ, экстра!

Я в толстовке и суконных штанах, сшитых под морские клеши, выглядел полудурком.

Мы подчалили таким манером к столу председателя приемной комиссии — человека с круглой, точно надутой, головой и мальчишеской челкой на лоб. Он был молод и несолидно весел.

На пальцах Анастасии Федоровны играли перстни и кольца. Я пристально смотрел на ее руку, которая ломала замок сумки. Председатель, чуть приоткрыв рот, тоже следил за ее рукой и зяб от тоски: он в деталях представлял, что будет дальше — за месяц он выдержал с добрую сотню таких вот лихих наскоков во фронт и тихих вылазок в тылы. Хлопотная нагрузка могла бы в короткий срок сделать его врагом всего живого, поскольку он имел дело в основном с темными сторонами страстей человеческих, но он еще держался.

Уже из последних сил, это было заметно.

Замок, наконец, щелкнул и открылся.

Председатель повертел у глаз справку и невыразительно сказал:

— Будем иметь в виду,— и вперился в потолок,— не один я решаю, гражданочка.

Анастасия Федоровна уставилась председателю в темечко и громко сказала пустоте:

— Должны иметь в виду.

— Конечно,— ответил председатель совсем уж стертым голосом и не оторвал взора от пыльной люстры,— само собой.

— Мой мальчик стихи пишет!

— Здесь все стихи пишут,— председатель обвел толпу, что грудилась у стола за нашими спинами, лукавым взглядом. Он вежливо и упрямо выводил себя из-под удара — он вовсе не хотел, чтобы смеялись над ним.

Анастасия Федоровна все еще жулькала в кулаке рукав моей толстовки.

Господи, я никогда не писал стихов!

— Я, разумеется, надеюсь на своего мальчика, но почему бы, скажите, не воспользоваться льготами, на которые мы имеем право? Он ведь учился в условиях крайнего Севера и до шестнадцати лет ни одного яблока не кушал!

— Понимаю. Будем иметь в виду. У вас все?

— На сегодня у меня все!

Председатель хоть и по-прежнему считал лампочки на люстре, но уловил, что встреча эта не последняя, кивнул нам и спрятал бумагу в ящик стола.

В вестибюле Анастасия Федоровна долго и как-то вяло прихорашивалась перед зеркалом, поправляла волосы на висках, скрипела туфлями на невообразимо высоких каблуках. Я стоял рядом и вытирал платком мокрые руки.

— Гадко, да? — спросила она, не оборачиваясь.

— Нехорошо мне. Стыдно.

— И мне стыдно, Федор: первый раз обманываю, не

научилась.— Анастасия Федоровна вздохнула и пошла к двери.

На улице я не очень вежливо сказал какую-то несурязицу насчет занятости, свернул в ближайший переулок, шел куда глаза глядят и, сердясь, думал вот о чем: «Я серый, и это обидно. Они все выиграли уже потому, что родились в городе, они каждый день смотрели кино, ходили по театрам, брали в библиотеках книжки, какие душа пожелает. учились в образцовых школах. У меня ничего такого не было, я в дыре вырос».

Но ведь есть еще и Митька Седых, вот почему мне тошно.

11

Отца беспокоили два моих недостатка: бесхарактерность и неспособность к математике.

— Ты вот добрый, не возражаю,— говорил отец,— но доброты одной мало, надо бы еще и твердость иметь.

— Сегодня же часам к семи вечера найду свою твердость, успокойся. Найду и принесу.

— Ты не скаль зубы-то!— вскипал отец.— Тебе жить, понимаешь — нет, а доброта может и не в ту сторону завести, подлецом может сделать, друг ты мой ситцевый, золото самоварное! Кто же ты из себя — брандыхлыст и мазурик в штанах? Или как?

— Без штанов ходить, что ли?

Отец плевался и выскакивал во двор успокоиться и просвежиться на ветерке. Но жизнь моя оборачивалась кислой клюквой, когда отец бывал под хмельком: в эти моменты на него накатывала непоборимая страсть воспитывать. Он сажал меня напротив и держал речь.

— Ты математику не любишь, она тебе не нужна. Идем дальше. Ты не хлопай ушами, внимай.

— Не хлопаю и внимаю, мне невыразимо приятно тебя слушать. Век бы так сидел и слушал.

— Работаешь ты, допустим, в городе и занимаешь ответственную должность. И вдруг однажды посылают тебя уполномоченным на лесозаготовки. Да не вороти физиономию!

— От тебя водкой пахнет!

— Терпи, я редко пью. Да. И посылают тебя, значит, уполномоченным на лесозаготовки. И следует тебе, понимаешь — нет, проверить, сколько же кубов заготовлено на сегодняшний день? А ты и сопли пустил — считать-то не можешь. Как же людям в глаза смотреть будешь?

— Я с собой учетчика из города возьму.

— Дурак! — отец стучал кулаком по столу и багровел пятнами. — Бери тетрадь и пиши условия задачи.

— Задача была про гусей: летела, значит, стая гусей, а навстречу ей — еще стая.

— Почему навстречу? Они в одну сторону летают — на север или на юг? Может, догнала вторая стая?

— Пиши!

Во встречной стае было столько гусей, да еще столько, да четверть столько, да еще один гусь. Сколько же их всего? И так далее.

С ума спятить можно!

Я не мог решить эту задачу, лет пять не мог решить, и убедил отца в своей абсолютной тупости, он устал надеяться на чудо и занялся исключительно моим характером. В последней и долгой беседе ночью перед разлукой, закручивавшись, отец велел беречься людей с толстыми и короткими пальцами на руках. Почему толстопалые не пользовались его доверием, я так и не взял в толк.

В одном мой отец был прав: на своих обидчиков я не мог сердчать долго, я отходчив, но что в том плохого?

Вот и Владлена я не то что простил, махнул на него рукой, вздохнувши, когда он пришел мириться и сказал:

— Пошло я себя вел и не думал о последствиях, ты уж извини. Да и расстроен был, сам понимаешь...

Он был вежлив, смущен и многословен, он обещал в ближайшее время достать мне костюм — «дешевый и интеллигентно пошитый» за те деньги, что я отдал ему две недели назад в машине.

— Поступит партия товаров из Риги и будет тебе костюм — серый такой, с искоркой. В Риге элегантно шьют. А почему, спросишь? Там еще свежи пережитки в сознании и не пропал вкус. Видишь ли, у нас, к примеру, плохих инженеров перештат, но хороших портных совсем мало.

— Деньги не мои, я хотел их назад отослать, а с костюмом подождется.

— Зачем назад отсылать? Вещь достанем, без трепотни, так то же вещь!

Было раннее утро, Анастасия Федоровна еще не проснулась, и мы разговаривали шепотом. Владлен заглядывал в мутное окно и старался угадать, будет дождь или не будет и надевать ему плащ или не надевать? Он уезжал с компанией за город, на чью-то дачу и торопился.

— Да! — вспомнил Владлен, — напиши, пожалуйста, письмо и отошли на главпочту Кикоть Марии. Запомнишь? Смешная фамилия, правда? Нет, на моем столе оставь, перепечатаю и отошлю сам.

— Это про любовь, что ли? И как я без тебя?

— Пиши, что вздумается, черт с ней! Ввязался я в историю.

— Станный этот твой друг, однако...

— Раз я ему помог, на лекции от нечего делать сочиняли, ну он и прилип ко мне, как банный лист. Чокнутый мальй... Пиджак ты мне испортил, рубашку тоже... Пивные пятна трудно выводятся. Да матери про драку не ляпни, сам выкручусь.

— Ладно, не скажу.

— Ну, будь.

— Пока.



- Письмо сейчас же состряпай.
- Мне на консультацию в университет ехать.
- Успеешь.
- Ладно.

Он ушел, благополучный и нарядный, был долго еще слышен скрип его лаковых штиблет. Нет, я его не простил. Даже глупому понятно, что есть вещи, смеяться над которыми не дозволено никому, он же не берет в счет ни седин, ни ран. И откуда в нем эта жестокость?

А письмо? Письмо я напишу, пожалуй, это нетрудно.  
...Я ищу первую строчку.

Вдруг я отчетливо вижу площадь Ермака, вижу ночь. Город хотел тишины. Ночь разливалась неудержимо, просачивалась сквозь камень и стекло. Окна гасли — закрывали веки.

В ту ночь колыхнулось во мне тепло, когда она вошла в комнату общежития — далекая и чужая. Потом села с опущенной головой и будто хотела что-то услышать в самой себе — Владленова Надя, беловолосая Наденька Зими́на.

«Мария!

У тебя неприятности, это правда?

Недавно я встретил тебя в парке, и ты плакала. И знаешь, я не жалел тебя потому, что незадолго до этого видел счастливой. Ты стояла под фонарем на тротуаре, смотрелась в асфальт, как в зеркало, и перебирала волосы. Я радовался за тебя и, конечно, завидовал ему — он был рядом и ты была его. Ночь пахла мокрыми липами, пьяный стучал кулаком в дверь закрытого ресторана, словно в днище пустой бочки — ему было страшно оставаться одному.

Я не жалок и не одинок, но тоже стучусь к тебе кулаками, и мне не больно — ведь я бью в пустоту, я для тебя тот — «еще один», который досаждаёт глупыми письмами. И поверь, я не в отчаянии, я бываю счастлив иногда уже

просто потому, что есть ты, есть мое неизбывное чувство к тебе.

Вот и все, Мария.

У тебя день рождения. Высылаю два билета на оперу, достал их с большим трудом и пусть когда-нибудь мне это зачтется. Шучу, конечно.

Ты не беспокойся, я не приду в театр и не буду жечь твой затылок демоническим взглядом, как в старых романах — уезжаю на месяц в дальнюю командировку. Если не сумею пересилить себя, напишу оттуда.

До свиданья, всего тебе доброго!».

Вот и гора с плеч. Пусть Владлен достает билеты для Марии Кикоть или пусть вычеркнет про театр и про день рождения, наплевать. Нет. Мне жалко отдавать это письмо в чужие руки. Я порвал тетрадный листок, на котором писал, сгреб в ладонь легкую горку бумаги, чтобы выбросить, но тут же пожалел, что порвал письмо. Но я помнил его почти наизусть. Я видел Наденьку Зимину в светлом кругу фонаря, она отбрасывала рукой волосы за плечи, и тень ее тонко, карандашиком, пересекала тротуар, потом тень истаяла, пропала. Стало пустынно и тихо, лишь пьяный уже редко колотил в дверь ресторана. Он устал.

Но что это со мной? Я не мог ответить на этот вопрос даже себе...

Консультация не состоялась, и я поехал домой.

День был голубой и необычный. Кипел под солнцем тротуар, блестели трамвайные рельсы, окна, провода. Но зноя не было.

Я вышел из автобуса, потому что здесь кончался город, здесь не было уже тощих газонов, отсюда начиналась тишина. По обе стороны тянулись переулки, деревянные дома со скворешнями и палисадниками, с крапивой в улицу и яблонями у окошек. Встречались женщины с ведрами, мальчишки гоняли пустые велосипедные ободья. В переул-

ках пахло теплым молоком, умятой полынью и хлебным дымом.

Четыре автобусных остановки от Нового шоссе я шел пешком, заглядывал в раскрытые калитки, замахивался камнем на собак, не спеша сторонился машин. В эти минуты я верил, что буду жить в городе долго, буду носить галстуки по моде, выучусь говорить по-здешнему — чуточку вразяжку, стану толкаться локтями в автобусах, начну бегать по выставкам, буду поносить старых поэтов и хвалить новых, приловчусь брать крашенных девочек под руку и кланяться, обтягивая зад штанами. А пока я ничего такого не достиг и не имел тонкого обхождения. Беда.

Я постоял на мостике, бросил в грязную речку окурок, последил глазами, пока он не пропал из вида, и не спеша пошел дальше. Настроение было ничего — экзамены я сдавал не хуже других, по немецкому, правда, имел тройку, но и то слава богу. Осталась одна география — предмет не-серьезный. Смотришь, и проскочу.

Впереди остановилась «победа», из нее вылез человек в длиннополом сером пальто и клетчатой кепке. Человек постоял, осматриваясь, и пошел по траве, сбочь дороги.

Человек, похоже, ищет наш дом? И точно: он свернул направо, миновал первый подъезд... Кулагиных ищет?

..Анастасия Федоровна не успела еще закрыть дверь, я проскочил мимо нее и увидел на диване в прихожей Лешу Волгина. Со спины-то я его не узнал! Он посмотрел на меня, лукаво щурясь, будто назначил здесь мне свидание и явился первым.

...Анастасия Федоровна не успела еще закрыть дверь, я полотенцем и ждала, когда гость объяснится, а он не торопился объясняться — закурил, расстегнул пальто, пригладил ладошкой ворс на диване.

— Здравствуй, Федор, садись, брат. Я отдыхаю — устал. Жара сегодня, а? — и снова погладил диван.

— Как живешь, Федя?

Он говорил так, будто мы были с ним вдвоем в комнате.

Брови Анастасии Федоровны неудержимо поползли вверх.

Он же не замечал ее, обстоятельно расчесался, поправил галстук и уселся поудобней, надолго.

Анастасия Федоровна наверняка думала, что этот человек пришел ко мне, и не могла уяснить, почему он так, слишком уж непринужденно, держится в чужом доме. Она готова была сказать ему об этом и искала только подходящую форму.

Я поставил на валик дивана пепельницу и успел опередить Анастасию Федоровну:

— Владлена нет, Алексей Иванович, за город уехал.

Он, наконец, сказал, поворачиваясь к хозяйке:

— Моя фамилия Волгин, я был до недавнего времени секретарем партийного бюро факультета, на котором учился ваш сын.

— Очень приятно,— она подвинулась к нему, он встал, раскрылил пальто и не очень салонно пристукнул каблуками. Она присела на краешек дивана подальше от него и сцепила руки на животе.

Леша ударил кулаком по острому своему колену, отвернулся от нее, ушел куда-то, чтобы подумать о важной и недодуманной еще заботе.

— Так мне неясно...

Он встряхнулся и отрубил:

— Вам давно и все ясно. Вам неясно, допускаю, одно — как он ухитрился проболтаться в институте целых пять лет. Впрочем, и хитрости никакой — жалели. А зачем жалеть? Исключили, приказ висит, и концы в воду! На практику в автопарк глаз не кажет больше месяца, два хвоста с прошлой сессии тянет, вчера к декану пьяней вина закатился — в любви объясняться. Куда уж дальше-то ехать, приехали! — Леша вздохнул с неподдельной усталостью.

— И ничего уже нельзя поправить? — Анастасия Федоровна не изменилась в лице, даже руки ее не дрогнули на переднике, лежали, покойные, маленькие, крепкие и холод-

ные наощупь, замытые до шершавости. Она-то сумеет поправить, будьте уверены!

— Затем и приехал,— ответил он,— поручился горяча — не совсем, мол, бросовый парень, тем более пять лет государство сосет, ласковый теленок!

— Он же способный.

— Оставьте вы это! — он брезгливо отгородился от нее локтем, — на что способен? Водку жрать да проспекты утюжить?

— Зачем же вы поручились за него?

— Поручился зачем? Моя вина здесь, а я перед государством и совестью своей не привык виноватым быть, того и вам советую.

— Не совсем, знаете ли, ясно...

— Ясней требуется? Я в деревне вырос, а во всякой деревне, известно, свой дурак есть. И нас бог не обидел. Вез наш дурак сено зимой на двух жеребых кобылах, нагнал его объездчик верхом — вполне умный гражданин — и пустил своего коня напрямки по льду через речку. Дурак следом попер. У объездчика лошадь, значит, кованая, а у дурака нет. Сели в итоге обе его кобылы на лед и скинули. Так прокурор умного в тюрьму отправил за то, что не оглянулся: ты, говорит, не предостерег, с тебя и спрос. Доходчиво так-то?

— Вполне доходчиво, — Анастасия Федоровна выпрямилась и захватила край передника в кулак: у нее начали сдавать нервы, она не привыкла к такому обращению.

Я следил за ними с беспокойством, у меня холодело в затылке, я все теснее прижимался к стене и не мог отделиться от странной уверенности, что эти люди давно и хорошо знают друг друга. Издали знают, и встречаться им неприятно.

Я не успел и не догадался сразу уйти, они обо мне забыли. Лучше бы не слышать этого разговора!

— Все вам ясно... — жестко сказал Леша и закашлялся. Его шея обвилась темными жилами, лицо побурело. Он за-

жал рот ладонью, сотрясался весь, клонился ниже и ниже, пока не уткнулся в колени, а когда откашлялся, долго хватал воздух серыми губами и тер платком замокревшие глаза.

— Нездоровы? — вежливо осведомилась Анастасия Федоровна и тоже наклонилась, подалась вперед. Она искала в нем слабое место и нашла — он уязвим. Она выпустила передник, оперлась о валик и успокоилась.

Леша этот вопрос оставил без внимания и сказал:

— Порешим так: завтра жду его в семь утра. Буду его к экзаменам готовить, иного выхода не вижу. Последний шанс. Адрес оставляю.

— Вы с кем живете? Прошу извинить, конечно, за навязчивость...

— Извиняю за навязчивость. Угол снимаю у богомольной старушки. Веры еще не принял.

— Не лучше ли у нас заниматься, Алексей Иванович?

— У вас? — он поднял брови.

— У нас спокойно, воздух по-здешнему, можно сказать, курортный. Вам это кстати.

Леша подумал.

— Телефон у вас есть? Есть. Здесь спокойней будет, на самом деле. Тогда я приеду. Все, по-моему. Федор, проводи, брат.

12

Небо было васильковое и без облаков, только вдали проступала сизая дымка — городская испарина.

Мы поглядели туда-сюда и послушали.

Тишина.

Напротив нашего подъезда старик Титков собирался приколачивать спинку к лавке. В тенечке под забором был разложен его инструмент — топор, ножовка, рубаночек,

ящик с гвоздями. Две опоры под спинку были прислонены к тесовой стене. Стойки напоминали по форме латинское «З», только нижний конец их шел наискось и прямо. Старик-то дока по столярной части: не всякому такая работа с руки!

Леша сказал, щурясь на солнце:

— Бог в помощь.

Титков разогнулся, придерживая поясницу, и кивнул: спасибо.

— Давай-ка, Федька, поможем товарищу,— Леша кинул свое пальто на заборчик, растопырил локти и поводит плечами.

К нам подковылял гусак бабки Корнеихи, старшей по дому, и собрался зашипеть, но раздумал — сердиться ему было не в охоту, он крякнул ржавым басом и пошлепал дальше, точно большой начальник, которому не к чему придраться.

Титков вслед гусю задумчиво пошвыркал мундштуком и закурил.

— Взяли?

Я выкопал ямки, они воткнули опоры, прибили их к столбикам, уложили поперечные рейки, и Леша сел на скамейку — опробовать, как оно сидится.

— Столик бы еще.

— Не помешало бы.

Титков пошел в дом и сразу воротился, он нес в руке наотмашь жестяную банку и кисть. Старик провел по верхней поперечине скамейки длинную изумрудную полосу. Отступил, полюбовался и еще мазнул.

— Играет, отец, играет! — Леша тоже попятился, тоже склонил голову к плечу,— весенняя травка на лугу, богатый колер!

В самом деле, чудная будет скамейка, стыдно при этой скамейке иметь такой двор. Я бы все эти лохматые сарай, дай волю, залил бы веселой краской на два раза. И дом бы замазал, и припадочного корнеевского гуся замазал.

Ходил бы оно двору, единственный в городе — зеленый.  
У меня зудились руки вырвать у старика банку и кисть.

— Разрешите?

Он разрешил, отошел малость и, как мальчишка, подернул распузыренные на коленях штаны. Леша, подбоченясь, встал за моей спиной и следил за работой.

На заструганное дерево, которое еще скупно берегло запах томленного леса, краска ложилась легко и мягко.

— Ты, Федька, аккуратней! — наставлял Леша, — не капай, капашь же!

Ему тоже не терпелось попробовать, как оно получается, и я отдал ему банку — все равно отобрал бы. Леша помакнул кисть самым концом, повертел ее в кулаке и по-нес руку, будто в ней был огонь, готовый погаснуть.

Корнеевский гусак тем временем разогнал кур по двору, скучно порылся в песке и опять подковылял к скамейке. Он покачался для зачина, в горле у него набух комок, побежал вниз и где-то спрятался, как в копилке, а шея вытянулась, будто резиновая. Леша присел, охнул, ударил себя ниже поясницы, намахнулся на гуся кистью, и гусь окатился весь зелеными крапинками.

Титков выронил мундштук.

Я кинул в гуся чурбан, и он убежал, роняя перья.

Сейчас же из первого подъезда возникла Корнеиха — небольшая шустрая старушка — и принялась честить нас базарной скороговоркой. С гуся текло, он топтался перед старухой и показывал себя со всех сторон — оглядывай, мол, и полюбуйся, как надругались надо мной эти злыдни!

Леша согнулся и хохотал, закатывался. Титков шарил в песке — искал мундштук, который выронил, и взялся рукой за горящую сигарету, плюнул в сердцах и потянул палец в рот.

Корнеиха обтирала гуся лопухом и несла нас на чем свет стоит. Ее бы надолго хватило, она только взяла разбег, но оборвалась: во двор к нам с улицы шел милиционер — румяный парень с офицерским планшетом на боку и в сапогах



гармошкой. Он поздоровался слишком тонким для представителя власти голосом, перекинул планшет на живот и достал сложенную пополам тетрадку.

— Гражданка Кулагина здесь проживает?

Корнеиха оттолкнула ногой гуся и со сладкой улыбкой подсеменила к милиционеру.

— Я старшая по дому, я покажу.

Они пошли: впереди — суетливой поступью — Корнеиха, милиционер и за ними — поруганный гусь.

— Не успеем докрасить, — сказал Титков и громко выбил сигарету из мундштука, — не дадут. Кисть в краску положите, — Титков покосился на подъезд, в котором скрылись милиционер и Корнеиха, — в краску, иначе засохнет — она колонковая.

Старику было неловко, и я догадался, почему: два дня назад я видел, как он, крадучись, перенес кусок забора на старое место и тихой сапой отвоевал у Кулагиной свою малину. Остальное, наверно, было без меня. Анастасия Федоровна уже в который раз грозилась привлечь старика к уголовной ответственности за это озорство. Вот и привлекла.

Титков сморщился, потрогал щеку с таким выражением, будто у него ныли зубы: на крыльце появилась Анастасия Федоровна. Она закинула полы халата у колен, посторонилась, пропуская милиционера, увидела Лешу и чуть смешалась — ей ни к чему сейчас были посторонние.

Корнеиха показала на Титкова.

— Он и есть.

Они свернули к палисаднику Кулагиных. Старик, немощно шаркая желтыми штиблетами, поплелся следом.

Леша ничего не заметил — он крутил головой, как дрозд на ветке, водил кистью и пел такие слова:

Ах, неужели лопнут шпоры,  
шестерка не возьмет коней?  
...Пускай наденет мои шпоры  
пехотный унтер-офицер...

Он попятился, споткнулся о кирпич и спросил:

— Где это... люди? И старик?

— Его на суд повели.

— Это — как?

— Малину с Кулагиной поделить не могут.

— Айда, посмотрим, Федор,— Леша небрежно перебросил свое серое пальто через руку и поправил галстук.

Корнейха стояла спиной к нам на цыпочках, привалясь к штакетнику. В Кулагинском полисаднике плавала красная фуражка милиционера.

Леша налег на забор рядом с Корнейхой, я ближе подойти не посмел, я чувствовал, что Анастасия Федоровна не простит мне Лешу и мое нетактичное поведение: в замочную скважину, скажет, заглядывать куда как нехорошо! Ну и ладно. Я его привел сюда, что ли? Сам явился.

Леша махнул, не оглядываясь: звал подойти.

Милиционер сидел за столиком под черемухой и писал карандашом в тетрадке, он был стрижен, лопух и не воспринимался всерьез. Рядом стояла Анастасия Федоровна.

Титков принципиально оставался на своей половине, он держался за оградку и делал ладошку козырьком, когда к нему обращался милиционер, лицо его было полосато от теней и солнца. Он раздумчиво пожевывал, прежде чем ответить.

Милиционер спрашивал громко, чтобы слышал Титков.

— И землемера приглашали?

— Приглашали,— ответила Анастасия Федоровна и поклонилась,— он подтвердил права на мой участок, согласно первичным замерам.

— Малина, значит, не на вашем участке, гражданин Титков,— милиционер надел фуражку и спрятал уши, которые просвечивали,— на каком же основании вы переставили забор?

Старик посмотрел куда-то вверх черемухи и начал совсем издалека:

— Когда вас еще на свете не было, товарищ милицио-

нер, я уже был человеком. И никогда не мельчал. А она мельчает, она пошла не в ту сторону. И мне это обидно.

— К делу не относится,— твердо сказала Анастасия Федоровна.

— Если бы не относилось! — тяжело вздохнул старик, — видите ли, уважаемая, то есть, неуважаемая, до вас здесь была приятная семья, добрые, знаете, жили люди. У них была большая девочка, эту малину я доставал именно для девочки и ездил в питомник под самую Еловку. И привез. Я хотел, чтобы девочка рвала малину, но она уехала. И мне очень неприятно, поверьте, если малину рвать будете именно вы!

Анастасия Федоровна встретила глазами со мной, с Лешей, побледнела и нехотя убрала руку с бедер.

— Дело ведь не в малине,— сказала она,— дело в принципе.

— В принципе, вот именно! — откликнулся Титков.

А Леша вдруг отпер калитку, по узкой тропинке между цветов пробрался к столику и по-хозяйски спросил, обращаясь ко всем:

— Лопата есть?

Титков подал ему лопату.

— Федор, помогай!

Опять Федор! Я гляжу, многие тут умеют распоряжаться да всякую ли команду стоит слушать? И что он там затевает? Я видел, как Леша наигрывал желваками и хмурел, ему этот мелкий дележ тоже не нравился. Раздразнит публику и домой укатит, а мне выволочка к ужину будет: шею не набьют, конечно, но неизвестно еще, что хуже. Я не слышал и все, я нездешний, как тот цыган в старом анекдоте.

Леша позвал второй раз, уже сердито. Куда от него денешься — такой заставит!

Мимо Анастасии Федоровны я прошмыгнул на расстоянии, она не уступила мне дороги, и я помял георгины.

Леша бросил свое пальто на столик, разгреб ветки че-

ремухи, нырнул в темный закуток и через дыру пролез к Титкову, где росла эта растреклятая малина. Титков подвинулся к нам и сложил руки на груди, как капитан Немо, приготовился наблюдать. К нам пробрался и милиционер, тоже любопытствуя. Сквозь ветки отсюда проглядывался яркий халат Анастасии Федоровны — она сидела на лавочке лицом к нам.

Четвертым здесь было тесно. Леша кое-как приловчился и, ругаясь вполголоса, воткнул лопату в сырой дерн.

— Еще бы инструмент, вдвоем подручной. Беги, Федор, найди еще лопату.

Я сбегал и принес. Мы вдвоем стали окапывать малину.

— Корни не потревожьте! — забеспокоился Титков, — дальше забирайте, дальше, пожалуйста!

— Он правильно говорит, — поддержал Титкова милиционер и выдавил каблуком ямку, — вот здесь, сюда копайте.

Леша дышал часто и с христом, ему, видно, было тяжело, но он не бросал лопату.

— А зачем вы копаете? — поинтересовался Титков и наклонил голову к плечу, как любопытный мальчик.

Законный вопрос, как говорится!

Милиционер поскрипел шикарными сапогами и кашлянул: его тоже это интересовало.

Возле школы на плитах перекрытий рабочие ели сайки с маком и поглядывали в нашу сторону. Там была и краповица — чернявая девчонка, которая будит меня утрами, когда перепирается с каменщиками.

Дерн давался туго, и у меня намочла рубашка на спине.

— А зачем вы копаете? — спросил опять Титков и убрал руки с груди.

— Правда что? — поддержал старика милиционер. Ему нравилось смотреть, как мы работаем. Он наверняка деревенский парень, еще больше деревенский, чем я: наверно, мобилизован откуда-нибудь из средней России — ря-

занский или пензенский. Он забыл про свои полномочия, он только беспокоился, чтобы мы не потревожили корней.

Леша крикнул рабочим у школы:

— Можно на минутку, ребята?

Первой подбежала крановщица. Она дожевывала сайку, нос ее был испачкан маслом, красный платок сбился на ухо.

— Здравствуй, красавица! — сказал Леша, — это малина, красавица.

— Вижу.

— Ты замечаешь, красавица, что этой малине здесь неуютно, а места у нас больше нет. Малина особого сорта. Вот этот пожилой товарищ, — Леша торжественно показал на Титкова, так торжественно, что старик вытянулся, как на смотру, — за малиной, которую ты видишь, ездил под самую Еловку. Это далеко. Мы дарим вам, красавица, малину, и концы в воду!

— И что мы с ней будем делать? — крановщица шмыгнула носом.

— Посадите во дворе школы, это будет ваш скромный подарок детям.

— О! — Титков воздел палец по-профессорски, значительно, и заулыбался, — о!

Милиционер собрался что-то сказать и не сказал ничего, только еще поскрипел сапогами.

Крановщица вернулась с двумя парнями, мы бережно передали им три кустика вместе с пластами земли.

Титков решил, что без него дело не обойдется и, озоровато оглянувшись, вырвал штакетину, протиснулся на строительную площадку и пошел консультировать рабочих.

Леша отряхнул пиджак, брюки, газетой обтер ботинки и поднял голову.

— Ну, составляй акт, на меня составляй, я тебе всю биографию по порядку расскажу. Спрашивай. Как тебя зовут-то?

— Павел, — ответил милиционер.

— Веди дознание, Павел.

— Какой уж акт, все по совести рассудили,— милиционер застегнул планшет, одернул китель сзади и направился к калитке.

Анастасия Федоровна ни слова не сказала милиционеру, только пожала плечами: мне, мол, все равно и так-то, пожалуй, к лучшему — баба с воза, кобыле легче. Ей, по моему, тоже наскучила эта унылая канитель с малиной и упрямым Титковым. Принципиальность, она тоже нелегко дается!

Леша, как давеча, как в первый раз сегодня, не очень ловко пристукнул каблуками, поклонился Анастасии Федоровне, которая закаменела на лавке.

— На меня теперь жалуйтесь, на меня! — глаза его облuchились морщинками, он был старый, старше Титкова сейчас.

Анастасия Федоровна махнула рукой и улыбнулась: дело-то выеденного яйца не стоит.

13

Я сдал экзамены и прошел по конкурсу. Я перечитал список на доске для объявлений сто раз, но мне все равно мерещилось, что в сто первый моей фамилии в списке не окажется или вот сейчас подойдет девица из приемной комиссии и красным карандашом, жирно, вычеркнет меня и скажет, что вкралась досадная опечатка, что вы, мол, можете забрать документы и исчезнуть на все четыре стороны, как ведьма на помеле. Я поглупел и даже не радовался — наверно, просто устал ждать и надеяться, да и потом я успел приучить себя к мысли, что университет не для меня, а для тех, кто поступить сюда и остаться в этих коридорах на целых пять лет не считал чудом.

Полдня проболтался я у доски объявлений, видел смех

и слезы, видел, как Дмитрий Седых закрыл дверь института и, согбенный, зашаркал по тротуару. Я проводил его до вестибюля, но не окликнул, не остановил.

Фигура Митьки, изломанная стеклами окон, пропала в людском потоке. Я его больше не встречаю, а если и встречу, то вряд ли припомню, что когда-то наши судьбы переплелись так неожиданно и, может быть, отчасти из-за меня он свернул не на ту дорогу, которую выбирал и которая была ему по душе. Он не подозревает об этом сейчас и не будет знать никогда, зато на мою совесть лег тяжелый грех. Мне жаль его, но у меня не хватило бы сил поменяться с ним ролями. Я долго и напрасно пытался еще найти спину Митьки Седых в людском потоке. Толпа текла, менялась, и не было ей конца.

Наконец, по крутым ступенькам лестницы, скользя, я выкатился на волю.

В небе были высокие и тусклые облака, над улицей зависла автомобильная гарь, и звуки улицы глохли, как в воде. На асфальте у тротуара блестел наезженный след — две извилистые полосы.

Я повернул к центру, забрел в кафе, съел большую порцию мороженого с виноградным соком и спустился до остановки — покататься. Я влез в автобус. Меня завихрило и припечатало к стенке. Я был еще нерасторопен, не привык к давке и ругани, поэтому меня всегда прижимали и отпихивали в самые неудобные места. Я стеснялся и терпел.

Ко мне притиснуло женщину, и когда автобус дергалось, я чувствовал ее тело и старался податься назад, но там была чья-то неуютная, твердая спина. Волосы женщины щекопали мой лоб. Я видел нежную мочку уха с перламутровой серьгой в форме месяца. И волосы. Белые волосы — как вода на солнце. Это — она! Вот и снова встретились. Так просто встретились. Этот большой город сегодня добр ко мне.

Я резко подался назад, сломал неуютную спину и ленько потянул ее за рукав. Она подвинулась, оправила

шарф у горла и взяла в руку нотную папку, которую до того прижимала к груди. Я рассматривал ее пристально. В этом лице была беззащитная тонкость. Живое и нервное лицо. Я прокашлялся и сказал:

— Здравствуйте, Надя.

Она подалась ко мне и рассеянно поморгала.

— Здравствуйте. И где же мы встречались?

— В общекитии, помните? Там, кажется, ваша подружка живет, Роза?

— Ах, да, верно! Вы ведь у Владлена остановились, так? — она попробовала улыбнуться, и не смогла почему-то. В ее глазах, вихрясь, побежали отблески близких окон.

— Площадь Ермака. Мне выходить, а вам?

— И мне тоже, — сказал я.

Мы вышли.

На тротуаре она подала мне свою тонкую руку в перчатке:

— Вот теперь здравствуйте, — она раскачивала нотную папку за шнурок. На ней было короткое пальто и клетчатая юбка, которая по тогдашней моде узила к низу и облегла колени.

Она кивнула и пошла через площадь. Я боялся отстать, потерять ее в толпе и подумал вдруг, что это только начало, что так с этого самого дня будет всегда: мне все догонять и догонять ее, искать и не находить. Она глазами требовала, чтобы я не молчал. Мы оба понимали, о чем я должен был говорить, но я молчал против воли. Она спросила, наконец:

— Как дела у Владлена?

Ответ был готов давно:

— И вздохнуть ему некогда — экзамены.

— На него не похоже, ему все так легко дается!

...Солнце местами проплавило тучи, и на площадь Ермака косо падали дымные столбы. День запоздало обновлялся, к вечеру посвежело.

Мы перебежали улицу. Надя прислонилась к столбу, как



тогда, уже давным-давно, она увидела свою тень на тротуаре и поправила волосы.

Окна ресторана рябили, как смятая фольга. Вдоль дома были уставлены лотки с фруктами. Я заметил: тоненькая девчонка взяла из плетеной корзины гроздь винограда, подняла высоко, и по ее белому платью скользнуло фиолетовое пятно — гроздь просвечивала насквозь, и в ней теплится огонь. Девчонка засмеялась чему-то и бросила виноград на весы. Толстощекая продавщица тоже засмеялась и покатила в ладони гирьку. Поодаль, тоже привалясь к столбу, усатый и дюжий мужик, по виду мясник из магазина или ломовой извозчик, ел арбуз и сплевывал семечки под ноги, семечки подпрыгивали и рассыпались далеко, как вспугнутые воробьи.

За мячиком, растопырив руки, бежал к нам толстый малыш в жокейской шапочке. Надя пнула ему мячик и пригрозила пальцем: нельзя здесь бегать, во дворе надо бегать!

Я справился с робостью и сказал:

— Приезжайте к нам.

— Зачем? — она подняла брови и наклонилась ко мне, темно-голубые глаза ее были совсем близко, она хотела угадать, зачем я сказал так и мои ли эти слова, но, видимо, ничего не поняла и спросила еще раз:

— Зачем?

— У нас тихо. И воздух здоровый.

Глупость, конечно, я сморозил, но другого ничего как-то не придумалось.

Сзади шаркнула колесами о кромку тротуара и остановилась в нескольких шагах от нас зеленая «победа».

Надя сощурилась и притопнула туфлей:

— А мне сегодня повезет, обратите внимание на номер этой машины.

— МИ-78-22. Ну и что?

— Сто в сумме. Счастливым номер.

— Мне, значит, тоже повезет?

Она кивнула и повернулась было идти, но вдруг крепко взяла меня за плечо и, краснея, сказала:

— Передайте ему: я жду, скучаю и... не сержусь уже. Устала я сердиться.

Я кивнул: передам обязательно.

— Заглядывайте при случае — подъезд сразу за углом, — она показала на ресторан, — квартира двенадцать «А», — и уже издали помахала снятой перчаткой.

— Так передадите?

— Передам. Обязательно.

Я пнул мячик, за которым опять бежал толстый мальчик. Мяч ударился в окно ресторана и прыгнул за фруктовые лотки. Там заклохтели продавщицы, усатый мужик перестал есть арбуз и уставился на меня, как сова на божий день. Рот у него был мокрый и красный. Толстый мальчик прижал кулаки к носу и заплакал.

Я медленно пошел в сторону центра, мне было все равно куда идти, но впереди была полоска чистого неба, а голубое небо — всегда праздник.

По улице Мира ровно и бесконечно скользили машины, но ни одной не попадалось со счастливым номером. И вообще, счастлив я сегодня или нет? Я не знал этого, я шел и шел, и мне надо было шагать до самой синей полоски, что лентой опоясывала небо по горизонту.

Домой я вернулся уже в сумерки. Двор наш был пуст, лишь на титковской скамейке неподвижно сидел Леша Волгин. Под мышкой у него была толстая книга, и руки он держал в карманах пальто. Он кивнул мне рассеянно и долго глядел в небо, на желтую луну, которая то взбиралась высоко по щербатым краям туч, то падала и легко бежала дальше.

На траве у наших ног подрагивало зеленое пятно от абажура на втором этаже.

— Я зачислен, Алексей Иванович. Прошел конкурс!.

— На,— он не вытащил руку из кармана, ему мешала книга под мышкой, и подставил мне локоть.— Поздравляю, брат. Это хорошо, это ладно,— локоть его был тонкий и острый, как у ребенка.— А я тебя поджидаю.

— Зачем?

Он не ответил.

Я слушал шорох ветра в кустах, скрип форточки, далекий лай собаки, и мне явственно казалось, что все это когда-то уже было в моей жизни, до последней черточки было: и луна, и злые быстрые тучи, и лай собаки, и тугой ветер в кустах... Я чувствовал, что Леше тяжело сегодня. Я на него не смотрел, но догадывался, что он сейчас улыбается своей медленной улыбкой и лоб его в морщинах.

— Идем, проводишь,— сказал он.

— Ненадолго домой заскочу только, порадую Анастасию Федоровну, надо ведь.

— Давай. Я постою у почты.

Я бросил папиросу, она, разбрызгивая искры, покати-лась, огонь ее таял, шурился и погас.

Леша стоял в светлом кругу фонаря возле почты и не обратил на меня внимания — думал о чем-то. Я остано-вился неподалеку в тени забора, я не хотел отнимать у него одиночества, в котором у каждого моментами бывает нужда.

Здесь, на живом месте, в этот час было пусто. На той стороне улицы стучали по брусчатке каблучки.

Доски забора были серы, шершавы и пахли грибами, рябина над головой, усыпанная жестяными блестками фо-наря, качалась и шелестела.

Леша поднял воротник пальто и поводил плечами. От-чего он не одевается потеплей, коли боится сырости? Я впервые и уж как-то очень по-домашнему пожалел его. Я, конечно, догадывался, что у него нет душевной привя-

занности ко мне, просто ему иногда бывает тошно у Кулагиных. С Владленом он возится из чувства долга, Анастасии Федоровне не уступает и пяди по убеждениям, а на меня смотрит как на совсем зеленого парнишку, у которого поровну шансов стать хорошим, плохим или вообще никаким. Я же привязывался к нему все больше и больше. Отношения наши, несмотря на разницу лет, были внешне простыми, но я-то понимал, что при случае и за серьезную провинность могу схлопотать от него оглушительную затрещину, он может спросить с меня сурово, как никто другой, и самое главное — имеет право спросить. Откуда у него такое право, я бы тогда не смог ответить, но что оно ему дано — верил безотчетно. Я и сейчас благодарю судьбу за него, низко кланяюсь обстоятельству, которые свели нас тогда в сером доме на городской окраине...

Леша очнулся, позвал рукой, и мы направились к трамвайному кольцу. Леша не вынимал рук из карманов, по его худому лицу скользили тени.

— Зачем ты с Владленом возишься? — спросил я.

Он сбавил шаг, но не поднял головы.

— Ты нищих жалеешь?

Нищих? У нас в селе не побираются, некому побираться. В базарные дни, правда, из района приезжает слепец с гармошкой — инвалид — и поет про разлуки, измены и сиротскую долю. Бабы плачут и роняют в кружку, притороченную к гармошке проволокой, кто рубли, кто мелочь. Я жалел нищего, конечно.

— Вот и я жалею. Даже запойных. Другой скажет: «Работай, да в рюмку меньше заглядывай», а я деньги даю: ведь прежде чем просить Христа ради копейку или хлебушка корочку, человек где-то душу по кускам терял, мучился. У каждого боль своя и разная, и не всякий — герой. А когда же человек стал совсем полным внутри, когда унижение — промысел, мы потеряли человека насовсем. И виноваты.

— Чем же виноваты?

— А вот тем и виноваты, что не все мы справедливы. Обидеть — легче легкого, поддержать — сложнее. Впрочем поддержать.

— Владлен же не нищий?

— Ну, про нищих я это фигурально, что ли... Для ясности. Хотя как тебе это сказать... Он, положим, три раза в день кушает, вкусно кушает и коньяк пьет, а тоже — полный внутри.

— Ты его спасти хочешь?

— Я не пожарный и не скорая помощь. Хочу, чтобы он жизнь понял...

В переулке, где мы шли, пахло кошками и прелой картофельной шелухой. Впереди был рынок, за ним, через дорогу и левее — ворота парка и трамвайное кольцо. На кольце стоял трамвай, выветренный насквозь и веселый. Масляно поблескивало озеро, над ним свивался куделями и закипал туман. Купола церкви под фарами машин окутывались голубовато-зеленой дымкой и подрагивали.

Мы сели на скамейку. Позади была трамвайная диспетчерская — белый глазастый домик — слева теперь было озеро. Там плескалась вода о причал и сходились бортами лодки, привязанные цепями.

Леша кутался в пальто — все никак не мог согреться.

Вдруг стало тихо, так тихо, что из далекой дали, из черной глубины парка, докатилась до нас музыка — вальс «Дунайские волны». В лицо мне толкнулось что-то мягкое, теплое, и все кругом сделалось серым, как папиросная бумага, и зажглись, заиграли радуги — большие и малые. Радуги лохматыми калачами скатывались с фонарей, висели лентами на вызолоченных проводах, рассыпались над рельсами. Радугу можно было потрогать — она стояла между нами поперек скамьи, и в ней трепетала стеклянная пыль, а в каждой пылинке было свое солнце.

— Глянь, что делается! — шепнул Леша. — Глянь, Федька! И не шелохнись — испугнешь, окаянный!

Я не шевелился и не дышал, оцепенев, но чудо тут же пропало, остался туман, вязкий и глухой. Он ложился на землю и белил траву. Сразу потеплело.

— Мы с тобой, Федька, счастливые!— громко сказал Леша и ударил меня по колену,— счастливые ведь?

— Второй раз за день слышу и не чувствую.

— Ну, и напрасно. Это диво для нас назначено, больше никто его не видел, и концы в воду! Я счастливый. Мало мне отмерено, а жить страсть как надо!

Я ловил туман мокрыми ладонями и тоже, наверное, был счастлив.

На кольце скрежетал трамвай. Я дождался, когда он остановится, провел по щекам руками, это было приятно, и спросил:

— Чего это про смерть заговорил?

— Она здесь, я ее при себе ношу, как шанцевый инструмент,— Леша ткнул пальцем в грудь и покашлял,— в легком осколке.

Леша не повернулся ко мне, его голова была седая от водяной пыли, и суворовский хохолок сник, разгладился.

Я до конца так и не поверил ему, только разве понял, что он не шутит. Я не поверил, может быть, еще и оттого, что про смерть поминалось вот так буднично. Если знаешь наперед, когда придет твой срок, нельзя жить, как живут все, и смеяться, как смеются другие. А он жил и смеялся, как все.

— Блажишь ты, Леша.

— Я уже не помню себя здоровым, я инвалид второй группы, Федька. Под Варшавой сделали меня инвалидом в чине подполковника бронетанковых войск, двадцати восьми лет от роду списали подчистую и сняли с воинского учета. Мне, представь, нравилось воевать, удалой был — дальше некуда.

— Вылечат тебя, Леша, нынче врачи до всего дошли.

— Надеюсь...

Я не утешал, да он и не нуждался в моих утешениях, он

и не за сочувствием обращался — говорил вслух, для себя. Была у него такая привычка.

Чужая смерть всегда естественна и понятна, своя же — несбыточно далеко. Мне верилось тогда, что я вечен, но с того самого вечера я рядом с Лешей стыдился своего здоровья и нерастрченных сил. Я стоял тогда у начала дорог, и дорогам не было конца.

Туман раскачало, и город снова наплыл на нас во всей четкости: тихо стояли деревья, шоссе отдавало глубоким нефтяным блеском, трава на берегу озера помолодела.

Леша прикуривал, ломая спички, и стучал ботинками в такт оркестра в парке. Я насмелился задать ему вопрос:

— У тебя была любовь? Когда-нибудь была?

— Я женат, Федька.

— Это одно и тоже: жена и любовь?

Он вздохнул и дотронулся до моих волос рукой, горячей и легкой, но сразу убрал ее.

— Не всегда.

— А у тебя?

— Живем мы отдельно. За сына опасаюсь: у меня — чахотка.

— Сын большой?

— Во второй класс ходит, — Леша отвалился на спинку скамьи и заложил под затылок ладони.

Я не спрашивал — не смел больше, но он заговорил, и не для меня, снова для себя, вслух.

— Была любовь, Федька, короткая, как и многое на войне. Стояли мы в польской деревушке под Варшавой три дня, и три дня была любовь. Спали мы с ней на сеновале, под звездами, вот так же, провожала она меня далеко и долго, а когда я был уже в машине, бежала следом и тянула руки: возьми с собой! Я верил, что вернусь и сохраню себя для нее. Я не сохранил, Федька! Год по госпиталям валялся, но ничего не забыл, Федька, — ни дня, ни часа. Она мне платок подарила. Я говорил: «Не надо, это к разлуке по нашему-то поверью!» Но не было у нее

за душой ничего, кроме этого платка расписного. В нагрудном кармане носил его. В госпитале, под Калугой вроде, да и неважно где, один майор скончался, так я просил лицо ему этим платком закрыть. «Зачем?» — люди спрашивают, а я на своем стою: «Закройте, он друг мне был, уважьте!». Я, Федька, те три дня хоронил — вместе с хорошим человеком, я ведь знал, что уже не вернусь в Польшу и не буду искать ее — кому я нужен такой недужный-то! Она ждала, конечно, такие ждут всю жизнь. Вот и любовь тебе. Ты про любовь хотел? — он все смотрел в небо, и лицо его было суше и острее, чем обычно. — А звезды там совсем другие, Федька, — сказал он еще, — и звезды помню. Вот закрою глаза и звезды вижу, представляешь? Но сильнее всего помню, как провожала и плакала — знала, наверное, что не свидимся мы уже, что разные наши тропки и разбежались врозь. Чувствовала.

У меня было сухо в горле, и папироса, которую я курил, была горькой. Я бросил папиросу и затоптал огонь ногой.

— А после, Леша?

Он не вытащил рук из-под затылка, острый локоть его касался моего плеча.

— Закурить дай, мои кончились. После? Опять госпиталь, в Ростове уже. Шустрая одна сестричка говорит: «Вы, Алексей Иванович, не такой, как другие-прочие, не кобель, извините, вы душевный». Я возьми да и пошути: «Выходи тогда замуж за меня». Она, представь, по-серьезному: «Я подумаю, Алексей Иванович». Подумала и заявляет однажды, а мне уже выписываться, между прочим. И заявляет: «Согласная». Я тут, конечно, в отступ: «Душа у меня ничего себе, девочка. Это ты верно. Нераненная у меня одна душа, почитай, и осталась, нет в ней дыр и осколков, но что для семейной-то жизни одна душа в чистом виде? Мало. Ничего. И знаешь, говорю, девочка, у шибко душевных людей век короткий бывает. И мы, значит, по всем статьям не пара с тобой. Шучу опять. «Я вас, Алексей Иванович, за язык не тянула, сами напросились! Я и домой



написала — с мужем еду, в какое же положение вы меня ставите? Я самостоятельная. Я от вас не отступлюсь!» И настояла ведь, привезла меня сюда!— Леша согнулся, упер локти в колени, и я уже не видел его лица. Он не склонен был продолжать этот разговор и добавил только:— Не осуждай меня, Федор, я сына хотел.

— Да полно тебе!

— Засиделись мы тут с тобой, а завтра раным-рано подниматься. Да, вот еще что. Ведь специально тебя дождался. Возьми-ка, — он вытащил из внутреннего кармана пиджака и сунул мне не глядя твердую бумагу, сложенную вчетверо. Я развернул ее, вышел поближе к свету и, наверно, так и не успел закрыть рот, потому что Леша с нехорошим смешком сказал из сумерек:

— Остерегись, воробышко залетит!

Это была та самая справка, которую Анастасия Федорвна приносила в университет и в которой было написано, что я имею право быть зачисленным вне конкурса, поскольку жил в последнее время на иждивении сотрудников системы Дальстроя, то есть Кулагиных.

— Краснеешь?— спросил Леша с веселой злобой, — не разучился краснеть-то еще, Федька? Иди, сядь.

Я пошел к нему и сел на самый краешек скамейки.

— Ближе садись, не укушу. Краснеешь? А то не видеть — темно.

— Краснею, Алексей Иванович.

Я увидел опять сутулую спину Митьки Седых, отец которого больно дерется костылем. Митька ушел и не подозревает о том, что у одного человека, а человек этот я, оставил след в памяти. Как, оказывается, непросто быть честным до конца и как легко успокоить свою совесть! Никогда не подозревал, что и я могу сравнительно спокойно жить за счет ближнего. Стоит, значит, начать, а привыкнуть можно и к этому.

— Домой поеду!— сказал я, — в кузню поступлю работать!

— Почему не спрашиваешь, как эта филькина грамота попала ко мне? Ты же любишь спрашивать?

— Не все ли равно.

— Зашел я на факультет поинтересоваться, как твои дела идут, по пути, между прочим, было. Ну, а председатель комиссии — дружок мой давний, из фронтовиков тоже. Неожиданная встреча, представь. Он тебя, кстати, за письменную работу хвалил — ярко, говорит, написано, давно, говорит, таких работ не было.

— Мне уезжать, Алексей Иванович?

Он помолчал и тряхнул головой:

— Уезжать, пожалуй, не стоит — за двоих учись: за себя и за другого. Или за другую. И сматывайся ты от Кулагиных к чертовой бабушке! Угол, что ли, сними где. Родители-то помогут?

— Помогут.

— Ну, прощай, — он, не оглядываясь, пошел к трамвайной остановке.

Я еще держал в руке справку. Бумага неприятно липла к пальцам.

— Порви! — крикнул Леша, — порви и брось!  
Я порвал и бросил.

15

Город брал меня без остатка, и противиться его жадной силе не имело смысла. Я, правда, еще надеялся, что ни людская обыкновенная боль, ни скучные заботы этой жизни не коснутся меня, что на мою долю выпадут лишь удовольствия: я верил, что сумею поставить себя иначе, чем все другие: мы ведь по молодости удивительно самонадеянны.

Я и тогда все-таки думал кое о чем и не решался задать Леше Волгину несколько вопросов. Я хотел знать, например, как, впрочем, и многие другие, почему он возится

с Владленом Кулагиным и почему, качав возиться, ни во что не вмешивается — терпит одинаково и мать, и сына? Я хотел знать, как он в конце концов относится к Анастасии Федоровне, потому что я сам не мог разгадать, что она за человек — хороший или плохой? И меня смущала отчужденность Леша. Он неплохо относился ко мне, но и только. С моей стороны вовсе не было попытки стать с ним на равные — он был старше, к нему тянулись многие, с кем он встречался даже мимоходом. Я чувствовал, что должен переступить какую-то незримую, но важную грань и только тогда получу право на полную взаимность, стану частью его мира и забот. Что же ему не нравится во мне?

Я по-прежнему провожал Лешу до парка, а, случалось, и дальше: мы иногда ехали до центра или до площади Ермака, куда меня всегда тянуло.

Я примерился к его походке. Он ходил легко, ссутуленный, с руками за спиной, в сером пальто и серой же кепке с длиннющим нелепым козырьком, сломанным ровно посередине, будто крыша. В свободное время он был лукавым бродягой и не упускал случая перекинуться словом с кем угодно и о чем угодно.

В воротах рынка Лешу неизменно поджидал патлатый актер из бывших, от которого пахло кислым, как от опары, чтобы сшибить денег на опохмелку. Этот пройца был полон достоинства, будто отпрыск знатного, но угасающего рода, и он не брал деньги, не кланчил, а одалживал до лучших времен, когда, даст бог, прославится и разбогатеет пьесами, которые пишет в свободное от пьянок время. Актер нес себя в сторону кабака гусиным шагом и очень осмотрительно. Леша смотрел ему в спину, качал головой и улыбался: каков, а!

Мы пересекали рыночную площадь, замусоренную арбузными корками, и направлялись к сапожнику Василию — колченогому молодому мужчине — слушать выкладки о танковых операциях на Курской дуге. Василий сидел спиной к забору на низком стульчике под фанерным навесом и

под зеленой вывеской «Моментальный ремонт обуви». Работал он лихорадочно, урывками и больше волновался насчет пагубной политики империалистических держав и был невежлив с клиентами, когда они жаловались на никудышнее качество и дороговизну моментального ремонта обуви. Василий ехидно сощуривал свои бездонные цыганские глаза с ресницами, как у кинозвезды, и спрашивал у обнаглевшего клиента, растягивая слова: «А ты кожу покупаешь? Не покупаешь, зато пасть раззявил шире рваной калоши. Кожа дорожает, скот-то весь побили, война!» О Курской дуге сапожник рассуждал со вкусом и рисовал сточенным ножичком на куске шевра схемы стратегических и тактических замыслов командования обеих сторон. Леша присаживался перед его стульчиком на корточках, раскрывал пальто, молча слушал, молча поднимался, когда тема все-таки исчерпывалась, и уходил, не прощаясь. Опять качал головой: каков, а! Дело в том, что сапожник Василий, калека от рождения, не был на фронте, а говорил тем не менее занятные вещи.

Леша помогал золотушному парню в кожане заводить старенький мотоцикл «Хорлей Давидсон», и парень вынул однажды из багажника коляски чучело филина весом на добрый пуд и всучил его нам. Выяснилось, что хозяин дряхлого «Хорлея» набивает чучела для музеев в раздел «Флора и фауна родного края». Он рекомендовал поставить дома птицу на видное место: любого, дескать, зайкой сделает — глаза у нее в темноте горят жутким образом.

Мы принесли это страшилище в пивную и уговорили Сонечку поставить его на буфет, мрачный, как фасад тюрьмы; завсегда так и не могли примириться с этой суровой птицей. Однако филин простоял на буфете несколько лет, потом он полысел и стал смахивать на желчного вдовца, и его пребывание на буфете было уже окончательно несовместимо с общим направлением этой точки общепита.

...Леша сердился редко, и в каждом конфликте умел видеть прежде всего его смешную сторону.

Помню, ехали мы в троллейбусе, и кондукторша, видать, из новеньких и не в меру ретивых, уныло третировала паренька, который терся на площадке:

— Плати за багаж, не то остановлю вагон и высажу. Думаешь, не высажу? Думаешь, слабо?

Парнишка был явно деревенский, придавленный сутолой, и чемодан его был деревенский — горбатый, с всяким замком и ядовито-зеленый.

Сторону кондукторши взял железнодорожник, кадыкастый, с испитым лицом. Он заявил, что закон есть закон и платить надо. А нет денег — ступай себе пешком. Сторону же замордованного парнишки приняла интеллигентная старушка в пенсне и с благородной сединой. Она взывала к гуманности.

Леша стоя читал газету, терпел долго, но терпение его лопнуло, и он спросил кондукторшу:

— Какого размера багаж должен оплачиваться?

— Если чемодан, то метр в длину и полметра в высоту.

Леша вынул из кармана логарифмическую линейку, измерил чемодан паренька, который уже плакал, не стесняясь, и объявил громко, чтобы слышали все.

— Восемьдесят девять на сорок пять. Нестандарт.— И снова уткнулся в газету.

Наступила неловкая тишина. Железнодорожник закашлялся и, не поднимая глаз, вышел на следующей остановке. Старушка же высказалась в том духе, что рано или поздно справедливость торжествует.

Мир был восстановлен.

Поступки Волгина не отличались логикой: он мог, например, поехать с тощим стариком в район вокзала смотреть коллекцию портсигаров, мог часами, дотемна, строгать для пацанов кораблики, пускать их в озеро и серьезно обижался, когда флотилию вылавливали с лодок отдыхающие. Он по крайней мере раз в неделю ходил в музей развития Сибири за трамвайным кольцом, катался по вощеному паркету в казенных войлочных туфлях по залам и

задавал экскурсоводам вопросы, на которые они не могли ответить, он исследовал переулки и тупички старых купеческих улиц, задерживался у похилившихся особняков и гадал, кто же в них жил когда-то и как жил: благополучно или ведал одно лихо? Он боготворил чудаков, у него была масса знакомых. Я не берусь охватить разом этот живой и веселый люд, которым он так легко и естественно окружал себя. И всякого навеличивал, со всяким при встречах, случайных или намеренных, начинал разговор с того места, где он был прерван вчера или в прошлом году. Именно с его помощью и незаметно во мне проросло и навсегда закрепилось великое любопытство к людям, это с его легкой руки я проникся неисчерпаемой поэзией улицы и толпы. Только вот память у меня не та, ну да мне вовсе и не нужно закрывать глаза, чтобы увидеть воочию осень 1950 года — то время живет и дышит во мне и, думаю, будет дышать, пока я жив.

У Леши я был всего раз вскоре после нашего знакомства: я как-то вызвался съездить к нему за конспектами для Владлена.

Лешу, по-моему, всегда угнетала болезнь и он не любил обременять людей, поэтому с первого курса снимал угол где-то на окраине. Позже он наверняка мог пристроиться где и получше, но сказалась привычка к месту, да и, пожалуй, к хозяйке, которая радушно принимала его семью — жену и сына, а они часто наезжали из пригорода.

Осанистый дом в два этажа стоял в конце улицы. Был он тяжел и еще крепок. Дверь в подъезд открывалась туго и с разбойным посвистом. Знатная это была дверь — широкая как ворота амбара, с полуметровой ручкой и резными львами вверху. Поместительная гулкая площадка, лестница под мрамор и коридоры, переходы, закутки. Бесконечные коммунальные коридоры, пропахшие кошками, щами, пеленками, мокрым бельем и карболкой.

Я брел за Лешей с вытянутой рукой, как слепец, спотыкался, звал его, а он посмеивался впереди и громко рас-

сказывал, что до самой революции в этом доме останавливались купцы и заводчики. На первом этаже была ресторация, на втором — «нумера».

Я ударился лбом о днище жестяной ванны, подвешенной к стене, и ванна загудела, как сердитый бык в стаде, я шатнулся назад, наступил в таз с теплой водой. Леша нашел мою руку и повел меня дальше. Я услышал легкий перезвон ключей и щелчок замка.

Комната, где он снимал угол, была узка и в одно окно. Слева стояла кровать с желтыми шарами на спинках, с пуховой периной и горой подушек. На этой богатой перине, я догадался, спала хозяйка из стародавних мещан, у другой стены, под окном, была вторая кровать, застеленная простеньким одеялом. Столик, несколько стульев, тумбочка с книгами. Вот и все.

Мы поговорили о том, о сем минут с пяток. Леша пожаловался на ребяташек, которые выворачивают лампочки в коридоре, я посочувствовал ему: тесно жить в этой комнате, да еще бок о бок с чужим человеком. Он неопределенно улыбнулся и пожал плечами, завернул газетой две тетрадки, проводил меня до остановки, посоветовал, каким транспортом быстрее и короче добраться до дому, и мы расстались. Он не пригласил забегать как-нибудь запросто. А с какой стати, собственно? Но я очень бы хотел, чтобы он пригласил меня.

16

Владлен в своей комнате листал конспекты, Леша Волгин и Семен сидели за столиком в палисаднике и спорили. Они, как я заметил, нормально и не разговаривают — все спорят.

Я раскрыл настежь окно в горнице, навалился животом на подоконник и высунулся поглазеть на белый свет.

Ничего такого интересного я не увидел. На этой сторо-

не двора было пусто, даже старик Титков не пришел на сельскохозяйственные работы со своей рыжей лейкой, у школы тоже пусто, и ветерок раскачивает на кране лохматые тали.

Я давно уже наблюдал за петухом. Петух первостатейный, нагульной деревенской выправки, он невесть откуда появляется в нашем дворе и невесть куда пропадает.

Сейчас петух стоял на крышке погребца, пресыщенно моргал и поднимал по переменке ноги с шикарными шпорами, гарем его хлопотал ниже, у кучи трухлявой щепы. От песочницы, из-за угла, к гарему походкой пьяного матроса двигался корнеевский гусак, уже издали вытягивал шею и нехорошо сипел. Он подшлепал ближе, раскидал кур и скучно щипнул травку под забором.

Я перехватил взгляд Леши — он тоже наблюдал картину и пихал Семена локтем: обрати, дескать, внимание!

А петух подобрался, напряжился весь, взял разбег и сходу угодил клювом в гузку корнеевскому гусаку. Тот повалился грудью на щепу и закричал, как мужик под доброй кладью, петух же моментом забрался на него и заколотил по башке. Гусак трубно закричал — так кричит баржа, севшая на мель, или пароход в тумане. Петух проехался на гусаке метров двадцать, слез, похлопал крыльями, величавой поступью воротился на крышу погребца и застыл в прежней позе.

Леша смеялся до изнеможения и привычным уже для меня жестом, согнутым пальцем, убирал слезы от глаз.

— Знай наших! Раз-два, и концы в воду! Гусак-то вон какой ядреный, а убежал поруганный. Быстрота и натиск! — и снова убирал слезы. Смеяться он умел вкусно. — Молодец, петя! Ты согласен со мной?

Я был с ним согласен.

У Семена же и губы не дрогнули, рот у него глиной замазан, что ли? Он возил по столику кулаком и ненастно хмурился.



Семен появлялся у нас почти ежедневно, а то и дважды на день — приезжал на своем такси, обходил квартиру Кулагиных, как судебный исполнитель при описи имущества, конфискованного за растрату, и уводил Лешу в палисадник спорить. Ни «здравствуй», ни «прощай». На Владлена он не мог смотреть спокойно — отворачивался, Анастасию Федоровну вообще не брал во внимание, будто ее и нет вовсе.

Сидели они с Лешей на скамейке часами, рисовали что-то в тетрадке, вырывали друг у друга карандаш, но когда Леша начинал сердиться по-настоящему, Семен поднимался, одергивал гимнастерку, надевал кепочку-восьмиклинку и безропотно уходил. Он боготворил Волгина и был категорически против того, чтобы тот растрачивал силы на какого-то великовозрастного болвана.

Семен воевал вместе с Лешей и под его началом в чине младшего лейтенанта бронетанковых войск, вслед за ним поступил в автодорожный институт, хотя с детства увлекался авиацией, следом приехал в Энск из Тбилиси, куда попал с фронта, можно сказать, случайно. Там оставил молодую жену. Кстати, и женился он не совсем обычно: на войне вынес из-под огня раненого полковника по фамилии Чикваидзе. Они побратались, грузин клялся отвезти Семена на родину и женить на своей дочери. Семен про дочь ни слова не принял всерьез (чего такие клятвы стоят!), зато с удовольствием поехал в Тбилиси пить вино из рога, есть шашлык и слушать тосты белобородых дедов, а вышло так, что однажды стал мужем. Свадьбу он помнил смутно. Впрочем, все кончилось ладом — молодые жили в согласии, пока Семен не сбежал в Энск. В год не один раз жена прилетает к нему из Грузии, инспектирует и водит по театрам, до которых он не великий охотник.

Институтские ребята дали Семену меткое прозвище — Пара Гнедых за неодолимую страсть после выпивки петь «Пара гнедых, запряженных зарею» и рвать струны на гитарах: слуха у него никакого, а лапа — дай бог — ударит

пятерней в азарте — и выбрасывай инструмент. Все гитары в общежитии извел.

Я последние дни не слезал с оттоманки — читал «Монте-Кристо». Анастасия Федоровна сначала ставила меня в пример Владлену за домовитость и тихий нрав, но в последнее время все щупала мой лоб и разглядывала язык, который по ее просьбе я вываливал изо рта. Она забеспокоилась вдруг о моем здоровье. А лечить она тоже умела, потому что после рабфака закончила семестр медицинского института. Анастасия Федоровна советовала мне больше гулять и выделяла деньги на кино — на два билета, и, подумав, добавляла еще мелочи на две порции мороженого (это на случай, если я приглашу девушку). Владлен на такие мероприятия рвал у нее из горла сотни, ну а я мальчик неиспорченный и на крайность-то мороженым утешу свою симпатию.

Анастасия Федоровна пеклась о моем здоровье неспроста: она не могла допустить, чтобы я еще и видел, как падает ее престиж. Она ходила теперь с подобранными губами, будто в доме лежал покойник.

Деньги я тратил на пиво и быстро возвращался, потому что жить у Кулагиных стало интересно, потому что там был Леша Волгин.

В первый же день, когда Леша появился у нас, в квартиру нагрянули горластые студенты, человек пять, жаловаться на какого-то Попелянского, который запер спортзал по той причине, что идет сессия и дурака валять в данный ответственный момент нечего. При чем здесь сессия, кричали студенты, если они баскетболисты, если им скоро выступать на первенство города и так далее. Леша сказал, что он теперь не секретарь, только член бюро и приказывать не имеет права, но позвонил все-таки этому самому Попелянскому, велел открывать зал на два часа, не больше, и вытолкнул компанию за дверь. Студенты затоптали коврик в прихожей, непонятно для чего вытащили доску из полковничьего забора, подобрали чье-то ведро во дворе и пе-

рекидывали его из рук в руки до самой остановки. До остановки же трусила за ними старшая по дому Корнеиха, честила студентов на чем свет стоит и вернулась с помятым ведром.

На второе утро Леша привел на квартиру тощего старика в пенсне. У старика вроде не было лица — был только нос, полный неземного величия. Нос презирал и уничтожал, с таким носом не шутят. Я это сообразил быстро, и непонятная сила сдернула меня с оттоманки — я сел, вытянулся и благостно сложил на коленях руки.

Леша обращался с гостем, как с хрупкой и дорогой вещью, за поломку которой строго спросится. Он принял от старика габардиновый макинтош, тяжелые калоши с языками на пятках, отнес в прихожую и ровнехонько, носок к носку, выстроил у порога. Старик бросил на стол красную сафьяновую папку, сел к пианино на круглый стульчик, вынул из жилетного кармана часы-луковицу, нос его сделал полный оборот и остановился на мне. Я вспотел моментом, как под дулом пистолета.

— Этот?

Я был уже на ногах, я даже, по-моему, сказал «На надо!».

— Не этот, — ответил Леша и позвал Владлена.

Владлен вышел в пижаме, живот наружу, вокруг пупка немощные волосы, губы распущены, вид соловельный. Вечером он опять гремел посудой на кухне — искал коньяк. И, похоже, нашел. А в пустую бутылку налил крепкого чая.

— Вот этот, профессор.

Владлен захватил в кулак пижаму на животе и загордился дверью.

Я поднял с пола «Монте-Кристо».

— Вы его не предупредили?

— Не успел, профессор. Вы же отказывались.

— Временем не дорожите, молодой человек. Для меня время уже не деньги, нет, — старик махнул узкой и замытой, как у доктора, рукой, — для меня время — дело: не

так уж в сущности и долго жить осталось. Вы мне симпатичны, и беседа наша по пути сюда была весьма содержательной. Иногда ведь думаешь, что только ты умный. Как это англичане выражаются? «Всякий доволен своим умом, но всякий недоволен своим состоянием». Наши точки зрения диаметрально противоположны, но ваши аргументы, признаюсь, весомы. Почему я отказываюсь слушать так называемых самородков? Он орет, благим матом, самородок, от избытка сил, потому что здоров здоровьем земли, а мне говорят — «он поет». Я уже утверждаю — орет и орать будет до скончания века своего. Так, где же э... самородок?

Владлен умылся, надел белую сорочку, брюки, и присел рядом со мной. Его тоже смущал этот великолепный нос.

Из кухни пришла Анастасия Федоровна и поздоровалась со всеми. Старик кивнул ей, открыл пианино, пробежал сухими пальцами по клавишам.

— Инструмент приличный, — сказал он, — в моем распоряжении четверть часа, — что петь будем?

— Это профессор музыки Владислав Христофорович Иноземцев, он по классу вокала в консерватории. Правильно я вас отрекомендовал? — Леша заложил руки за спину и вежливо нагнулся к старику, — и я просил Владислава Христофоровича приехать сюда и послушать. Вы не возражаете, Анастасия Федоровна?

Анастасия Федоровна мяла полотенце и бледнела. Кто ее спрашивал и кто с ней советовался? Она промолчала.

— Он просил! — восторженно воскликнул профессор, — он пытался заставить меня через партийный э... комитет, но все равно он симпатичен мне, этот товарищ. Так что будем петь?

Владлен подсеменил к пианино, кашлянул в кулак и сказал сладким голосом:

— Неаполитанскую песню «Нет больше счастья», если можно?

— Отчего ж...

Аккорды хлынули густо, сильно, и сразу мощь их упала, мелодия легла в русло, потекла шелковистой гладью без

поворотов — все прямо, все тише, а на перекатах заструилась, прозрачно названивая.

Леша, пятясь, прислонился к печке и не расцепил рук за спиной. Анастасия Федоровна прижала к щеке уголок полотенца.

Владлен хватил воздух округлым ртом, напрягся и обмяк, еще вздохнул и запел без слов — глухо. В этой песне есть места, где поют без слов. Профессор повернулся к Владлену и потряс головой — требовал прибавить.

Анастасия Федоровна вытерла глаза: нет, Владлен не орал, каждую строку песни кончал мягко, голос его густел и ширился, креп:

...Нет большего счастья вдвоем на лагуне  
В сиянии лунном о счастье мечтать...

— Что еще? — затылок профессора был упрям, локти растопырены, — что еще?

Владлен спел знакомую уже мне арию из «Гальки», «Нищую» на слова Беранже. Он пел и не оборачивался к старику, утирая пот со лба скомканным платком и жадно забирал воздух.

Профессор, наконец, хлопнул крышкой инструмента, повернулся на стульчике, чтобы видеть Владлена, и сказал:

— Хвалить не в моих правилах, но вы э... не самородок. И позвольте спросить у вас, мадам. Вы человек, по-моему, довольно интеллигентный, отчего же ваш сын бросил заниматься вокалом? У него я об этом по некоторым соображениям не спрашиваю. Ведь начинал он заниматься, так?

Анастасия Федоровна гладила полотенце, переброшенное через плечо накрест, и смотрела мимо наших голов — в окно. Ответила она спокойно, чересчур спокойно:

— Занимался. В Магадане. Там были специалисты.

Профессор поднялся с круглого стульчика, потрогал пенсне, и тяжелые брови его прыгнули.

— Ясенько. И все-таки почему ваш сын не пошел дальше?

— Я ему условие поставила: получи диплом инженера, ну а дальше распоряжайся собой как вздумается — можешь и петь. Вы не сердитесь, не торопитесь сердиться. Мой сын, к сожалению, никогда ничего не хотел по-настоящему. Если бы он всерьез выбрал дорогу артиста, разве бы я смогла ему помешать? Это же смешно в наше время, согласитесь? Он слаб, мой сын, он не мужчина. И я не пустила его в консерваторию — пусть уж будет инженером, это при любых условиях кусок хлеба. А петь... Петь ему не дано, не тот характер, знаете. Я не права? Но сделанного не вернешь, не так ли?

От старика прянули искры, как от сухой хворостины, он споткнулся о ковер, упал грудью на стол, ухватил свою папку и медленно разогнулся. Теперь он был просто старым, некрасивым и обиженным.

Леша, шевеля желваками, оттолкнулся от печки. Профессор с этого момента обращался только к нему, говорил только для него:

— Он может даже петь, видите ли, но будучи дипломированным инженером. Скуки ради петь — для крашенных блондинок в кабаках и салонах. Типичное фарисейство. Петь — значит работать, мадам, возвышать людей, и никак иначе! Ну да разве она поймет, что у ее сына редкий тенор. Это дар, и он не может быть прописан в коммунальной квартире. Идемте отсюда, Алексей Иванович, не то нас на кухню обедать пригласят!

Владлен испуганно откатился к подоконнику, закурил там и бросил спичку на пол.

И удивительное дело: в минуту, когда мне было страшно и безысходно, когда почувствовал тяжелую вину перед этим сердитым стариком, я заметил вдруг в глазах Леши лукавую, мужицкую такую улыбку. Он смеялся, надо же!

Анастасия Федоровна уступила профессору дорогу. В коридоре старик долго возился со своими чугунными калошами и все ругался.

Владлен сказал тихо и с расстановкой:

— Мать. Я тебе этого никогда не прощу, слышишь! — и хлопнул дверью боковушки так, что вздохнули стены, у косяка щелкнули обои, отклеились и повисли полосой.

17

Ума не приложу, откуда брался этот запах, он преследовал меня в ту осень каждое утро. Тонко и тревожно пахло помидорной рассадой, которую мать холила дома в деревянных корытцах на исходе зимы, когда окна были еще в курже.

Я лежал, не открывая глаз, чувствовал сквозь веки свет и знал, что надо мной стоит Леша Волгин и боится скрипеть ботинками, не хочет меня будить, но я подгробал под спину подушку и открывал глаза. Тогда он смело проходил в угол и тасил из кармана непрочитанные в трамвае газеты.

Леша приезжал рано, когда роса на восходе была еще красная, как ягода, но скворцы уже суетились на тополях, подзолоченные солнцем.

Я не здоровался, а говорил:

— Ить помидорами пахнет, хоть тресни!

Леша шумно забирал воздух в себя и крутил головой: нет, не пахнет!

Мы каждое утро так начинаем, и нам это не наскучило.

Я вылезал через открытое окно босой, в трусах, и, скидываясь, дурной рысцой бежал в кулагинский палисадник рвать черемуху. Трава, подбеленная у корней мелкой росой, больно секла ноги.

Леша, подбоченясь, смотрел вслед мне и грозил пальцем: вернись, простудишься, блажной!

Я приносил ему в горсти холодную и мокрую черемуху, но он есть ее отказывался, он не любил черемуху. Я вытирал ноги о край ковра и натягивал штаны, а песок оставался на полу, противно хрустел под ботинками, и Ана-

107

стасия Федоровна не могла догадаться, откуда в квартире берется грязь. Я убедил ее, что песок к нам заносит ветер.

Мы с Лешей наваливались на подоконник, локоть к локтю, и следили за переменами на нашей скромной улице. Следили, как мягчают и гаснут тени и стареют дома под солнцем. И помидорной рассадой уже не пахло, неторопливо, но упорно накатывали другие запахи — нагретого железа и старых досок. Воздух густел и наполнился шумом.

Потом Леша уходил к Владлену в боковушку, и туда вскоре Анастасия Федоровна несла кофе и бутерброды.

Леша завтракать решительно отказывался, пил кофе из большой фарфоровой кружки с колосками ржи и синими лютиками, стелил на кровать плед, чтобы не пачкать покрывало, ложился, шелестел газетами или, разглядывая потолок, думал. Владлен занимался за столом, спиной к Леше, вслух читал конспекты в клеенчатых тетрадах. Так было часов до двух с перерывами. В два часа Анастасия Федоровна собирала на стол и просила откусать.

После визита профессора внешне ничего не изменилось, Леша был равнодушен ко всему, что происходило в этом доме, Анастасия Федоровна ходила павой, держалась вежливо и холодно, Владлен тоже до поры был спокоен, но за обедом однажды вдруг очнулся и заявил ни к селу, ни к городу:

— Мать у нас — большой человек, ей поручили вести кружок при домоуправлении.

Анастасия Федоровна пожала плечами: что, мол, ты этим хотел сказать?

— Мать ценят, ее всегда ценили. Что буркалы устал! — обрушился он на меня с такой страстью и так внезапно, что я уронил ложку и застеснялся, — ты читал, например, Миклуху-Маклая?

— Нет, — ответил я машинально, — читал, но мало.

— А мать читала, потому что полезно для общего раз-



вития. Она любит общее развитие, а ты время на «Монте-Кристо», убиваешь. Мать, у Миклухи-Маклая или у кого из классиков есть указания, как за столом держаться? Федька за столом не умеет себя вести. Дай соответствующий том, я ему прочитаю.

Умел этот пижон плясать на моих костях!

Анастасия Федоровна обморочно забелела и покосилась на Лешу. Она пробовала улыбаться, но какая это была улыбка — жалко смотреть! Леша гонял пальцами катышек хлеба вокруг тарелки.

Я подавился котлетой, заклохтал и согнулся, утирая слезы с обеих щек.

— Мать, он серый! — обрадовался Владлен и заерзал на стуле, — он глотать не может!

— Довольно паясничать, друг ситцевый, — урезонила его Анастасия Федоровна без особой, однако, твердости и сделала на лице выражение, с каким извиняются перед гостями за неловкую шалость ребенка. Она повернулась к Леше, — глупые это шутки, друг ситцевый.

— Мать у нас еще следователем была, — тупо вставил Владлен. Вскрывала преступления, опираясь исключительно на высокоразвитую совесть, потому что образование имела приходскую школу на двоих с подругой.

Мы долго и неловко молчали.

Анастасия Федоровна встала, качнулась назад и уронила стул. Я пригнулся к столу и зажмурился — я был уверен, что сейчас достанется мне, а может, даже и Леше.

Анастасия Федоровна комкала в руках кухонную тряпку, шумно дышала.

— Да, — сказала она тихо, почти шепотом, — да, я судила. Больше некому было судить. Но я знаю, что такое справедливость. Теперь люди меня судят. За тебя. Я несю крест и не ропщу, потому что и меня судят по совести. Я хотела гордиться тобой, а плачу ночами. Я виновата перед людьми и сознаю это. Но над чем же ты, сволочь, из-

мываешься? Над Советской властью, которая высшее образование в тебя силком вталкивает? Над солдатом Волгиным измываешься? Он в войне нас с тобой загородил, он кровью харкает и отдает последние силы свои для тебя, тащит тебя к знаниям, как жирного барчука и тунеядца. Так плюй нам в глаза, тебе ведь чуждо чувство благодарности, охвостье несчастное!

У Владлена дернулась голова, он тоже встал, обмякший и серый. Собирался сказать что-то — наверно, самое оскорбительное, чего никогда еще не говорил, но она не дала ему сказать ничего — кинула кухонную тряпку прямо ему в лицо и побежала к себе в комнату. Владлен и не успел отклониться, он захлебнулся, к носу его прилепился лавровый листочек, и я, сам того не ожидая, по-дурацки фыркнул. Я вовсе не хотел смеяться, но с детства во мне эта нелепая привычка: я смеюсь даже тогда, когда меня бьют.

Владлен посмотрел на меня глазами, тусклыми, как запыленное стекло, осел, ударился головой о стол и, не стыдясь, заплакал.

— Пойдем, Федька, на свежий воздух,— сказал Леша и бросил в пустую тарелку хлебный катышок,— пойдем.

18

Было ясно и ветрено; как бабочки, мельтешили и падали листья, облака были редки и стелились низко.

— Федюня!

Никого. Мерещится, что ли? Не к добру, однако, слышать зов из пустоты, такое бывает за три дня до смерти. Это с того света кличут, не иначе кто-то на том свете имеет ко мне неотложное дело.

— Федюня!

Я вздрогнул. Никого! Лишь чуть позади, привалясь к то-

полю, стоял человек и пристально смотрел мне в спину. Человек этот был в сером плаще с поясом, простоволосый и седой. Он манил. Где-то я видел это резко очерченное лицо, этот горбатый кавказский нос? Где-то видел...

— Вы меня?

Он кивнул.

Э, да это же председатель Яшин, елки зеленые, лес густой! Но как он здесь очутился? Я побежал к нему, мы обнялись. Он гладил мой затылок легкой сухой ладонью и смущенно посмеивался, щекотно задевал волосами мое ухо. Я не отпускал его, потому что впервые повстречал в чужом краю близкого, почти родного, и эта встреча казалась мне чудом.

Яшин, наконец, отстранился и утер рукавом плаща небритую щеку.

— Простудился я, на верхней полке ехал, головой к окошку. Трясет всего и в жар бросает.

— Откуда и куда, Олег Порфирьевич?

«На родину, видать, подался, давно же хотел съездить на родину».

— Сюда,— Яшин показал пальцем в землю,— да без командировки в путь пустился, а в гостиницы не пускают, строгие тут порядки, в краевом центре. Люди советуют администратору или кому еще три червонца сунуть, а я робею, не привык взятки совать,— Яшин засмеялся и показал белые молодые зубы,— двое суток уже на вокзале ошиваюсь и намучился — спасу нет. Твой адрес дома в записной книжке оставил. Помню, Военный городок, а дальше — ничуть-ничего, как твой отец говорит. Ничуть-ничего. Хожу вот по околотку с раннего утра и спрашиваю у граждан разных: не попадаете ли вам, уважаемые, парень тут один — худой такой и малость срыжка? Волосы, мол, у этого парня перьями торчат и не ложатся в прическу. Никому не попадался такой парень, Федор Фролович Ананьин. Это тебе не деревня — город. А ты куда это с корзиной?

— На рынок. Хозяйка послала. По воскресеньям это моя работа. Ты без вещей?

— В одном месте оставил — надежней, да и не таскать с моей одной рукой.

Мы пошли рядом. Яшин на ходу заправлял пустой левый рукав за пояс плаща и крутил головой, волосы падали ему на лоб, он морщился и кашлял надрывно, содрогаясь всем телом.

— Прохватило тебя крепко, Порфирьевич.

— И не говори!

Брусчатка высохла после ночного дождя, и в щербинах дотаивали лужицы в молочных блестках; откуда-то доставал до нашей улицы запах паровозного дыма и мятых груш.

Яшин, справившись с рукавом, не торопясь перечислял немудрые деревенские и колхозные новости.

Урожай нынче заметный, нечего бога гневить. Осталось убрать овощи, картошку и по мелочи кое-что, но с этим управятся и без председателя, народ работает с охотой, в земле ничего не останется... Таймень из горных речек начал скатываться отчего-то раньше срока, и рыбаки не дремлют. («Я сам, балуясь, на удочку линька вытащил килограмма на четыре, не дай соврать»). Осень стоит литая, тихая и почти без дождей. Погода, словом, как по заказу. Ну, правда, и беда случилась — бор за выселками погорел, окорье одно и торчит теперь. Туристы костерище не пригасили, а лес сухой в жаркое лето, много ли ему надо — искры вполне хватает.

— Совсем сгорел?

— Не весь, половина, пожалуй.

— Да-а...

Бор за выселками — сосновый бор, и тянется по обе стороны дороги, которая ведет к пасекам, и кончается на берегу Шумихи, перед белыми песками. В этом бору как-то особенно сочно насвистывают птицы, трава в медной хвое

и сосняк просматривается насквозь, до реки, до гор на другом ее берегу. Жалко, если бор сгорел.

— Почему же о родителях не спрашиваешь, Федор?

— Часто пишу, о чем спрашивать-то?

— Ломоть ты отрезанный, да? Городской теперь, самостоятельный, да? — шевеля крутыми бровями, Яшин заглянул мне в лицо и приостановился. Он часто так глядел на меня, будто ждал, что я сейчас же сделаюсь хорошим, каким он хочет:

— Никакой я не отрезанный ломоть, чего еще взял!

— Зарываться-то рано тебе!

— Не будем ссориться, Олег Порфирьевич.

— С чего это взял — ссориться!

— Ну, как там мои?

— Ничего, здоровы.— Он понял, что рассказывать ему не о чем, засмеялся и похлопал меня по плечу.— Содержательно я это насчет твоих родителей, а?

— Очень содержательно. Очень подробно.

— То-то же!

Я оставил председателя завтракать в пивной у Сонечки и через окошко с улицы видел, как он, отворотясь от публики, мусолил в кулаке рубли, считал и хмурился: денег у него, видать, было в обрез, он даже пива не взял. «Надо вырвать у Владлена полторы тысячи,— подумал я,— черт с ним, с костюмом!».

Я купил по списку что следовало и повел Яшина к дальней скамейке в кустах акации за церковью.

В этом уголке было непривычно тихо. Церковь не пускала ветер, черная ее тень пересекала шоссе, уходила к озеру и не тонула в нем — тень была черной воды.

— А здесь приятно. Соснуть бы, это да!

На шоссе распластался рванный лист серой оберточной бумаги, похожий на солдатскую шинель; бумага шевельнулась под ветром и нехотя сползла в канаву.

За высоким и сплошным забором парка кричали грачи.

— Куда бы пристроить тебя, Олег Порфирьевич?

- Ты хозяин, тебе и карты в руки, Федор Фролыч.
- Побудь здесь, я скоренько обернусь.
- Дуй до горы, побуду здесь  
«Куда же его пристроить?»

Знакомых в городе нет, просить некого, разве вот только Анастасию Федоровну? Не откажет, поди, места, что ли, жалко ей! Я могу и на полу поваляться, не велик барин. Или в прихожей на диване.

Возле нашего дома мне повстречались Алексей Иванович и Владлен. Они стояли у калитки полковника и любовались догом. Это была угольно-черная собака величиной с годовалого телка, лобастая, уши маленькие и острые, как уголки конвертов, глаза — винного цвета. Дог сидел перед калиткой на тротуарчике, погруженный в думы и будто неживой.

— Добрая собачка! — сказал Леша и, наклонив голову к плечу, позвенел ключами в кармане пальто.

— Голубых кровей, не как-нибудь. Медалист.— Владлен навалился на штакетник, вытянул руки и медовым голосом позвал: — Гастон, Гастон, ко мне!

Дог повернул морду к нам с выражением величайшей скуки.

— Начхать ему на тебя! — сказал я.

— Не в настроении, а так мы с ним в приличных отношениях, иногда снисходит.

Я отозвал Владлена в сторону.

— Деньги давай!

— Какие еще дньги?— Владлен был искренне удивлен.

— Которые на костюм брал.

— Тю! Я же тебе уже объяснял: деньги продавцу сунул, полторы тысячи червонцами, в государственной банковской упаковке. Прохиндей, между нами, но по-своему честен. Сдерет комиссионные, не напрасно старается, но что попишешь — селя ви! — он издевался надо мной по обыкновению, но, кажется, без удовольствия, скорее по привычке,—

вот поступит партия товаров из Риги, будет тебе шикарный костюм — серый, с искоркой, а? Не нравится, серый с искоркой? — Владлен задумчиво прицелился и пнул камушек, он запрыгал, крутясь, ударился о штакетник и упал перед черным Гастном. Дог понюхал камешек, густо рывкнул и снова сел на тротуарчике.

Леша, заложив руки за спину, ходил до почты и обратно тихим шагом и с опущенной головой.

— Давай деньги! — тупо повторил я.

— Ты имеешь представление о стратегии и тактике?

Я не имел представления о стратегии и тактике, зато вполне уяснил другое — никакому продавцу он деньги не давал, он их, нимало не казнясь, размотал по ресторанам. Эта догадка мучила меня давно, но я стеснялся и в мыслях носить такое подозрение.

— На рестораны ведь извел, скажи честно?

— Ты хамишь, деревня! — он поводит губами, застегнул на все пуговицы свой макинтош небесно-голубого цвета и попятился от меня, изобразив строгость на лице. Снова издается, пижон сытый! Но что делать — его не проймешь словами, у него нет совести.

— Дозарезу нужны деньги, слышишь ты!

Он посмотрел на меня с некоторым интересом и даже пожалел вроде.

— Ничем не могу помочь.

— Матери твоей пожалуюсь.

— Пожалуюсь! Деревня. Неужели продашь? — он наклонился, держась за живот, как от удара, — хочешь, при тебе в магазин позвоню, чтобы по-честному?

— Все равно пожалуюсь! Или Алексею Ивановичу все расскажу.

Владлен теперь напугался по-настоящему.

— Товарища продашь?

— Волк тебе в лесу товарищ! — я сбросил с плеча его руку.

Анастасия Федоровна стояла перед зеркалом в своей комнате и пинцетом выщипывала брови. Это, наверно, очень больно — по волоску дергать брови! Она или только что откуда-то вернулась или куда-то собиралась: на ней был плащ и лаковые туфли на высоких каблуках. В узкой комнате, заставленной мебелью, пахло духами и пудрой. Анастасия Федоровна увидела меня в зеркале.

Я сел на зеленый диванчик. Она взяла с тумбочки тюбик помады и собрала губы сердечком.

— Вид у тебя неважный, Федя. Или занемог?

— Я по делу.

Жирные листья цветов на подоконнике просвечивали до мелких жилок и были похожи на свиные уши.

Я чувствовал, что ничего не добьюсь, что зря я к ней пришел.

— Ну, что у тебя за дело ко мне?

— Владлену я давал деньги, чтобы он достал мне костюм, полторы тысячи, ну и...

— Ну и? — она повернулась ко мне всем телом.

— И не вернул. А они срочно нужны.

— Для какой цели?

— Нужны, и все!

— Не ответ, милый мой.

— Чужие это деньги.

— Чьи же?

— Знакомый прислал.

— Ты ведь обманываешь, по глазам вижу.

— И не обманываю! Председатель колхоза прислал, он сейчас здесь, проездом, поистратился и просит. А Владлен прогулял деньги.

Она строго погрозила мне пальцем.

— Мой сын далек от идеала, согласна, но чужих денег не потратит.



«Но пропил же тем не менее!».

— Деньги эти у меня, но тебе я их не дам в руки, во всяком случае до тех пор, пока не посоветуюсь с твоей матерью. Где этот твой председатель? — она взяла меня за воротник толстовки, легонько, но настойчиво потянула к себе. На ее щеках были мучные следы пудры.

— На вокзале.

— И снова обманываешь. Я хочу с ним поговорить.

— Он на вокзале.

— Ты меняешься, Федор. И не в лучшую сторону.

Разговор лег явно не в то русло, и заикаться о Яшине я уже не посмел: настроение Анастасии Федоровны было испорчено, и она отказалась бы, наверно, принять у себя чужого человека. Испортил я все, дурак!

В прихожей я зацепился за коврик, отворил лбом дверь и вывалился на улицу.

Остался Леша Волгин — последняя надежда.

Я тащил Лешу прочь со двора, тащил и боялся, что он рассерчает и повернет назад. Но было, наверно, в моих глазах такое отчаяние, а в просьбе такая настойчивость, что он не повернул назад и не рассердился, и когда мы уже завернули за угол и вышли на улицу, он насупился: «говори!». Я перескакивал с пятое на десятое, вытирал о штаны замокревшие ладони, а он все туже сжимал свои блеклые губы и не перебывал, сказал только: «Жди, я скоро».

Яшин был там, где я его оставил — на дальней скамейке в кустах акации за церковью — и спал. Он спал, помаргивая, с прижатой к груди культей, хлюпал ртом и постанывал.

Леша пришел на самом деле скоро, и за ним (вот уж никак не ожидал!) походкой морского волка, списанного на берег по старости, враскачку, вышагивал Титков в своих штанах, сплюснутых на коленях, и желтых штиблетах без шнурков.

Вечером того же дня по совпадению я получил от матери письмо. В числе прочих новостей она сообщала, что у

председателя Яшина сейчас кругом одни неприятности. Вызывали его недавно на бюро райкома партии и дали накатку. Уважать, мол, тебя мы уважаем, но потакать тебе в авантюрах не намерены, и не надейся. С бюро Яшин домой не вернулся — говорят, укатил правду искать. Заполосный мужик, и нам жалко его: свернет еще шею ни за грош, ни за копейку, а такие, как он, на дороге не валяются. Тут еще председатель сельсовета («сошлись, съехались два председателя!»), бывший участковый милиционер Кешка Сыроваткин, жалуется на Яшина, во все концы бумаги шлет, что он на побегушках при колхозе, что с определенной и ранее заданной целью Яшин мордует сельский Совет, подрывает его авторитет в глазах трудового крестьянства и прочее такое. Да и то верно: на каждой сессии, на всяком собрании Олег Порфирьевич на Сыроваткина критику наводит — бездельник, говорит, Сыроваткин-то и потому наше село запущено дальше некуда. Строятся люди как попало, без плана и системы. Ни порядка у нас, ни культуры. У нас, говорит, на кладбище и то скот бродит, как в загоне. Не уважаем мы даже тех, кто в землю лег навечно, а это уж самое последнее дело. Кешка же на себе рубаху рвет (он нервный после милиции-то), кричит: «Это тебе не город, это тебе деревня! Средства где у меня, ты мне средства дай!». А Яшин опять же ему: «Ты инициативу прояви, не просиживай штаны, ищи, поможем найти, от колхоза немалую толику выделим». Ну вот, до беды и докричались.

Мать писала еще, что отец наш иссох, занелюдил и казнит себя: друзья ведь они с Яшиным, хоть и в годах большую разницу имеют.

20

Олега Порфирьевича Яшина занесла в нашу глухомань война ранней весной тысяча девятьсот сорок третьего года. Впрочем, он сам так хотел —

забраться куда-нибудь подальше. Он не объяснял никому причины своего не совсем обычного поступка. Я думаю, толкнуло его на это несчастье: родителей, сестер и невесту он потерял в первые дни войны под Киевом.

После госпиталя Яшин оформил литер на поезд «Москва — Владивосток», ехал, покуда не кончились казенные харчишки, и вышел на станции Топь с тощим сидорком за плечами да фибровым чемоданом. Вышел беззаботно, будто к теще на блины, и прямо с вокзала направился в райком партии, сказал там товарищам: берите, дескать, меня, какой я ни есть, пока не раздумал. Товарищи же такой удаче и верить не смели: перед ними был коммунист, дипломированный агроном, капитан разведки, уволенный из армии подчистую. Документы у него были в порядке, на вопросы приبلудный агроном отвечал без запинки, в медицинских справках и намек не подавалось на то, что гражданин бывший фронтовик малость цокнутый и требует тонкого обращения. Ничего такого, а все же... Райкомовские попросили Яшина посидеть на ветерке, сами же заперлись в кабинете и порешили затребовать для начала партийную учетную карточку Яшина. Они опасались брать человека из ниоткуда, но и отпускать не думали — второго такого и век не сыщешь.

Заведующий орготделом отвел приبلудного агронома к себе на постой и приставил к нему свою мать — могучую старуху кержачьей стати.

Утром следующего дня Яшин сбежал на реку, там за прыжку от ремня выменял у пацанов нехитрую рыбацкую снасть и неделю таскал в заводи окуней, на берегу же варил уху в котелке, а под вечер ложился на шинель и смотрел, как падает налитое усталым огнем солнце и по склонам гор скатываются его рубиновые отблески. Верхушки сосен еще горят, но в логах уже темно. Солнце гасло в реке, холодало и разом наплывали вечерние запахи — пахло тальником, илом, рыбой и сырой галькой. От воды, оставляя следы, убегали трясогузки. Тайга отодвигалась и кута-

лась дымом. В кустах стонал коростель. Он будет стонать до зари, а на заре горы родят тучи, они будут долго качаться, сонные, и поползут к вершинам, подпущенные розовым светом, потом взмоют в небо.

Яшин был доволен тем, что испрошенные бумаги еще не доставлены, но для формы ругался с райкомовскими товарищами, по вине которых он бездельничал. Позже же признавался, что, пожалуй, не имел дней лучше, потому что именно тогда впервые испытал полное душевное благополучие. Он говорил, что полная отрешенность от дел и хлопот человеку иногда просто необходима и уверовал тогда, лежа на шинели, что после войны все будет иначе: заживем мы после войны обновленно, бесхитростно, и люди не будут лгать — ведь мы придем к победе очищенные горем, почти святыми и построим всюду новые города, в которых будет легко и беспечально. И деревни будутходить на города гладкими дорогами и кирпичными домами. Яшину не нравились сибирские деревни, он говорил, что жить, как живем мы,— значит, постоянно утомлять себя и нести работу как груз и бремя, без искры в сердце и без удовольствия. Эти его рассуждения вызывали улыбки: дурень, мол, думкой богатеет. Яшин уже на первых порах утвердил за собой репутацию мужика с чудинкой, когда отдал последние гроши из колхозной кассы на отрез зеленого сукна, которым накрыл свой стол в раскомандировочной молодой бригадир, тоже из инвалидов войны. Яшин сам закупал в городе репродукции знаменитых картин, развешивал их в конторе и на полевых станах, он бесчисленное количество раз и кому попало излагал такую историю: одного крупного конструктора поставили начальником строительства завода. И что бы вы думали сделал конструктор в первую очередь? Он разбил парк и посадил цветы! Ему указывали, что это не основное — парк и цветы, а он гнул свое. Вот так-то. И мы будем гнуть свое!

Яшин вычитал эту историю в книжке, и она ему сильно понравилась. Он всегда был чудаковатым, хоть легкого ему

на пути не встречалось. Он так и не сумел ожесточиться.

...По инстанциям тем временем вокруг агронома, который свалился, как манна небесна, разгорелись страсти: крайком вдруг затребовал Яшина в свое распоряжение, но райкомовские с мужиковатой настырностью стояли на своем — наша, мол, кадра, нам и решать дозволяете, а нет — отпустим парня на все четыре стороны, ни вам, ни нам, и взяли верх, повезли Олега Порфирьевича в нашу Березовку сватать председателем колхоза «Пятилетку — в четыре года». Райкомовские товарищи, если разобраться по чести, подводили нового человека под монастырь. Председатели у нас менялись в год не один раз — все как есть то спивались, то правдами и неправдами перебежали на другую работу, в райцентр. Ну, а что в колхозе остались одни бабы — само собой: война и есть война. Но, кроме того, народ в Березовке был тяжелый, наносный, и сладить с таким народом дано было не всякому. Это, может быть, тоже стало одной из причин того, что хозяйство со дня его основания по-настоящему так и не поднялось на ноги. Да и потом в крайности-то при тайге умелый легко перебеется и не числясь у дела.

Трудоспособные мужики правдами и неправдами пристраивались в организации — в геологические партии, в МТС, промкооперацию и колхоз оставляли на бабью долю.

Встретили у нас Яшина без любопытства, на собрании проголосовали за него единогласно, ни о чем не спрашивали и разошлись: не верили уже у нас, что этот продержится дольше.

О насущных задачах тружеников села речь сказал секретарь райкома, после чего Яшин, одернув гимнастерку, взошел на помост и изложил свою биографию. Натерелые деды определили на глазок новому председателю полугодовой срок пребывания в должности, и собрание закрыли — принять участие в прениях никто не выразил желания.

Яшин сразу же почувствовал неладное: вокруг него

была ощутимая пустота. Он не хотел и боялся пустоты, но не отступил — отступить он не привык.

Мне трудно вспомнить, чем он их взял. Наверно, своей редкой настырностью. В нем странно сочетались вроде бы совсем противоположные качества: цепкость продувного и лукавого хозяина, размах подгулявшего купца, восторженность неоперенной молодости (он тайком и стихи писал) и жестокость, иногда — самодурство.

Выручило Яшина на первых порах вот еще какое обстоятельство. Через короткое время после того, как он принял колхоз, в село привезли партию эвакуированных из Тульской области, человек, наверно, двести — женщин, стариков и детишек. Их кое-как растолкали на постой и гамузом записали в колхоз. Приезжие сперва больше пробавлялись подачками, а иной кержак прежде чем и дать малую кроху, не забудет попрекнуть: кинули, мол, по слабости своей Россию-матушку, теперича, выходит, нам на шею садитесь?

У туляков были одинаково темные лица, и ходили они по нашей земле будто крадучись. Тулячки-старухи, в длинных до пят юбках, выстраивались против нашей калитки и не стучали, захолодея, как черные свечи. Мать выносила им картошки, хлеба, ссыпала это добро в подолы и отворачивалась, вздрагивала подбородком, спрашивала одинаково:

— Лютует немец-то?

— И — лютует. Немец и есть... Спасибо тебе, матушка, придет время — отплатим.

— Свои мы все — русские. Вы еще приходите.

Эвакуированные были злы до работы — они хотели своего куска, не подачки, своего угла — не чужого, и Яшин в основном с их помощью в ту весну засеял весь яровой клин и сверх того прихватил несколько десятков гектаров залежи. Он тогда был особенно неутомим и говорил, что при такой благодати и раздолье бедствовать стыдно, говорил, что фронту даст хлебушек и своих людей не оставит. Ему, правда, мало верили — устали верить — но старались, поскольку видели, как новый председатель из кожи

вон лезет и притом для себя не имеет никакой корысти. Был Яшин непривычен для нашего люда, тревожил смурных и оглядистых наших стариков тем, что никого не робел.

В анкетах Яшин писался русским, но был он явно кавказских кровей и по внешности, и по характеру — сильно был горяч. Настроение его менялось походя, и людям с ним бывало трудно — никто и никогда не поручился бы угадать, как он поведет себя через минуту — то ли вспылит, то ли смехом зайдется.

Но вернусь к началу — к весне и лету тысяча девятьсот сорок третьего года.

Перед сенокосом правление заседало сутками — правление думало о том, как обеспечить скот кормами, и не на ползимы, по обыкновению, а на полную зиму — до травы и выпасов. Так и этот прикидывали, но упиралось в одно: рук не хватит. Тогда Яшин разогнал правление, ночь пробыл в конторе и на утро объявил: косить будем с пятой копны, то есть четыре копны отдай колхозу, пятую — бери себе, независимо от того, пришлый ты или артельный. Тут и выяснилось, что в нашей Березовке трудоспособного народа вполне достаточно — взялись за литовки и стар, и мал, все неугодицы подчистили, чего раньше и в лучшие времена не случалось. Кормов заготовили в достатке, а Яшина за эту самую пятую копну потянули к прокурору. После он к прокурорам привык, но тогда совсем близко перед ним маячила тюремная решетка, и если бы не секретарь райкома, быть худу. Секретарь, правда, поклялся публично, что в первый и последний раз заступается, но сам тогда не подозревал, сколько кровушки попортит ему этот неумный человек.

Секретарь все понимал и загораживал не столь уж широкой спиной Яшина, куда мог. Он, полагаю, любил его. Но ведь сколько веревочке ни виться, а концу быть, и секретарь рисовал Олегу Порфирьевичу с воспитательной целью его ближайшее будущее мрачными тонами, но Яшин от этих разговоров лишь беззаботно отмахивался: чему

быть, того не миновать, но колхоз он на ноги поставит и людей накормит досыта, и важнее этого нет пока ничего...

...А годы катились и катились, война отпрянула в крови и слезах, и пришла тишина. Но это была нелегкая тишина — она не сулила покоя, не убавила забот: страна вдруг увидела себя перед крутой лестницей с несчитанными ступенями — шагай и не смей устать.

Яшин гнул и гнул свое, а однажды, как-то сразу, колхоз «Пятилетку — в четыре года» с задворок районных и краевых сводок передвинулся на первые места по основным показателям, и о нашем хозяйстве весьма уважительно говорили газеты. Яшина лестные эпитеты не трогали, он ненавидел славословия. «Если уж мы передовые, — кипел он, — тогда где же отстающие, покажите мне пальцем!».

Сдружился я с председателем, если это слово применимо здесь, после того, как он зачастил в наш дом. Ему нужен был мой отец, по отзывам, отличный бухгалтер. Отец уже после войны, довольно пожилым человеком, поступил заочно на экономический факультет в Новосибирске, успешно его закончил, но переезжать никуда не думал, а приглашений имел немало, особенно настойчиво его звали в краевой центр. Мать же извелась вся от непонятной тоски по большим городам и казенной квартире с ванной. Отец не сдался, и мы остались.

Яшин последовательно и беззаботно копил недругов. Потому что имел привычку резать правду-матку в глаза, невзирая на чины. Яшин рассуждал примерно так: «Для какой надобности, растолкуйте темному, братья за многое и ничего не делать толком? Зачем мне распахивать целину и залежь, коли поля для обработки неудобны — сплошь крутояры да лога? Кому нужны гектары, с которых сам-десять взять нельзя? Что же может производить колхоз «Пятилетку — в четыре года»? Мед давать можем. Теперь же нет меда, и мы не тужим, удивительно это мне! Овощи может давать колхоз, мясо и молоко — в избытке: выгоны у нас богатейшие, и стадо, как полагаю, реально увеличить



в пять-шесть раз. Что получается в итоге? Получается, колхоз мясо-молочного и овощного направления. Одного прошу — свободы действия. Снимите с меня бумажные путы, и я вам чудеса покажу!».

Несколько позднее это стало называться специализацией сельского хозяйства и вошло в повседневную жизнь.

Зимними вечерами Яшин и мой отец запирались в комнатушке возле кухни и корпели над проектом коренного переустройства нашего колхоза, разрабатывали пятилетний план его развития.

Они были совсем разные. Яшин ликовал и дергался над цифрами, которые отец строгим своим почерком выстраивал в статье «прибыли» и разграфленные листы с расчетами клал в черную нотную папку и перевязывал ее шнурками от ботинок. Отец смотрел на Яшина как на блажного, с жалостью, и вздымал брови:

— Утопия, Олег, чистая, понимаешь — нет, утопия.

— И эти кислые слова я слышу от старого коммуниста?

— Да, именно от старого коммуниста и слышишь ты эти самые кислые слова.

— Ты, значит, драться не велишь?

— Набьют тебе сопатку, Олег. Ты ошибаешься, если думаешь, что одни мы с тобой умные. Есть и поумней.

— Отчего же молчат?

— Время не пришло, Олег.

— Под лежащий камень, Фролыч, и вода не течет.

— Так-то оно так, а боязно мне за тебя — хороший ты человек, понимаешь — нет. И наивный. Ты уж прости.

— Слышал я это, Фролыч, от многих слышал. Ну, дальше пошли. Меня тут ночью как-то осенило: а не поставить ли нам небольшой консервный заводик? Прикинем, Фролыч? Мы их логикой к стенке прижмем, великая в ней сила!

— Так-то оно так...

Они загорались, откинув сомнения. На богатую выручку, которую давало хозяйство пока на бумаге, они мостили

дороги, строили новые скотные дворы из бутового камня с автопилками, растили чистопородное стадо, отправляли больных на курорты к синему морю. Работали они взахлеб — то была ни с чем не сравнимая лихорадка счастливого поиска. Мать ворчала за стенкой, ругалась. А они выпивали бутылочку с устатку и, случалось, галдели до рассвета.

Яшин не расставался с тетрадью. В ней он чертежным перышком, тонко рисовал «варьянты» капитальной перестройки нашей Березовки. Не село получалось — картинка: была в этих проектах центральная площадь, клуб, были улицы по линейке и одинаковые дома на манер прибалтийских хуторов. (До войны Яшин бывал в Прибалтике, и тамошние хутора ему приглянулись).

— Из белого кирпича будем класть. Белый город в тайге, а?

— Слушаю тебя, Олег, и уши вянут! — отец сердито стучал ручкой в чернильнице и горбился над кухонным столом, — силикатный кирпич в копеечку обойдется, его издалека возят.

— Да-а... Белые дома и зеленая тайга. Сказка. Глаза вот закрою и вижу. Красиво очень.

— Неприятно слушать, ей-богу!

— Скучный ты мужик, Фролыч! Нет в тебе такого полета, что ли. Но и нужный ты мужик, скучные тоже нужны — для разбавки. У Федьки твоего есть полет. Федор! — кричал Яшин через стенку, — белый кирпич хорош ведь, а? Клуб, например, белый. И улицы...

— Оперный театр, Олег Порфирьевич, создавать не думаешь?

Мы не уговаривались, но понимали друг друга. Это была наша маленькая месть отцу за его рационализм и неверие.

— Замкни рот! — отвечал отец громко, — доброго слова ведь не скажешь, помолчи! — и немедленно заводил по мне панихиду: растет, понимаешь-нет, орясина и потребитель. Ни к чему нет у него интереса, одно у него занятие — штаны на завалинке просиживать. Дальше отец подробно

брался описывать Яшину свое детство и отрочество. «В бедности росли, в унижении постоянном, но жадные были до знаний и до всего нового». Отец гордился тем, что уже взрослым парнем строил в сараюшке самолет по картинке из журнала «Всемирный следопыт» и разорил у богача сеялку, потому что, по его убеждению, для самолета нужны были шестеренки именно от сеялки. За этот проступок отца высекли моченым ивовым прутом на виду у народа.

Яшин слушал, покуда можно было, покуда терпелось, а когда отец приостанавливался и набирал дыхание для продолжения страстной речи, вставлял осторожно:

— Так на чем мы остановились, Фролыч?

Яшин наполовину тоже принадлежал новому поколению, и отец, смирясь, начинал выщелкивать на счетах сальдо-бульдо.

Черную папку Олег Порфирьевич сам отнес на почту и бандеролью отправил в крайком партии первому секретарю лично и мучительно дожидался ответа. Но ответа не было. Как-то, правда, поздней осенью, когда ночами уже инелась трава и у берегов собиралась снежная кашка, прошел слух, что секретарь крайкома прилетает к нам на самолете. Но слух оказался ложным, секретарь вызвал Яшина к себе и отдал папку. Вернулся председатель из краевого центра, из Энска, с обметанным и желтым лицом и сказал отцу, шевеля кулечей в пустом рукаве гимнастерки:

— Рано, говорит, но я не отступлюсь, Фролыч.

— И дурак, прости.

— Слышал уж, Фролыч.

— Ты уж прости, Олег, но я правду говорю.

— Не отступлю!

Таков уж был Яшин, председатель колхоза «Пятилетку — в четыре года», который искал и нашел меня в городе Энске.

На кухне у Кулагиных валялся том Вальтера Скотта еще дереволлюционного издания. Анастасия Федоровна ставила на него сковородку, когда ничего другого не попадало под руку, Владлен чистил на нем ботинки. Я полистал как-то скуки ради эту книгу и наткнулся на рисунок с надписью под ним: «Благородный рыцарь Квентин Дорвард». Волосы у рыцаря спадали до плеч, лицо было тонкое, лоб прямой и чистый, а стан — стройный. Рыцарь сильно напоминал одну нашу знакомую. Я пошел к Владлену в боковушку.

Владлен лежал на кровати и бессовестно мял китайское покрывало, за которое Анастасия Федоровна может даже горячо любимому сыну выкопать глаза. Я показал ему благородного рыцаря:— Похож?

Он пожевал папиросу, щурясь от дыма, сел на кровати, зажал руки между колен и зевнул.

— Наденька Зими́на! Несть числа чудесам! Переселение душ. Слышал о теории переселения душ? Да где тебе, ты же лапоть, серая личность. И фискал к тому же.

— Поехали!

Я уже не подставлял ему шею — надоело подставлять. И уважение я к нему потерял окончательно после случая в пивной и скандалов из-за денег. Одно у него занятие — измываться над ближним. Не велик талант. И однообразие скучно. Он чувствовал, что мое отношение к нему изменилось, и не в лучшую сторону. Это его раздражало, он то заискивал, то мстил за то, что я быстро разгадал, что за мнимой его значительностью путного ничего нет. И мне нравилось злить его. Я снаивничал:

— Что за Наденька?

Владлен брезгливо, одним пальцем, сбил перхоть с пижамы, нашел волос и торжественно, играя бровями, положил его мне на рубашку. Это он так шутил. Я стряхнул волос на пол и показал ему дулю.

— Лукавишь, деревня!— сказал Владлен и отвалился на подушку,— ты же ее видел?

— Видел, но не знаю.

— А к чему тебе знать? Нравится она тебе?— он опять резко поднялся на кровати и вперился в меня своими влажными, как у телка, глазами,— она всем нравится, женщина что надо. Бросать жаль.

— Почему же бросать?

— Видишь ли, лукавый смерд, она любит серьезно, ей давай все или ничего, она половинок не хочет. А я... впрочем, хватит!

Я гнул свое:

— Кто она?

— Кто такая? Учится в консерватории, на третьем курсе. Родители — артисты оперетты, довольно заметные артисты, круглый год на гастролях, а она — одна. Удобная была квартира, черт возьми! Ну, освобождай помещение, наскучил ты мне и конспекты читать приказано. С минуты на минуту ревизия нагрянет в лице последовательного и кристального большевика Алексея Ивановича Волгина, которого я боюсь. Единственного человека боюсь, между прочим, и то лишь потому, что без его авторитетного вмешательства не был бы допущен к экзаменам и дипломированию. Но я его уважаю и как личность, объективно.— И уже в спину мне добавил:— Ты, холоп, не вздумай за ней приударить — осмеет и прогонит, она тонкая, культурная, а от тебя еще дегтем несет за версту и дальше.

— И приударю!— я еще раз и с превеликим удовольствием показал ему дулю, а он кинул в меня книгу.

— Читай свои конспекты, зубри: не сдашь — потурят из института.

— Сдам, я умный.

— Нет, дурак. Тупица!..

...Я не пропускаю ни одной машины, которые попадают мне на глаза — я ищу счастливые номера. Иногда я останавливаюсь посередине улицы, удивляя прохожих, на суч-

ных лекциях сажусь у окошка и ставлю в тетради галочки, когда успеваю выхватить глазами из бесконечной и вечной цепи легковых и грузовых на улице ту, что мне нужна.

После занятий я иду на площадь Ермака и занимаю привычное место у столба напротив ресторана. Я стою часами и прячусь, когда вижу ее. Чаще всего она приезжает на автобусе, и, помахивая нотной папкой, из-под руки оглядывает небо, толпу и легко спрыгивает с подножки на тротуар. Когда она приезжает в расстегнутом пальто и несет папку наотлет, значит, у нее все ладится. Чаще же она идет через улицу медленно, и волосы закрывают ее щеки. Тогда она не покупает винограда с лотка, не занимает очереди за «Вечеркой» в газетный киоск — сразу исчезает в подъезде, и в квартире на третьем этаже долго нет света. Окна молчат, холодные, и я иду домой.

В дождь я не садился на трамвай. Я чувствовал, как тягелеют мои плечи, как холодит спину набрякший водой плащ. Листья падают с деревьев и, слабо вздрагивая, впадают в асфальт. Мне чудится, что пахнет мхом, загустелой глиной тропинок и мокрым папоротником.

Зачем я хожу на эту площадь?

Со мной уже здороваются мальчишки с ее двора, постовой милиционер нашел мое поведение подозрительным, смотрел документы и грозился как-нибудь доставить в отделение для надлежащей проверки. Но пусть его, милиционера, я его не боюсь и приду к своему столбу напротив ресторана и завтра, и послезавтра. Я тих, но упрям, мне нужно видеть ее, вот и все! Я ничего не жду и ни на что не надеюсь. Бывает грустно, конечно, но не настолько, чтобы вешаться и писать стихи. Я не представлял, однако, что такое может со мной случиться.

Дома мне нравилась одна молодая вдова. Наверно, я и любил ее. Косы на затылке она перевязывала наивным бантиком алой ленты, и я узнавал ее издали, потому что никто в нашем селе так косы не перевязывал. У нее были татарские глаза цвета спелой жимолости — темно-синие, с

дымкой, и не девичьи строгие брови до висков. Звали ее Ариной. Она ходила к моей матери кроить кофточки с рюшками и юбки-клевш. В сенцах или на пороге задевала меня плечом и долго смеялась, когда я закрывал за ней калитку, и в том смехе была обида. Мы целовались с ней только раз на мосточке у дальних выгонов, а через неделю она сочеталась законным браком с бухгалтером сельпо вислогубым Иваном Кругловым.

Свадьба их была удалая, бухгалтер два дня шастал по селу, пел под гармошку и лез драться. Я же получил от нее через подружку немецкую открытку, какие привозили с войны солдаты. На открытке была гривка никлой ржи, желтая дорога, цветы да небо, а на обороте она написала стишок из своего альбома: «Незабудки я срывала, слезы капали на грудь. Долго-долго я кричала — Федя, Федор, не забудь!»

Она кричала, а замуж вышла за белоглазого недотепу, потому что он имел пятистенный дом, три дойных коровы и мотоцикл. Я порвал открытку и с неделю караулил везучего своего соперника, чтобы душевно поговорить с ним кое о чем, но зло скоро отлегло, и я решил, что теперь-то изведал женскую натуру вдоль и поперек и на забаву больше не дамся. Ну, а Наденька? Она — совсем другое дело.

...Замечала ли меня Наденька Зимина, узнавала ли? Когда-нибудь заметит, все поймет и, наверно, прогонит: такие, как я, тихие вздыхатели, не имеют удачи. Но по-другому-то я вести себя не могу, да и не хочу.

Вода пузырится в лужах, бьется из сточных труб и пляшет на жести крыш. Улица течет в темноту неслышно и туго, как река. Ветер толкает в спину, дождь то обгоняет меня, то возвращается, густея, а я иду и иду. Даль ступевана дождем, а фонари впереди — желтые одуванчики.

Я иду.

Не пугайтесь меня, бездомные и мокрые собаки, я не злой и не бросаюсь камнями. Сделайтесь тенями, прохожие, не мешайте думать!

Я нащупал в кармане обкатанный кусочек мела и на заветном столбе нарисовал человечка: стоит себе кислый человечек, голова тыквочкой, и ждет да ждет, а ее нет и нет.

На магазинах, помаргивая, зажигались вывески, зажигались рекламы: «Пейте советское шампанское!»

Вечер был сухой и душный, тротуары забили гуляющие. Я бросил мелок, пошел, оглядываясь, споткнулся о кромку тротуара, упал на четвереньки, поднялся, наступил на шнурок ботинка, вонзился головой в чей-то уютный, мягкий живот, получил затрещину, другую, третью. Меня пронесло сквозь толпу, как через решета молотилки, и припечатало плашмя, во всю спину, к стене дома. Я сел, раскинул ноги, а когда вскочил, то первым делом кинулся искать среди прохожих тех граждан, которые обошлись со мной так неаккуратно, но где там: люди, вихрясь, текли мимо, лица в отблесках реклам были землисты и равнодушны.

Постовой милиционер держал у рта белый платок и смеялся.

Я завязал шнурок, вытер о брюки саднившие ладони и закурил. В этот момент открылась резная дверь ресторана. Я увидел зал в папиросном дыму, столики, слепого скрипача на игрушечной эстрадке, швейцара за барьером. Швейцар был свирепо усат и напоминал немецкого кайзера. Из зала тошно и горячо пахнуло жареной бараниной.

Небольшого роста парень отодвинул локтем меня от двери. За ним шла женщина в клетчатом пальто нараспашку. Это была Наденька Зимина! Они остановились неподалеку, парень загородил ей дорогу и сказал, прижав кулак к сердцу:

— Ты не спеши, Надежда! Компания не нравится?

— Обыкновенная компания. Пусты, Иван, пойду я.

— Я провожу. Плащ возьму только, хорошо?

— Вот он проводит,— Наденька показала на меня зажатой в руке перчаткой.

Узнала все-таки! Совсем я не хочу провожать, откуда



она взяла! Я неловок и смешон, я задеревенел от робости. Мне бы убежать, дураку, но и убежать я не мог.

— Вы проводите, Федор?

— Пожалуйста.

— Не хлопочи, Иван, он проводит.

Парень, наскрипывая лаковыми ботинками, заглянул мне в лицо и стал рядом. Был он широкоскул, лобаст и некрасив, волосы его лежали пирожком ровно посередине большой головы и блестели. У Владлена тоже прическа будто из железа — не рассыпается и не мнется. И чем это они головы мажут?

— Идемте, Федор! — капризным голосом позвала Наденька.

Парень же раскрылился, выставил грудь и не пускал. Я было рассердился, но понял, что этот в драку не вступит — слишком тонко воспитан.

— Чего не пускаешь? — скучно спросил я.

— Она шутит, она вас не знает.

— Мы давно знакомы, еще до революции. Моя подпольная кличка — Хлоп. Не слышал? Историей ты не интересуешься, дорогой. Это никуда не годится.

Он пожал плечами, и тонкие его губы поползли вкось.

— Чем волосы мажешь? — спросил я еще и так же спокойно отодвинул его локтем, как он меня давеча, и сказал: — спешу, мне в ночь на работу.

— Вы ее не смеее провожать, я вам не доверяю!

Наденька засмеялась, изломанно и вяло махнула ему рукой.

— Не дуйся, Ваня. Ступай ужинать. Тебя потерять могут.

Мы свернули в переулок. Впереди тянулись тонкие и черные наши тени. Она убрала волосы со щек и опустила голову, шла устало, следила за своей тенью, которая все удлинялась и таяла: свет фонарей, сюда уже не доставал, а справа навис дом с круглыми балконами, слева, за кудрявой чугунной оградкой, был сквер со скамейками и молодыми облетевшими березами.

— Вы следите за мной, Федор?

— Нет, не слежу.

— А я вас часто вижу и уже привыкаю. Вы не следите за мной!

— Я и не слежу! И не приду сюда больше, извините.

— Отчего же. Мне все равно, но неприятно это.

— Понимаю. Захотите увидеть меня, поставьте вон на том столбе крестик. Мелком поставьте.

«Какая чепуха лезет мне в голову!».

— Крестик? И вы думаете, что я буду нуждаться в вашем обществе?

— Вдруг понадобится.

— Едва ли.

Она обогнала меня, пошевелила носком туфли оранжевую корочку мандарина, перевернула корочку бархатной, лохматой изнанкой и машинально стала застегивать пальто, прислушиваясь к чему-то. За нашими спинами смутно и неумолчно шаркали ноги прохожих, брэнчала гитара, в конце переуллка гремел трамвай.

— Вы искренны со мной, Федор?

— Да. Я не приду больше. И давайте прощаться.

— Вы — гордый?

— Может быть.

— Это — хорошо.

— Спрашивайте еще! — сказал я грубовато и решительно, — спрашивайте!

— О чем же?

— О Владлене, например. У него все в порядке. Два экзамена он сдал, еще, по-моему, два осталось. И эти сдаст, он умный.

Она протянула мне свою сумочку, которая мешала ей справиться с пуговицами пальто, и ничего не ответила, но дышала часто и слышно. Ремешок сумки был теплый и влажный от ее руки.

— Он вас вспоминает, — добавил я уже через силу.

— Не пытайтесь утешать, Федор! Плохой из вас утешить

тель, просто, знаете, некудышний! — она, наклонясь вперед, пошла к подъезду.

— Сумку забыли!

— Вам тяжело нести, вы устали?

— Нет, не тяжело.

И у подъезда она меня не отпустила — пожаловалась на скуку и пригласила пить ликер.

Ванечку, наверно, она отшила из-за каприза, за меня же ухватилась тоже по капризу и потому, что ей не хотелось оставаться одной на целый бесконечный вечер. Попади ей сейчас, скажем, кошка, она и кошку утащила бы в дом, помыла бы в ванной, накормила колбасой, а утром, дивясь своей слабости, выбросила бы ее за порог — такие женщины не любят кошек. Со мной на крайность-то можно и словом перекинуться, чем я хуже того же Ванечки с напомаженными волосами, да и к тому же у Владлена живу.

Наденька отперла замок хитрым ключиком, открыла дверь, пропуская меня вперед. Я замешкался в темном коридоре, она щелкнула выключателем, поманила рукой и пропала.

Комната, куда я прошел, была загромождена мебелью — стояли там шкафы с книгами на три стены, пианино, секретер, пузатый буфет на рахитичных ножках, тахта, закрытая ковром, который свисал почти от потолка. На ковре изображался лупоглазый перс или турок в феске, с кривой саблей и на оскаленном коне, а поперек седла у него лежала распластанная пленница в красном платье и с распущенными до земли волосами. На заднем плане были горы в облаках, фиолетовое море и белые цветы. Всюду — на полу, на тахте и на буфете, валялись раскрытые ноты. Большой абажур зеленого шелка, похожий на корзину, висел низко, в комнате было сумеречно и необжито.

Я притронулся пальцем к холодной клавише пианино. Звук возник на диво чистый и озорноватый, он обежал комнату и погас.

За стеной ходила Наденька, этажом выше кто-то само-забвенно наяривал на гитаре «Сердце красавицы склонно к измене». Эту гитару мы слышали и с улицы.

На голенастых рюмках за стеклами буфета перекачывались, плыли зеленые искорки. Меня подавляло это изобилие вещей и безделушек, которые в таких вот семьях наслаиваются поколениями, и всякая вещь по-своему дорога, как память о тех, кого уже нет.

Наденька пришла в сером распахистом халате и домашних туфлях на войлоке, она прижимала к животу бутылку и вазу с фруктами.

Я наблюдал, как она достает посуду, перебирает и складывает ноты, вытирает замшей пыль со столика. Под халатом у нее проступали детские лопатки, на тонкой шее серебрился пушок. Я смотрел на эти худые плечи, локти, руки. И была она сейчас особенно близка мне, незащищенная и такая домашняя.

Наденька села, запахнула халат и прикрыла глаза, улыбаясь.

— Извините за беспорядок. Я, наверно, плохая хозяйка. Во всяком случае мама так говорит.

— Ничего...

— Забежала в ресторан поужинать, а там наши мальчишки, из консерватории. Я с ними рюмку коньяку выпила. Ненавижу коньяк. И еще пить будем, правда? Это ликер «Шартрез». Отпробуйте — прелесть, я вам скажу.

Ликер был мягок, пахуч и тяжел.

Наденька не выпускала рюмку из руки и мелко кусала яблоко.

— Вы, Федя, не молчите, пожалуйста,— сказала она.

— О чем же говорить?

— О чем угодно. И забавно.

— Не могу забавно, я угрюмый.

— Вот и неправда, вы человек с юмором, вы с Ванечкой прелесть как разговаривали.

— Ну уж! Я вот что скажу. Вы бы попроведали его.

— Кого это?

— Владлена.

— Ах, оставьте вы, Федор! И без вас тошно, как вы понять не можете!

— Я же просто.

— Нет, не просто! Вы хотите выяснить, не порвала ли я с ним окончательно, не освободилась ли вакансия и есть ли шансы занять место, чтобы не пустовало, так? До чего же вы все мне противны, господи! Вы тоже, как он, лгать будете и домогаться лечь со мной в постель. Вы тоже сластолюбец и пошляк?

— Я-то при чем здесь, Наденька!

— И не смейте перечить, не смейте!— она выронила рюмку, стекло хрустнуло и разлетелось по полу.

Я встал, оглушенный, и пошел к двери. Больней всего было то, что она отчасти права. Я уносил из этого дома тяжесть и стыд. Горло мое перехватило шершавой петлей, и я думал: «Незачем мне слушать ее, но ведь теперь и не забыть того, что она сказала».

Наденька догнала меня в коридоре, схватила за полу толстовки и повернула лицом к себе, в ее синих, застланных слезами глазах была ненависть.

— Успокойтесь, Наденька, простите меня, я сволочь, и вы правы. Пойду. Так будет лучше, честное слово!

— Ты не уйдешь, ты останешься, ты скажешь ему, что спал со мной, скажешь, что это совсем просто, ну! Ты не хочешь? Я разденусь, смотри! Мне не стыдно!— она на самом деле сбросила халат, рубашку. Маленькие ее груди, не тронутые загаром, были молочно-белые. Она хотела казаться дерзкой и бесстыдной, но была жалкой. Я зажмурился.

— Наденька, не надо!

Она ударила меня по щеке сухой, каменной ладонью, ничком повалилась на кушетку и заплакала, вздрагивая.

— Уходи вон! Слышишь!

...Я шел бесконечно, сглатывая вязкую слюну, и уперся

в зеркальную витрину с вывеской «Грузинские вина». Этого как раз мне и не хватало — грузинских вин, без них я жить не могу дальше.

В закуской было светло и чинно, как в аптеке, пахло бочками и прелым виноградом. За стойкой дремал бровастый грузин с добрыми и глупыми, как у коровы, глазами. Ленивый взгляд его туманился негой. Я протянул ему червонец.

— Стакан ликера «Шартрез».

Грузин кинул полотенце на шею, вытер стакан, налил, не спрашивая, водки из графина и сказал:

— Ликер не держим, водка виноградная, дорогой. Русской не держим — предприятие фирменное.

Водка была хоть и послабее нашей, но жгла и мирила меня с этой жизнью.

— Книжка есть одна...

Грузин переступил за стойкой, как бегемот, доски под ним всхлипнули. Это был добрый человек, и я хотел с ним общаться.

Книжка, мол, есть одна — «Тиль Уленшпигель». В ней сказано: они пили и разжигали в животах костры. Удачно, верно, товарищ?

Этот целовальник, конечно, не читал «Уленшпигеля», и душевной спайки у нас не получилось.

— Беда у тебя, дорогой?

— Вроде того.

— Еще налить?

— Лей! У нас в Сибири отчаянно пьют — ведрами.

— Нехорошо ведрами, дорогой! Еще?

— Лей.

Я второй раз в жизни ехал на такси. Я тратил деньги, присланные из дома на учебники. Я собирался по примеру образцовых студентов купить у букинистов «Стилистику» Былинского — редкую и дорогую книгу. Обойдемся без профессора Былинского.

Я втолковывал шоферу, мордастому и рыжему, как

ловить тайменя на мышь, объяснял ему, что весной таймень поднимается в верховья горных рек, осенью же опять скатывается вниз. И скатывается, между прочим, хвостом вперед и никак иначе — только, значит, хвостом по течению. Шофера этот факт ничуть не потряс — он гонял кепку со лба на затылок и заходился песней. «Люди добрые, поверьте». Он подрулил к парку, как договаривались, но я вдруг заупрямился и велел ему ехать дальше — куда глаза глядят и покуда хватит денег. Он тоже заупрямился и потребовал расчет. Мы поспорили. В конце концов этот коновал вырвал у меня из горсти двадцать пять рублей и дал по шее. Я упал щекой на асфальт, встал, качаясь, и закричал вслед ехидным огонькам такси:

— Бей еще, чего не бьешь, меня сегодня все бьют!

Я кричал, и мне казалось, что это очень смешно.

Я пришел к озеру, оно было черно и мертво. У берегов в зеленой слизи блаженно кряхтели лягушки.

## 22

Я жалел Анастасию Федоровну, она в последнее время утрачивала свою твердость, откровенно побаивалась Владлена и помячела ко мне после того дня, когда мы с ней отвезли в университет липовую справку. Она любила повторять, что на ее совести, слава богу, темных пятен нет, а тут ведь был, если честно, самый настоящий подлог. Но, полагаю, она пошла на него не ради меня, ради сына: ему нужен был товарищ, а для нее — соглядатай и палочка-выручалочка. Только сам я не верил, что смогу помочь ей. Да и она вряд ли верила, просто хваталась за соломинку, как всякий утопающий.

Анастасию Федоровну потянуло на притчи. Она, правда, всегда любила поучать, но теперь притчи имели определенный уклон — в них фигурировали Он и Она, молодые, легкомысленные и материально необеспеченные. Он и она

женились без согласия родителей или сразу же после окончания школы, или же на первом курсе института. Женились. У них подозрительно скоро появилось дите, и пришла нужда.

Было у Анастасии Федоровны несколько вариантов развязки, одинаково страшных и поучительных. Они разводились (это уж само собой), бросали институты и сбывали ребенка на чужие руки, ну созсем как щенка. Случалось и еще хуже: он покидал ее, она травилась (крошила головки спичек в воду и пила), умирала мучительно, долго, но прощала его на смертном одре (любовь — не картошка!), а он, пьяный, попадал под трамвай в районе старого рынка.

Анастасия Федоровна имела в запасе и счастливые концы: молодые люди вняли совету старших, берегли любовь со школьной скамьи, годами переписывались, оба защищали дипломы, женились и получали квартиру в Энске или даже в самой Москве.

— Ты Борю Аникашкина помнишь?— спрашивает Анастасия Федоровна у Владлена.

Мы сидим на кухне и пьем кофе. За окном еще смутновато, на часах половина седьмого утра, а я тороплюсь: у меня занятия с восьмью, и опаздывать мне нельзя: наш декан — сторонник жесткой дисциплины, сам дежурит у дверей перед звонком и не признает уважительных причин, ему не соврешь про бабушку, которая при смерти.

Анастасия Федоровна сидит за столом прямо, движется мало, говорит одними губами, впришлеп, потому что кожа на ее лице задубела от крема, который она втирает на ночь и не смывает до обеда, как то рекомендует журнал «Работница», на голове Анастасии Федоровны тюрбан из махрового полотенца. Магараджа, и только!

Владлен жует и пьет точно по обязанности, в его глазах — поволока: он, как всегда, с похмелья.

— Помнишь Борю Аникашкина?— вкрадчиво спрашивает опять Анастасия Федоровна.



Владлен трет лицо руками, хлюпает носом и смыкает веки: разговаривать ему неохота, но он пересиливает себя, отвечает:

— На одной парте сидели в Магадане. Ничего себе парень, но подонок.

Анастасия Федоровна на последнее никак не реагирует, она поворачивает ко мне свое закаменелое лицо, оштукатуренное кремом:

— Аникашкины тоже колымчане. Борис учится в Политехническом, а Люся в университете. Оба кончают в этом году и скоро играют свадьбу. Приятно на них смотреть, Федор!

— Мать,— уныло зовет Владлен и оставляет рот открытым — ждет, когда она обратит на него внимание.

— Что тебе?

— Я объявление видел: открываются курсы кройки и шитья.

— И что?

— Записалась бы ты на эти курсы, мать. Нам вон бы с Федыкой хоть штаны пошила. Смотри, в каких он ходит — страх божий!

Белые серьги в ушах Анастасии Федоровны гневно трепещут: он угнетает ее своими тупыми шутками. Он стащил у нее книжку «Как вышивать крестом», в предисловии вычитал цитату насчет важности декоративно-прикладного искусства и повторяет ее бессчетно раз на день.

— Перестань! — тонким голосом кричит Анастасия Федоровна и кладет на стол кулаки.

— Гони, мать, двадцать пять рублей — у меня голова болит.

— Не дам!

— Дашь?

— Не дам!

— Дашь!

Она, конечно, дает ему двадцать пять рублей, чтобы

только отвязаться, чтобы только не стукнуть чем-нибудь тяжелым по дурной напомаженной его башке. Он знает свою силу, она — свою слабость, живут, как кошка с собакой, и расставаться, похоже, не думают. Вот и пойми их.

Когда Владлена нет дома, Анастасия Федоровна горюет вслух: пришла беда, растворяй ворота! У сына снова депрессия, вызванная, скорее всего, осложнениями в институте, которые, слава богу, уже позади, но их след останется еще надолго. Она снова и снова просила меня по возможности не оставлять Владлена одного и все-таки постараться стать ему товарищем. Конечно, это непросто — он мальчик замкнутый, однако, попытка — не пытка: не хочется потерять его окончательно для общества и для семьи. Я обещал попытаться, я не мог отказать ей хотя бы из чувства благодарности за все доброе, что она для меня сделала.

Притчи же Анастасии Федоровны были направлены и в мой адрес. Последнее время по вечерам я регулярно исчезал из дома и возвращался поздно, около двенадцати, и сразу заваливался спать. Она серьезно заподозрила, что я попал под власть какой-то хитрой особы и эта особа настойчиво прибирает меня к рукам. Анастасия Федоровна была заинтригована и, конечно же, ошибалась.

После университета я, как прежде, бывал на площади Ермака, упрямо рисовал кислого человечка на столбе, проходил мимо ее окон, мимо тощих берез в скверике, мимо парочек на скамейках и направлялся домой, а после ужина заворачивал в квартиру Титкова: там лежал больной председатель Яшин, у которого врачи определили простуду, нервное истощение. Титков добровольно и с большим рвением взялся быть сиделкой. Он строжится и ворчит; они спорят с председателем без конца, потому что обыкновенно имеют по затронутым вопросам противоположные взгляды, мирятся же без натуги и, кажется, довольны друг другом. И пусть будет так. Я не загадываю о том, что случится после — завтра или через неделю. Пусть будет так.

В квартире Титкова две комнаты: первая, большая и проходная, и другая — поменьше. Большую занимал он сам, меньшая же числилась за дочерью, которая бывала в городе только наездами и чаще зимой — она работала в геологических партиях то на Алтае, то в Кузбассе. В комнате дочери была простенькая кровать, темный письменный стол с резьбой и на пузатых ножках, а на стенах сплошь были прибиты витражи с образцами пород. В большой комнате пахло кедровой щепой, олифой и пластилином. Это было не жилье, скорее мастерская. Здесь стоял верстак с раздвижной столешницей и станочек для шлифовки камней, на полу оставалось место, чтобы только пройти — пол занимали макеты под стеклянными куполами — макеты улиц, кинотеатров, гостиниц и целых поселков. Все это старик Титков мастерил для выставок по случайным и нерегулярным заказам.

Титков закончил академию архитектуры в Петербурге еще до революции, пользовался известностью в своих кругах, ну а потом вышел на пенсию. Они успели с дочерью эвакуироваться сюда из Ленинграда в самом начале войны. Споря, Титков морщился, подыскивая слова, щелкал пальцами возле уха, прислушиваясь к самому себе.

Они часто спорили, подолгу и азартно, не давая друг другу спуска. Яшин, хрустя панцирной сеткой, садился на кровати, ноги калачом, заворачивался в одеяло и на момент застывал в такой позе: он соображал, как половчее бросить Титкова на лопатки.

Я их не слушаю, с удовольствием трогаю, перебираю дикованные вещи, которыми полна эта квартира. Вещи разложены на верстаке, на подоконнике, на деревянных струганых полках, на шифоньере... Чугунная мадонна, фарфоровый Аполлон, расписные шкатулки, тома Брема в кожаных переплетах, набор трубок и мундштуков. Чего только нет! Но больше всего меня занимает коробка из-под фотоаппа-

рата ФЭД, доверху набитая камешками. Я смотрю эти камешки на свет и удивляюсь, что они всякий раз светятся по-разному. Харитон Кузьмич говорит, что камни пока не облагорожены, то есть не шлифованы даже начерно, и поэтому не имеют никакой ценности.

— Это халцедон,— подсказывает Титков и на минуту останавливает спор,— Крым, вулкан Кара-Даг. Есть такой вулкан. Так на чем мы остановились, милейший Олег Порфирьевич?

Халцедон тускловат, и в бесконечной его глубине клубится пегий дым. Мне кажется, что камень пахнет хвоей и теплым пеплом костра.

— Это сердолик,— подсказывает Титков.

Я киваю; уже запомнил, спасибо.

Сердолик имеет цвет заката, какие выпадают на ветреную погоду или к морозам, в крещение — кровавые и тревожные. Находил я в коробке и опалы с перламутровым, зыбким отливом, мыльные на ощупь, находил малахиты под цвет первой зелени, горный хрусталь...

Это богатство пополняла дочь Харитона Кузьмича, возвращаясь из странствий и курортов, а старик все собирался камни шлифовать, но на моей памяти так и не выбрал времени.

...Леша Волгин не оставлял без внимания председателя Яшина с того самого момента, когда разбудил его во дворе церкви и сурово спросил:

— В каком звании войну кончил?

Яшин растерянно поморгал, застеснявшись, убрал под скамейку ноги в пыльных сапогах и ответил:

— Капитан разведки. Пехота.

— Я подполковник,— без улыбки сказал Леша,— поступаешь, капитан, под мое начало, и концы в воду!

Яшин тоже не улыбнулся, трудно встал и пошел с Титковым, впереди.

Так мы пришли к Титкову, и Леша, не раздеваясь, еще в коридорчике, спросил у Яшина:

— Что же случилось, капитан?

— Это — длинная история. Потом расскажу. Если коротко, так драться приехал.

— Полезен буду тебе? Я коммунист.

— Посмотрим, как дело обернется.

Титков снова из комнаты на кухню, позвякивал посудой, украдкой заглядывал на Яшина с испуганной жалостью, на Волгина же — со страхом.

Леша поманил меня в темную прихожую, дал сотенную и отрядил в магазин — приказал купить немного водки и закуски по усмотрению. Сказал, чтобы я денег не жалел.

Когда я вернулся, Яшина в комнате не было, он мылся. Титков, переминаясь, стоял в дверях кухни, Леша сидел на прежнем месте и разглядывал мундштук из кости с резьбой. На мундштуке были эскимосы, нарты с собаками и солнце в лучах. Титков, видимо, не находил смелости о чем-то спросить Волгина.

— Красивые у тебя безделушки, отец, добрая работа,— сказал Леша,— уважаю добрую работу.

— Кто ее не уважает,— рассеянно ответил Титков,— мало ценных вещей осталось у меня...

— Куда же подевались?

— Война была, Алексей Иванович. Ценные вещи на толкучке за картошку шли, за хлебушек.

— Война была, Харитон Кузьмич. Была, верно...

— Алексей Иванович.

Леша повернулся к старику, дожидаясь, что тот скажет дальше; он держал в руках кавказский кинжал в черных ножнах с серебряной насечкой.

— Почему вы с ним так категоричны?— Титков виновато поморгал и вытер платочком губы.

— С кем?

— С приезжим. Я же слышал ваш разговор. Человек на пределе, милостивый государь, и, по-моему, так негоже.

Леша бросил кинжал, поднялся немощно, опираясь на верстак, и шагнул к Титкову, который уже испуганно смот-

рел на него чуть сверху, с порожка кухни, и теребил полотенце, перекинутое через плечо. Леша встал перед ним, задрал голову и отрубил грубо:

— Ты вот за игрушки спрятался,— Леша показал ногой на макеты,— тебе так легче жить, а он, этот товарищ,— Леша кивнул на дверь в ванной, где шумела вода — дерется.

— Есть же предел ну... человеческим возможностям?

— Нет предела, коли драться полез! Не можешь — отойди в сторону, игрушки клей. А драться взялся — не должен иметь предела!

— Железные вы какие-то,— сказал Титков с печалью и скрылся на кухне.

Леша постоял, глядя под ноги себе, засмеялся и махнул рукой: нам, мол, не договориться, отец, разные мы. Он присел и задумался о чем-то, уперев локти в колени, и долго еще смеялся одними губами.

Харитон Кузьмич на кухне терся о стол и переставлял тарелки.

Из ванной вышел Яшин, поискал глазами зеркало и стал зачесывать редкозубым гребешком, какой нашелся в доме, пегие от седины волосы. На нем была косоворотка с перламутровыми пуговицами, короткая и узкая в плечах, пижамные штаны в полоску и шлепанцы на войлоке с розовыми бобончиками у взъемов — дамские. Наверно, титковской дочери. Он смахивал сейчас на забитого недоросля при бедных родителях.

Титков осмотрел председателя со всех сторон и загоревал:

— Малое все, да? А у меня и костюмы хорошие есть. Тоже, значит, не годятся, да?

— Сообразим что-нибудь, Харитон Кузьмич! — весело успокоил старика председатель, — это не печаль. Смену белья прихватить не догадался — на день ведь ехал, ну на два, а выходит — на недели.

— С легким паром! — вставил я.

— Спасибо, Федюня. Будто снова на свет народился, будто Христос по душе босиком пробежался. Благодать, право-слово!

— С веничком бы еще?

— С веничком бы не мешало. Но с веничком — дома.

Это дома,

Титков раздольным жестом, как трактирный служка, (на согнутой руке полотенце, ноги крендельком), с поклоном (мелькнула плешь во всю голову, задымленная наивным пушком), пригласил откусать. И стол он нарядил как следует: груздочки в тарелке, тонко, до прозрачности, нарезанный сыр, селедка в кольцах лука, белый и черный хлеб по вкусу, у каждой тарелки справа — нож, слева — вилка, водка в хрустальном графинчике, хрустальные же рюмки бочечками, в фужерах — пиво, две бутылки нарзана в жестком ведерке горлышками врозь, наливка полынного цвета, настоящая на каком-то алтайском корне, «весьма полезном для здоровья».

— Да ты, отец, мастак! — удивился Леша и широко повел руками, — мастак, ничего не скажешь! Удружил, спасибо.

Титков зарделся от похвалы, плеснул полотенцем и шаркнул ножкой, кланяясь:

— Прошу. Когда я один, ем наспех и без удовольствия, но для гостей рад стараться! Одиночество, милейший Алексей Иванович, удел старости. В моем возрасте у многих не бывает цели, которая красит человека, остаются в удел старости грусть и боль. Но, заметьте, и в старости тоже важно знать, для чего живешь. Насущная необходимость знать это. Я, между нами, проектирую, вижу новые города воочию, и в моих городах жить — отрадно. Я не опускаюсь, нет, я мыслю!

— Не опускаешься, а штаны не гладишь, — сказал Леша и засмеялся, — не гладишь. Это тоже удел старости?

— Да, если хотите. Замечание ваше, уважаемый мною

Алексей Иванович, принимаю, не обижаюсь и мотаю на ус,—Титков покрутил пальцем у губ и надел очки,—но прошу. Да воздастся сторицей тем, кто скрасил мое одиночество под этой крышей.

Яшин пить не стал и вздрагивающей рукой отодвинул рюмку.

— Боюсь, ослаб. И покудова при ясной памяти, прошу тебя, Федор, об одном одолжении. Дай сюда бумажку, какая ни есть, и карандашик хоть, что ли.

— Не пей, коли боишься, и концы в воду. Я тоже питок нешустрый.

— Так слушай, Федор.

Чем больше я слушал, тем меньше нравилось мне это дело.

Яшин же рассказал следующее.

Три дня он таскал папку с экономическими выкладками и важными колхозными бумагами—плод многих бессонных ночей—и пуще всего боялся ее потерять. Он чувствовал, что скоро может свалиться, а папку, не дай бог, подберет равнодушный прохожий или просто какой-нибудь забулдыга, тогда—конец, тогда заворачивай оглобли и хоть пешком, по шпалам, нашагивай домой и сдавайся на милость победителям! Нет. И Яшин захоронил папку в пустой ящик на тарном складе во дворе магазина совсем недалеко отсюда.

Честное слово, эти серьезные и взрослые мужики ведут себя иной раз ну чисто как дети: за какой надобностью, спрашивается, он прятал папку во двор магазина, неужто не мог придумать ничего проще! Помрачение нашло от болезни, не иначе!

Яшин покровительственно объяснил мне, почему именно предпочел тарный склад: во-первых, (он загибал пальцы) там в наличии сторож, во-вторых, тара свежая и заберут ее нескоро, в-третьих, кому и когда вздумается шарить по пустым ящикам? Вот уж что верно, то верно: и в большом городе такого идиота не сыщешь!



— А на дрова понесут?

— Не понесут! — легкомысленно ответил Яшин, — там же сторож.

Леша Волгин привычно заходиллся смехом, уголком платка убирал со щек слезы и качался на табуретке, всхлипывая.

— Дает разведка, ох, не могу!

Ему, конечно, потеха, а мне сейчас идти на склад и воровать папку (левый штабель, второй ящик снизу, на чем написано: «шпроты тихоокеанские в масле»). Сторож там — мордастый и нелюдимый дед, этот не дрогнет — всадит в задницу дробин, согласно инструкции, и прав будет: скажет, лез ночью, а почему лез? Известно, грабить.

Яшин нарисовал схему и стрелкой показал нужный ящик.

— Там дыра, сбоку доска отбита. Достанешь просто.

— А утром забрать?

— Ну да, утром! Я спать не буду, Федька! На что уж измотан, а спать не буду.

— Сторож же караулит.

— На самом деле, мальчишки, — вмешался было старик Титков, но Яшин не дал ему и рта раскрыть — он жестко уставился на меня. — Дрожь в коленках у тебя, Федька, мякина ты, не парень! — И повернулся к Лешке, который еще качался на табурете и постанывал: — смешного нет ничего. Нет ничего смешного!

Волгин притих, Титков же не мог управиться с нижней челюстью, и бестолково катал вилкой по тарелке груздочек пуговкой.

— И когда ты мужчиной станешь? — уже кричал Яшин и бил по коленям пустым рукавом косоворотки, — пойдешь, или я сам?

— Пойду, чего уж.

— Тогда быстро!

Титков дал мне плащ с капюшоном, электрический фонарик и проводил, как на войну: в коридоре, стесняясь, гла-

дил по плечу и вздыхал. Хоть один жалел и сочувствовал. И на том спасибо!

На дворе было темно и тихо, кое-где сквозь тучи прокальвались звезды; луна угадывалась по размытому пятну над головой. Дождь был робкий и нескончаемый, как вдовьи слезы. Лужи на дороге были плоские, белые и напоминали клочки бумаги. На голых кустах малины в палисаднике тлели круглые капли воды.

Я повернул к почте, прошел мимо автобусной остановки. Ноги раскатывались на мокрой брусчатке, как на льду. Я шел сперва посередине улицы, а неподалеку от магазина перепрыгнул канаву и укрылся в тени домов, чтобы присмотреться.

Здесь дороги пересекались: одна вела к центру, другая, наша — к Новому шоссе, и магазин — зеленый дощатый барак — стоял в аккурат на перекрестке. Я видел его торец. Сторож сидел боком ко мне, берданка меж колен, над его спиной, как в луче пыль, клубился мелкий дождь. Ворота двора, огороженного тесовым забором, позади магазина были открыты и слегка поскрипывали на ветру. Проскочить на склад ничего не стоило, и я смело перебежал улицу.

Из черного проема ударило в нос запахом прелого дерева и гнилой картошки, впереди смутно белела гора ящиков, под ногами хрустела щела. Я ненадолго зажег фонарь и пошел в темноту. Луна за спиной вдруг прояснилась, облила двор мигающим светом, нырнула за тучи и погасла.

Я присел на корточки, по самое плечо сунул руку во второй ящик снизу, как было приказано, а вытащить папку не смог: она была завернута в мешковину и в дыру не лезла, хоть ты тресни! Я примеривался и так и этак, тащил мешковину на себя, кряхтел, но ничего-то у меня не получалось. Я клал Яшина. Он, поди, сейчас цедит пиво и водит умные разговоры. Я завидовал тем, кто спит уже под стукоток дождя и смотрит добрые сны.

А, была не была: я дернул ящик, подхватил его, прижал к животу. Штабель грозно качнулся и рассыпался сверху донизу весь, меня ударило чем-то по шее и сразу — в лоб, твердо и сильно. Глаза на короткое время застлал туман, колени мои подсклились и обмякли. На трясках ногах я все-таки вывалился со двора, прижимая к себе ящик. От магазина, как ломовая лошадь, топал старик с ружьем наперевес. Я свернул за угол забора, прополз стриженные кусты шиповника, пробежал немного по хлюпкой, изрытой лопатами земле, еще продрался сквозь кусты, упал и покатился на спине по скользкой и холодной брусчатке. Катился далеко, долго и чувствовал, как под плащом копится и ползет к затылку мерзкая жижица.

Сторож верещал в милицейский свисток — звал подмогу и орал на весь околоток, что будет стрелять при сопротивлении и что он человек смолоду отчаянный.

Я поднялся на четвереньки, руки мои подламывались, со лба на губы и подбородок стекала теплая кровь. Внезапно стало светло: надо мной разбегались необъятно широко и множились кольцами зажженные фары. Я встал и подхватил ящик. Мимо тихо, как по воде, плыл автобус, плыли за синеватыми стеклами немые лица пассажиров. Я почему-то не особенно удивился, когда увидел за стеклами Наденьку Зимину. На ней был легкий макинтош и берет тарелочкой. Я заметил рядом нафабренную голову Владлена, белую стежку пробора в его волосах. Наденька уловила мой жадный зов, и мы встретились глазами. Я тянулся на цыпочки и без слов спрашивал ее: «Опять ты с ним, а ведь он жесток и не любит? Почему же ты с ним снова!». Она округлила рот, резко подалась к окну и хотела махнуть мне снятой перчаткой, но не успела: автобус уже прошел, вяло помаргивали рубиновые огни над задним бампером, стелился на дороге дым.

«Что же она подумает обо мне? Подумает, что пьян? Ну, и пусть!».

Было горько за нее и жаль себя. Как понять все это, свести воедино? Да и зачем понимать: я ревновал, чувствовал жар у сердца и тошноту. Настиг и преследовал меня запах тухлой селедки. Я достал папку, ящик и мешок швырнул через забор на половину отставного полковника. За шумели кусты, громынуло ведро и далеко, невнятно кашлянул черный дог Гастон. Я юркнул в титковский подъезд.

Старик Титков был назойлив, когда домогался истины. Он поднимал палец, клонил к плечу голову и оставался в такой позе до тех пор, пока не получал ответа, который бы его устраивал. Он надевал очки в роговой оправе, садился к Яшину на кровать и слушал, как ребенок, растворив рот, чтобы в определенный момент задать вопрос и потребовать полной ясности. Яшин пугал старика своими черкесскими, слегка навывкат глазами, в гневе бросал окурки на пол, но испугать не мог, и, смирясь, растолковывал сомнительные места до самой сути, тогда уже получал разрешение повествовать дальше.

Вот и сейчас председатель рассказывал, а старик мешал:

— Согласитесь, милейший Олег Порфирьевич,— сказал Титков очень деликатно,— вы хоругвь осквернили. Нет уж, извольте, вы были неправы.

Леша Волгин, улыбаясь, ходил по комнате и часто останавливался к нам спиной.

Яшин багровел от досады и сел на кровати: старик лип к нему, как банный лист.

— Я же совсем не о том, Харитон Кузьмич. Я же говорю: знамя— только предлог, последняя капля, которая переполнила чашу и так далее.

— Нет, вы неправы, уважаемый, вы осквернили хоругвь.

— Ну, осквернил, ну неправ! Разрешите продолжать?

— Извольте, ради бога: слушать вас захватывающе интересно!

Яшин некоторое время собирается с мыслями. Леша кладет локти на верстак и не подает голоса, он слушает, он умеет слушать.

...Три последних года наш колхоз держал знамя крайисполкома, присужденное за высокие надои молока. С тем знаменем колхозная делегация открывала в районном центре демонстрации в ноябрьские и на май. Многим представлялось, что так будет долго или даже всегда, однако нашелся другой колхоз или совхоз, где надои поднялись выше, первенства нам уже не присудили, и рассерженные начальники приказали Яшину самому везти и сдать знамя в Энск: ты, дескать, упустил завоевание, ты и хлопай глазами перед краем.

— У меня шкура толстая,— рассказывает Яшин,— ко всякому привык. Хорошо, говорю, отвезу сам и в крайком партии наведу— эта папка там полгода лежала, между прочим. Поеду, рассуждаю сам про себя, и правды добыю. А тут дружки-приятели на станции. Зашли к одному, выпили-закусили, да к другому... На вокзале уже компания провожала— ты да я, да колупай с братом. Чуть на поезд не опоздал. Ну, первым делом к проводнику: давай постель, спать хочу. Нет постелей, в прачечной на станции какой-то барабан сломался. Матрац, правда, с зубами вырвал, залез на верхнюю полку и не усну никак без подушки. Знамя под голову сунул и уснул.

На беду в этом же вагоне ехал некий деятель из крайпрофсофа и прямо с поезда, пока председатель брился в парикмахерской да распивал чай в столовой, побегал и капнул кому следует, ну а через день на бюро крайкома секретарь папку отложил в сторону и для затравки вопрос задал:

— Как доехали, товарищ Яшин?

— Ничего доехал, спасибо.

— Нам тут сигнал поступил, что в поезде постели не давали?

— Не давали постелей, справедливо.

— Спалось-то хорошо?

Тут Яшин догадался, куда клонит секретарь, и сказал, что не советовал бы товарищам, которые собрались на бюро, тратить по пустякам драгоценное время, что он предпочитает деловой разговор, и на серьезную тему. Его, разумеется, не послушали и подняли с места деятеля — говори! («а бельмастый такой мужичонка и росточком мал!»). Ну, тот и развернулся, изложил, как Яшин «знамя вместо подушки использовал», изложил, заклеил и от себя добавил, что вообще, по слухам, председатель колхоза «Пятилетку — в четыре года» позволяет себе слишком много и слишком много про себя понимает. Вспомнили и нарушения Устава сельхозартели, и строптивный характер... Да мало ли чего еще отыскалось!

— И должность моя — аховая: крутишься, как сорока на колу, ловчишь, бывает, и закон переступишь, не без того. Лишь бы не для своего кармана ловчил, для общества же можно и погрешить. Ну, короче, и ошетинился я на бюро: другие-то, говорю, лучше, что ли? Святые, да? На иконах, значит, их лики писать впору? Чепуха же! Вот приезжаю я к шефу на шахту. «Дай, друг, на зиму трактор — навоз вывозить на поля!». А он мне свое: «Выдели гектаров десять под картошку рабочим и по рукам ударим, на «нет» же и суда нет. А земля ж не моя — общая, народная, государственная. Имею я право этими гектарами распоряжаться? Не имею я права. Но распоряжаюсь выделит. Да. Или прошу у другого белил, а он мяса просит для столовой. Выписываю ему мяса... Вот так и живем.

Ну, первый секретарь и говорит мне: «Ты это оставь при себе, не маленькие мы тут собрались и в курсе. Ты по существу хочешь? Давай по существу». Сам подошел к окошку и рукой показывает: «Видишь, строим. За окошком — новые кварталы, улицы по ниточке тянутся, одна к

одной. «Вижу — строим, но мне лично это комфорта не прибавляет».

«Читал я твои бумаги, товарищ Яшин, занятно все это, но, извини, маниловщиной разят проекты эти. Вот ты начнешь в основном мясо и овощи производить, тебе это, видишь ли, выгодно. Хорошо и правильно, допустим, но кто же хлеб сеять станет?».

«Кому выгодно».

«Ты разве не знаешь, что у нас есть план, есть государственная дисциплина? Про города еще эти твои. Рано ты про города, бедные мы еще, не поднимем махину такую — Россию целую».

«У меня же расчеты. И не уйти нам от городов-то, иначе на селе путного ничего не достигнем. Рано или поздно, а начинать придется. На долгие годы эта программа, нам хватит и детям нашим останется в избытке».

Титков слушает Яшина с благостным выражением и лишь шевелит пустым мундштуком в губах.

Леша Волгин все ходит по комнате, спотыкается о половицы и не показывает лица.

«Кто же тебе мешает,— говорит опять секретарь,— строй на здоровье, коли деньга лишняя завелась».

«Мешают. Я не так хочу строить. Типовые проекты ни к черту не годятся. Серость. И дорого».

Титков кивает с готовностью: совершенно верно, в этом я вас, милейший, поддерживаю целиком и полностью.

«Самодетельностью тебе, товарищ Яшин, заниматься не дадим. Точка. Или что-нибудь неясно?».

— «Не точка, запятая. Я тут останусь и ждать буду Скворцова, хочу послушать, что Скворцов скажет еще». Леша останавливается и поднимает голову.

— Кто такой этот Скворцов?

— Из отдела сельского хозяйства ЦК партии. Он в прошлом году на пленуме крайкома выступал. Откровенный человек, смелый. Приедет на днях, а меня тут вот хвороба взяла, этого еще не хватало.

— А секретарь наш что?

— Что он? Поезжай, говорит, домой сейчас же, не бойтаться тут по ресторанам, уборка же идет. Доложат, что остался, силком в колхоз отправлю—на позор седине твоей, понял? И чего ты упрямишься! Не нам с тобой ломать порядки, власти мало у нас с тобой. Ступай.

Кто знает, может быть, секретарь крайкома и члены бюро собирались всего лишь пожурить председателя, но нашла коса на камень. Яшин хлопнул дверью.

— И дверью вы напрасно хлопнули! — Титков осуждающе блестит очками, поворачивается к Леше и ждет сочувствия, но по лицу Волгина трудно угадать, о чем он думает—он не осуждает, кажется, и не одобряет. Слушает, и только.

Яшин морщится, отмахивается от старика и не дает больше сбить себя с мысли:

— Вышел я из крайкома и размышляю: «Отчего же, думаю, такой я непутевый, за что же не везет таким, как я, на этом свете? Или мне больше других надо? Секретаря я не сужу, ему выше себя не прыгнуть. А я свое гнуть буду, раз и навсегда—дело решенное. Слышите? Пошел я со взводом на разведку через фронт. А наткнулись мы на деревеньку. У самой Волги стояла, на яру. Деревенька—как есть одни печные трубы, дымом обметанные. Одного деда только и нашли там. Да он и не прятался: сидит у костерка в нательной рубахе и картошку печет. Я к нему присоседился, папироской угостил, в разговоры пустился. А он молчит, «Ничего не оставил, сволочь!»—говорю. «Кто?». Немец, мол. «Вы отдали, немец взял». Так и сказал—«вы отдали». Несладко это слышать, а бодрюсь: «Ничего, назад возьмем!». «Может статься, и возьмете. Но что возьмете? Пустоту да дым горький? Кто же это все заново обживать будет? Легко отдали, обживете ли? На, картошку вот ешь, победитель». «Клянусь, отец, лучше прежнего все тут будет, мы города на разрухе этой поставим!». Он же ответил мне: «Я чужой век



заедать не стану, помирать скоро. И не увижу я ваших городов, сынок!».

Леша повторил задумчиво:

— «Легко отдали». Нелегко, но отдавали.

— Значит, и мне городов этих не видать? — спросил Яшин с какой-то детской жалостью и спрятал под одеяло босые ноги, — должен я их увидеть, вот!

...Первое время, когда Яшин лежал в жару, Леша появлялся у Титкова каждый день то один, то с Большим Семеном. Несколько раз с ними приезжал молоденький сухолицый доктор; от него стойко пахло больницей, тройным одеколоном и дорогим трубочным табаком. Доктор был важен, строг и быстро уходил.

Леша и Семен брали председательскую папку, передавали друг другу странички, исписанные рукой моего отца, и читали. Леша то и дело доставал из кармана логарифмическую линейку, подносил ее к глазам, точно близорукий, гонял хомутик туда-сюда, трогал нос пальцами и гнусаво тянул свою песенку. Диковинная это была песня, и до конца я ее так и не услышал.

...Ах, неужели лопнут шпоры,

шестерка не возьмет коней?

...Моя погибель неизбежна,

Уверен в этом твердо я...

Леша повторял эти слова с особым вкусом, по несколько раз, и начинал все сначала. Он закрывал глаза, думал и редко обращался к Семену, но всегда с одним вопросом:

— Разобрался?

— Не совсем, но вижу — крепко хватили мужики.

— Правильно хватили мужики! — Леша бил ладонями по своим острым коленям и закуривал, ломая спички, — государственно мыслят. Сказка, да? И ведь нет, не сказка, она на цифири стоит, и это тебе не куриные ножки: цифры — вещь упрямая, дважды-два все-таки четыре, и концы в воду!

— Далеко вперед забежали, слишком далеко.

— Назад пятиться уже некуда, Семен! А как здорово! Доживем мы до того?— он просительно заглядывал Семену в лицо, искал его глаза,— я не доживу, пожалуй, ты — доживешь. Ты и за меня порадуйся тогда, я требую!

Семен шумел носом, как мальчишка, и отворачивался:

— Да будет тебе, до золотой свадьбы дотянешь, жилистые долго живут.

— Зачем тянуть? Тянуть — не по моей линии.

Меня удивляло, что они мало беспокоились о больном и скорее ради формы спрашивали у Титкова, который все бренчал аптекарской посудой и угнетенно бродил по квартире — что-то искал, не находил и поругивал дырявую память:— Как там, Харитон Кузьмич?

— За благополучный исход не ручаюсь, товарищи.

— Затянул панихиду!— ворчал на старика Семен,— я бы на твоём месте дал ему стакан водки, лучше — спирта, да с перцем: продерет как стружкой, завтра же поднимется и в пляс пойдёт.

— Господи!— стонал Титков,— и вам его не жаль?

— Жаль, но он же разведчик, очухается.

И это шло не от равнодушия и холодной крови,— а просто они близко видели не одну смерть, сами месяцами отлеживали бока на тощих матрацах в прифронтовых и тыловых госпиталях, а человек ко всему привыкает, даже к своим страданиям, и уж тем более — к чужим.

Они изучали отцовские записи «Перспективный план развития сельхозартели «Пятилетку — в четыре года», на отдельную бумажку заносили вопросы, которые имели к Яшину.

По плану выходило, что колхоз через три-четыре года грамотного хозяйствования станет миллионером, что на центральной усадьбе в Березовке и других деревнях будет поставлено шесть скотных дворов из бутового камня, механический ток с зерносушилкой, передвижные станы-ва-

гончики в бригадах, гараж и мастерские при нем. На капитальное строительство объектов культурно-бытового назначения колхоз сможет постепенно и в общей сложности выделить больше пяти миллионов рублей.

Леша зачитывал из папки отдельные места — для меня и старика Титкова. «Поскольку, — читал он, — историческая задача партии состоит в том, чтобы в конечном итоге стереть разницу между городом и деревней, мы определили в недалеком будущем начать реконструкцию села, то есть создавать поселок городского типа со всеми его атрибутами».

Титков выслушал это и ударился в рассуждения, на первый взгляд, далекие от темы:

— План — это правильно, план — это цель, а без цели государство и народ суть корабль без руля и без ветрил. Мы строим города по типовым проектам, и города становятся похожими, как лапти или колеса. Традиции уходят, мимика городов стирается, проступает одна унылая физиономия, и зрю я, еще на моем, не столь уж длинном веку, Тмутаракань ничем не будет разниться от Бердичева, а Калуга, допустим, от Вятки. Я не утрирую, не злорадствую, я скорблю, товарищи! Нет, разумеется, я несколько утрирую, но прошу верить мне по сути. Истинный вкус и высокое понимание красоты воспитывает разнообразие, оно дает возможность сопоставить хорошее — с плохим, талантливое и нетленное — с бездарным...

Титков намеревался продолжать и дальше в том же духе, но Леша сказал ему, посмеиваясь:

— Тебе, отец, в привычку рассуждать много и красно, ты же интеллигент старой закваски, но и нам возвышенные мысли вовсе не чужды. Ты бы вот лучше взялся за дело, и концы в воду. Ты же талантливый, ну и сотвори нетленное.

— Я вас не совсем понимаю, Алексей Иванович? — Титков, шевеля губами, по капле отмеривал в рюмку ка-

кое-то зелье,— за что же я должен взяться, Алексей Иванович?

— Спроектируй председателю поселок, да такой, чтобы, ну, единственный, а? На свете единственный. И почему бы нет? Вот и сотрешь одну грань между городом и деревней.

Титков снял очки и беспомощно оглядел нас тусклыми глазами— вопрос застал его врасплох и простого ответа, видимо, не было.

— И я его увижу воочию? — после долгой паузы осведомился Титков,— я не совершил в жизни главного и большого, поверьте. Я несчетно раз падал, сколько оригинальных мыслей моих скушали архивные мыши, и я не привык к неудачам, не закалился, да! Не из того материала сделан, из какого вы. Я полагал всегда, что смешно отстаивать здравый смысл.

— Вот уж несколько и не смешно, Харитон Кузьмич. Несколько это не смешно! Ты отвечай конкретно: будешь проектировать или нет?

Семен слушал их, качал головой, похожей на тыкву, и громко дышал носом. Он не верил ни в затею Яшина, ни словам Леша, ни Титкову, он ни во что не верил и смотрел на них как на детей— с улыбкой взрослого. Я обижался на Семена за эту его снисходительную улыбку и оставлял для себя надежду— а вдруг да и сбудется! Они же сильные, умные, докажут свое!

— Увижу я воочию творение рук своих? — торжественно спросил Харитон Кузьмич,— вы гарантируете?

— Ничего я не гарантирую? — сердито ответил Леша,— как я могу гарантировать-то?

— Подумаю. Разрешите подумать, Алексей Иванович,— Титков, ссутулившись, пошел в комнату дочери и в дверях обернулся: — я напоминаю игрока перед решающей ставкой: риск велик, но и шанс— единственный. Я подумаю и объявлю вам решение.

— Разумею так,— сказал Леша,— лучше риск да шанс, чем ничего.

— Согласен. Но душевных сил моих не вернешь, Алексей Иванович. Они на исходе. Да.

## 25

Титков требовал, чтобы я говорил решительно обо всем, что взбредет в голову — он имел желание знать о нашем селе, о колхозниках, о людях все до мелочей. И он смеялся, как мне казалось, невпопад, хрипел горлом, и я боялся, что у него однажды лопнет что-то внутри и работа останется неоконченной.

...Титков с утра надевал потертую в локтях вельветовую толстовку того самого свободного покроя, которую мне так упрямо навязывал портной Моисей Саввич. Вокруг шеи бантом на грудь Титков повязывал черное шелковое кашне, прятал в верхний карман мундштук, пачку сигарет «Дукат» и садился за чертежный комбайн.

— Вы говорите, Федор,— просил старик, когда я приходил к нему после занятий,— я весь внимание, очень замечательно вы рассказываете,— и тут же забывал обо мне, подолгу думал, сложив на животе ладони, потом брался за карандаш, легко и быстро рисовал тонким штрихом на осьмушках грубой бумаги львиные головы, фасады домов с кариазидами и бросал осьмушки на пол. Бумага кося падала мне под ноги. Старик поднимал брови и разгибался.

— Начнем мы, Федор, с очага культуры. Ненавистно мне это слово — «очаг», но не в слове суть. Что такое деревенский клуб? Все: зрелище, досуг, отдых, спорт и так называемые массовые мероприятия. Отсюда и будем плясать. Да.

Я никогда до того не замечал, что руки у людей совсем разные, они — как лица: добрые и злые, умные и глупые. У Титкова были молодые, мощные и длиннопалые руки.

Они, казалось, приставлены к хилому телу от другого человека и живут сами по себе — ищут, томятся, торжествуют, мучаются. И эти руки несколько даже пугали меня своим аристократическим величием.

— Любой гражданин, — рассуждал Титков, — исключая кретинов, уважает красоту. Прекрасно! Мы построим ему такой клуб, в котором просто немислимо лускать семечки, плевать, стыдно быть небритым и носить мятую рубаху. Да. Мы еще построим ему дом, чистый и удобный. С этого и начнем.

Как-то в маленькую комнату к нам заглянул Яшин, послушал Титкова и сказал:

— Твоя правда, Харитон Кузьмич, не хлебом единым жить охота. Крестьянин наелся досыта. Этого мало, мир-то шире брюха. Истина, а внушить ее надо.

— Деньги есть, — ответил Титков. — Хорошо, и вкус к добрым вещам появится у них раньше, чем вы думаете, Олег Порфирьевич, — это не беда. Я дальше смотрю.

— Понимаю. Вполне понимаю. Делай, Харитон Кузьмич, я прошу тебя. Нет худа без добра, Харитон Кузьмич. При иных-то обстоятельствах навряд ли судьба столкнула бы нас.

— Пути господни неисповедимы, Олег Порфирьевич.

— Так-то оно так, но все-таки... Федор вам не мешает, толчется здесь сутками?

— Что вы, он мне аккомпанирует, у нас — дуэт, спелись, знаете. Содержательный юноша, должен вам заметить.

Яшин недоверчиво, с усмешкой, посмотрел на меня, шевельнул култьей в пустом рукаве: раньше, мол, я что-то не улавливал особой такой содержательности, вслух он, однако, ничего не сказал и заторопился уходить.

...Яшин встал с постели страховидный, остроскулый и неприлично носатый. Мало-мальски оклемался после болезни и завихрился — к нему вернулась неистовость и жажда действия. Он бегал в сельхозснаб — выбивал тех-

нику, удобрения, разный инвентарь. И делал это, таясь, потому что боялся пуще огня секретаря крайкома партии: «Не дай бог, проведает, что еще болтаюсь здесь, рассердится и накажет, он такой, он слов на ветер не бросает!». Яшин все дожидался приезда своего любимого Скворцова из ЦК партии, ну а попутно не забывал о колхозе. Время даром терять этот человек не привык. Заместитель его был в курсе, а остальное, он полагал, сейчас не так уж и важно. Он тоже принципиальный, он использует все возможности, чтобы после не упрекать себя в слабодушии и непоследовательности.

Я привык заниматься у Титкова.

Я раскладывал на подоконнике тетради и книги, писал тезисы по марксизму, читал, переводил с немецкого знаки. Титков за моей спиной поскрипывал стулом, громко выбивал окурки из мундштука в пепельницу, вздыхал и ходил по комнате. Забываясь, ягнячьим голоском напевал песенку, перенятую у Волгина.

Ах, неужели лопнут шпоры,  
Шестерка не возьмет коней?  
...Моя погибель неизбежна,  
Уверен в этом твердо я...

Эта треклятая песенка и у меня навязла в зубах, утомительно и тяжело ворочалась в голове и я не мог от нее избавиться — тоже пел то вслух, то про себя:

Артиллеристом я родился,  
В восьмой бригаде вырос я,  
Огнем, картечью крестился  
И я не знал, что есть пехота,  
И алым бархатом обвился,  
И не умел я водку пить...

Окно выходило в палисадник, и я считал ближние и дальние городские огни, видел луну, налитую латунным блеском, облака и черные мокрые заборы. Я временами чувствовал тревогу и вспоминал дом. «В селе уж пусто,— думал я,— народ в поле и на токах».

С крыш убраны подсолнухи, которые дозревали по теплу вверх восковой изнанкой, убраны железные печные листы с малиной, и за окошками появляются пучки спеющей рябины. Тайга издали рябая и скучная, как выбитый ногами ковер. Утрами, рано, на речке скот ломает копытами робкую еще залежь, она колется, звенит и, качаясь, уплывает в туман. Пахнет холодным камнем и увядшей ивой. Птицы снялись и летят на юг. Как дети, плачут журавли.

Сейчас стучали бы мои сапоги о комкастую дорогу и гремели бы, как ботала. Я бы отворачивал лицо от ветра, но шел бы и шел — мимо покотины с березовыми жердями, мимо амбаров сельпо к темному омутку, где и в половодье вода лежит стеклом, а желтый берег крут и даль видится неохватно.

...Титков роняет листки грубой бумаги на пол и сопит — у него что-то не ладится. Я молчу, мне не хочется говорить. Я начинаю понимать, отчего муторно на душе: я уже боюсь одиночества. Теперь мне слишком хорошо, потому что рядом интересные и дорогие люди, и я пока неотделим от них — радуюсь их радостям, болею их болью, но ведь так не будет вечно: они скоро уйдут, растворятся в бескрайности, как капли в море, я же останусь в четырех стенах с Владленом и Анастасией Федоровной в узком мирке, уже исчерпанном и бесполезном мне. В университете я так и не нашел своей компании, до сих пор держусь особняком из-за своей деревенской угловатости.

И Наденька. Тоска моя — Наденька Зиминая! Она грезится мне ночами, облитая зеленым светом, я вижу ее плечи, злые глаза в слезах. Я люблю, но бедой ее не воспользовался. Несладко любить так, и бывает ли хуже? Наверно, бывает, а если нет, то я на белом свете самый несчастный человек.

Я не стесняюсь Титкова и могу спросить его о чем угодно. И спрашиваю:



— Тосковать — это плохо, Харитон Кузьмич, это — слабость?

— Не тоскуют трупы. Живые тоскуют, Федор, без тоски человек пуст и жесток.

— А была у вас любовь, Харитон Кузьмич?

— Всенепременно! Я был страстен и трагичен, как мавр!

— И успех имели?

— Так не бывает, юноша, чтобы успех да успех. Это противоестественно.

— А когда нет успеха?

— Рвал волосы на голове, видите, совсем волос не осталось. Огонь души погас, и пепел разметал ветер. А если серьезно, то как сказать... Стенал и плакал, но перемалывалось, и была мука. Да. Одной любви на человеческий век мало, Федор. Так уж мы устроены. Любить надо открыто и честно, если веришь, что чувство твое — настоящее, самой высшей пробы!

— Спасибо.

— Успокоил?

— Нет.

— Советы бесполезны, мальчик: каждый познает этот суетный мир и делает выводы сам, но от одного совета не удержусь. Женщине может нравиться всякий, даже непутевый и порочный, но никогда не добьется настоящего успеха ординарный и скучный мужчина — ведь чувство нелогично, и женщина ищет необыкновенного. И еще совет, второй. Ни в коем случае не унижайтесь любя. Ни в коем случае, Федор!

Он словно угадывал, о чем я думал только что.

— Спасибо.

— На здоровье.

Титков сидел у комбайна дни напролет и однажды позвал меня на помощь — он не мог припилить полосу ватмана, склеенную из трех кусков.

Мы попятнулись от стены, одинаково сложили за спинами руки, чтобы полюбоваться работой.

Последние вечера старик вежливо отгонял меня прочь, когда я пытался хоть краем глаза заглянуть через его плечо. Он рисовал акварелью на этом самом ватмане и суетливо закрывал верстак синькой, когда слышал в коридоре шаги Яшина, и следил за мной, как сквалыга, и как-то даже показал мне на дверь: «Вы мешаете, Федор!». Я ушел, разобиженный и с мыслью никогда не возвращаться, но на другой же день Титков дотемна маячил в своем палисаднике, звал рукой, а я отказывался выйти и держал перед носом раскрытую книгу, чтобы показать, как занят. Старик же стоял у калитки лицом ко мне и был похож на мальчишку, который сломал себя и честно явился с повинной. Я покуражился, жалеючи его, и сдался. По молчаливому уговору мы не помнили зла и я снова отбил-ся от Кулагиных. Анастасия Федоровна была по-прежнему заинтригована моей новой и непонятной жизнью, но тайну мою открыть не могла, к тому же от этой цели ее отвлекал Владлен — он почти не ночевал дома, пил много и сознательно, словно казнил себя.

Мы стояли и смотрели.

На ватмане были сиреневые облака, зеленые горы, бледная полоска реки. Это — фон. Впереди же была черемуха в дивном цвете и здание — клуб. Он плыл меж облаками и землей, невесомый и призрачный. Клуб был в два этажа с мозаикой по стенам, и как-то не принималось всерьез, что в этом легком доме можно смотреть глупые кинокомедии, отплясывать гопака под гармошку и петь частушки. Между этажами, над парадным входом, был остро срезанный козырек, и тень от него падала на клумбы и асфальтированную площадку в газонах. Все это Титков изобразил размытой, приглушенной акварелью.

Мне иногда снятся цветные сны, в них такие же тихие краски, они струятся, как вода. Сны тревожат и обещают, я жду перемен и никак не дождусь. И я уже не верю этим

снам. Я рассматривал рисунок старика и тоже не верил, что такое может быть.

— Ваше мнение, коллега?

— Окон много,— ответил я невпопад,— у нас зимы лютые, воробьи на лету мерзнут.

— Рассчитано на паровое отопление, юноша.

— А где его взять, паровое отопление?

— Котельную поставим и для жилья, и для клуба.

— Тогда оно, конечно...

Титков показал мне чертежи и эскизы отделки внутренних помещений клуба. Старик, как я понял, хотел света, простора и отвергал каноны. Общественные здания в те годы строили с колоннами, в тяжелой лепке, с мрамором, дорого и помпезно.

Старик предусмотрел, кажется, все, отвел даже комнату для балетного и танцевального кружков.

— У нас же не город,— сказал я ему,— у нас танго под гармошку наяривают, нам не до балета.

— Ничего это не значит!— отрезал старик и насупился,— ничего это не значит!

С Яшиным он объяснился пространней:

— Неужели вы, председатель, не мыслите стратегически? Я разумею, вам приятно будет встретить на улице колхозную девчужку с нотной папкой под мышкой, а?

— Допустим, мне приятно будет встретить такую девчужку, но где я ей учителя достану?

— Нет ничего проще: пошлите своего талантливого гармониста в музыкальное училище или даже в консерваторию, да положите ему стипендию от колхоза, кроме государственной, да заключите с ним договор и укажите в том договоре, что вышеозначенный талантливый гармонист по окончании училища или, допустим, консерватории обязан вернуться назад, отработать стипендию и оправдать, как пишут в газетах, высокое доверие народа. Да. И что здесь необычайного? Опровергайте, если найдете аргументы.

Яшин сморщился и почесал затылок — так вновь была для него эта мысль, до которой он сам не додумался, а вот человек со стороны, бесконечно далекий от сермяжной деревни, вдруг говорит дело. Яшин только поиграл пальцами, выпятил губы, раздумывая, и сказал:

— У тебя, Харитон Кузьмич, немалый капитал в голове, излагай чуть-чего, а я на ус мотать буду: век живи, говорят, век и учишься.

— Чепуха, милейший, это не откровение, кто-нибудь это уже делает или предполагает делать. Чепуха!

Насчет клуба же Яшин выражался осторожно: его, по моему, тоже пугала эта недоступная красота. Он рядился, как ушлая бабка на торгах, покашливал, держась за сердце, и кручинился:

— Кота в мешке беру, Харитон Кузьмич, ты мне смету представь, хотя бы примерную, тогда и по рукам ударим, а до тех пор, извини, воздержусь. Слов нет, отменно ты это все изобразил — и облака в натуре, и черемуху, но покудова не осметишь, нету тебе моего согласия, уже не обессудь, пожалуйста. Да и в Госстрое проект утвердить надо. Это — не шутка. Иначе банк денег не даст.

Титков низко кланялся Яшину и вставал в позу трагика перед гвоздевым монологом:

— Я решительно отказываюсь с вами работать, вы вздорный человек и скряга!

— Э, Харитон Кузьмич, ты почему сердиться-то? Средства кровью даются, по копейке складываются, а как же! И не мои они, деньги, народные, вот что!

— Я вас, уважаемый, за язык не тянул, сами просили: проектируй, создавай. Я и создаю. И ничего сверхъестественного — натуральный модерн, архитектура недалекого будущего и не взял я бога за бороду. Клуб наш будет дешев, вы уж мне поверьте!

Они бы перепирались так бог знает сколько, если бы не Леша Волгин, которого, подозреваю, Яшин притащил

специально на смотрины, чтобы самому целиком не брать грех на душу. Волгин полюбовался проектом и сказал:

— Ах, какая прелесть!— и навалился на председателя:— Лапоть ты пыльный, тебе повезло, как дураку, а ты нос воротишь, деревня! Ах, прелесть какая!

Титков был польщен и торжествовал, не скрывая. Он осведомился у Яшина с ехидцей:

— Идем дальше, Олег Порфирьевич?

— Идем, отец. Полагаю, не ограбишь?

26

Я шел по улице, и вдруг заметил, что меня преследует коричневая «победа» — ползет у кромки тротуара, и к ее колесам липнут палье листья. Я обернулся, покрутил пальцем у виска — наемкнул шоферу, что его умственные способности на исходе, но «победа» не отстала. Лицо шофера я не мог различить в бликах стекла, но он-то отлично все видел, однако ехал по пятам. Это была странная игра. Я не сворачивал от кромки, не прибавлял шагу. «Победа» крякнула, как вспугнутая утка, обдала меня теплой едучей гарью и притормозила впереди. Открылась дверца, шофер высунулся по пояс, глядя на меня. Это был Семен Пара Гнедых. Я обещал машину, сел рядом с ним, вежливо сказал «здрасьте». Семен важно кивнул, тронул рычаг скорости, и мы покатили. Я откинулся на спинку и вытянул ноги. Старенькая машина была полна уютных звуков: шелестели колеса, в багажнике перекачивалось ведро или жестяная банка, с одышной хрипотцой трудился мотор. Я впервые чувствовал себя спокойно рядом с шофером такси — не надо было, слава богу, коситься на счетчик и перебирать в кармане трешки.

Мы взяли круто влево, миновали сквер, весь желтый и пустой. За оградой сквера голоногая девчонка кормила

хлебом голубей, отламывала хлеб от булки кусочками и крошила его между ладонями.

На перекрестке нас пережидал игрушечный дедушка с пеньковой бородой и воспитательница с выводком ребятишек в панاماх. Мы въехали в переулок. Здесь был совсем другой город, иная страна — из забытых сказок. По обе стороны переулка тянулись особнячки — помпезные и скромные, красивые, и уродливые, с венецианскими балкончиками, кариатидами, витой лепкой вокруг стрельчатых окон и голозадыми купидонами.

Я опустил стекло. Ветерок принес запах горького дыма. Где-то поблизости дворники жгли листья. Они сметают листья в кучки и жгут. Дым кострищ мечется в городской тесноте, бьется о камень и железо, а, истомившись, падает на землю и не тает, как на полях, — раскатывается комьями. Мы свернули в какой-то переулок. Семен позвенел ключами на пальце и вылез из машины.

— Будем обедать. Ты не торопиться?

— Свободен.

Столовая была в подвале, глубоко. Мы спустились в зал по тесной, в два витка лестнице и заняли очередь за пивом; пиво качал в закутке из бочки дюжий молодец в поварском белом колпаке. Четыре кружки Семен унес на подносе, вторым заходом на тот же поднос едва уместил четыре порции сосисок с капустой и горку черного хлеба в небольшой тарелке. Пиво исходило пеной, она свешивалась с кружек и падала на стол. Семен сдул пену ипил, не отрывая от меня глаз, пил, как лошадь — долго и одними губами, все круче запрокидываясь назад, пока не выдул все до доньшка. Тогда деликатно утер рот платочком.

— Вот так. Давно пива хочу!

— Тебе же нельзя, ты же за рулем?

— Смену кончил, в парк ехать.

Столовая пустовала в этот час короткого затишья, у лестницы несколько столов было занято, да у бочки толкалась небольшая шумная очередь. От буфета, натываясь

на стулья, пробирался к нам кудлатый человек в обвислом пиджаке и стоптанных сапогах. Он шел боком, уставясь в потолок. Человек этот остановился немного поодаль, провел ладонью по отечному лицу, закатал рукав пиджака и обнажил страшную культю в шрамах. Я готов был сделать все, чтобы не видеть унижения этого человека и, повинаясь безотчетному порыву, протянул ему кружку.

— Не трожь, не дам!— сказал Семен,— убери свои руки, ты? Или мои посмотришь? Где совесть твоя? Водка съела совесть?

Инвалид послушно опустил рукав и пошел от нас, так же натываясь на стулья.

— Почему не дал?— спросил я сердито,— Леша Волгин всегда дает.

— Алексей— статья особая, а я не умею за весь белый свет болеть, мне этого от веку не дано, нет таланта.— Семен поверх моей головы смотрел в спину инвалиду.— Ни к чему эта филантропия. Пьяница он.

Семен замолчал, тянул пиво мелкими глотками и покашливал, отрешенный от всего. Струя вентилятора играла его волосами. Волосы на его голове были редкие и просвечивали до кожи, как у старика.

Я много и жадно выспрашивал у бывалых людей о войне, и меня обижало, что для них война была только работой, связанной с риском и кровью. Они охотно вспоминали лишь курьезные случаи и молчали о подвигах, они с недоброй усмешкой смотрели фильм про войну, где стройно поднимаются в атаку, винтовки наперевес, и падают с широко раскинутыми руками, и перед смертью, перед роковой и неизбежной минутой тьмы и забвения, которое закроет веки и погасит мысль, красиво и молча прощаются с небом и березами, с необъятным миром, который остается жить в буйстве беспечной весны. В кино солдаты умирают чаще именно весной. «Неужели,— думал я,— война забирает все — и душу в том числе?».

Я искал в рассказах фронтовиков хоть бледные отро-

лоски возвышенного и не находил. Или мне не везло? Или между нами — стена и она никогда не рассыплется?

...Семен терпеливо ждал, пока я ел сосиски и тянул невкусное пиво с легким привкусом браги. Он не торопил меня, мял между пальцами папиросу, тряс в кулаке коробку спичек, вставал и садился, пока не нашел подходящее занятие — наблюдать через зарешеченное окно, которое было как раз на уровне тротуара, за ногами прохожих. Ноги тоже много открывали: молод или стар человек, спешит или гуляет, благоденствует или сводит концы с концами, весел или не в настроении.

Когда затихал вентилятор, через двойные рамы слышен был стук обуви — ноги торопились по делам, ноги плыли.

Семен вытянул шею, наблюдая, и раздавил папиросу в пальцах, мы переглянулись, он улыбнулся, сдул табак со стола и пожал плечами: забавно, представь! Я справился, наконец, с пивом и мы вышли из столовой.

— До скорой встречи, — сказал я, — пишите по старому адресу.

— Довезу, нам по пути.

Тем же переулком мы спустились на привокзальную площадь. Улицы были загружены транспортом, и Семен не спеша пробирался сквозь железное и чадное стадо машин, не отрывая глаз от дороги, расспрашивал меня о старике Титкове; он не видел его уже около двух недель.

— С изюминкой старикан, Алексей его любит.

Семену нравился проект Титкова, но он считал затею в принципе напрасной.

— Не сносить ему головы, — необуздан, таких через колено ломают.

— Так уж всех и ломают!

— И Алексей еще в бучу лезет. — Семен привычным жестом мазнул ветошью по переднему стеклу и бросил ее под ноги, — Алексей тоже шальной по натуре.

— Наверяд ли.

— Ты с ним что, пуд соли скушал? А я скушал. Вчера



их обоих по организациям возил,— Семен покрутил головой и коротко хохотнул,— Безрукий по счетчику уплатил. Я ему: обижаешь, не возьму, а он буркалы свои выпучил и чуть не в драку: бери, не то сей же момент уйду из машины! Алексей уже заставил взять. Моргает: не связывайся, бери. Он припадочный, что ли, твой председатель?

— Нервный он, фронтовик. И думаешь, напрасно они стараются?

— Если ни за что не драться, так и жить не стоит. Одобряю. Но ты прикинь: отчего же это нам, фронтовикам, всего через край выпадает, зачем доля наша такая беспокойная? У Алексея вон осколки в легких, доктора ему волноваться категорически запрещают, а как же, сам посуди, не волноваться. Мы за все в ответе, а почему?

— Не знаю.

— Вот и я не знаю.

Свет фонарей был еще слаб и не очерчен резкими тенями, искры трамваев напоминали зеленые снежинки, впереди завивалась кольцами синяя автомобильная гарь и стелилась низко, как метелица.

— Кончаю смену и катаюсь один,— сказал Семен, шуря на дорогу и не поворачивая ко мне лица,— как по грибы хожу. Тоже отдых. У нас на Рязанщине пропасть грибов.

— Там кто у тебя, на Рязанщине-то?

— Мать и две сестренки. Ради них и работаю, одному-то мне много ли надо.

— А жена?

— Она при родителях, чего ей...

Семен довез меня до самого дома и, прощаясь, сказал, что работает с утра, и если я желаю, он в определенное время будет дожидаться где-нибудь неподалеку от университета, и мы часок-другой вместе еще «пособираем грибы».

— Пассажир всякий попадает, устаешь...

Я вылез из машины и остался на улице.

Темнело. На разлатной липе молча возились птицы, из крана колонки, крутясь и подпрыгивая, падала вода. Проплыл мимо и скрылся за углом хлебный фургон, прогромыхала телега с пустыми молочными флягами. Бетонный кружок под колонкой блестел, как лед. У полковничьей калитки черный дог Гастон в широком ошейнике с медными бляхами наблюдал за мной с видом пресыщенного бездельника и зевал, растворяя пасть так широко, что можно было, кажется, заглянуть в самую его утробу и разобраться, как он устроен.

Со стороны рынка шел ко мне Владлен в расстегнутом макинтоше и шляпе набекрень. Шаг у него был мелкий, колени он поднимал высоко, как солдат на плацу. Снова пьяный?

— Здравствуй, холоп! — смеясь неизвестно чему, сказал Владлен, выгнул руку лебедочкой и поклонился.

— Нализался уже?

— Представь, нет еще! Удивительно, да?

— А по мне ты хоть на карачках ползай.

— И ты, Брут! Ты мыслишь себя человеком, но ты — никто. Ты — дырка в калаче. А туда же. Не обижайся, — он обнял меня, все улыбаясь, и потянул за собой, — сядем, Федор.

— Не хочу я сидеть с тобой!

Слова его задели, и я все-таки пошел за ним.

— Для красного словца говоришь или как?

— Нет, почему же, — Владлен равнодушно пожал плечами, — это правда. Ты рано постареешь.

— Отчего же?

— От душевной усталости. Ты многого ждешь, а по натуре пассивен и быстро разочаруешься в жизни.

— Зря ты так...

— Ты не хочешь иметь врагов, идешь околицей и не выигрываешь, а теряешь.

— Что же я теряю?

— Самого себя.

— Мудрено выражаешься, однако.

— До тебя не доходит? Дойдет со временем. Ну, в сторону философию. Письмо напишешь?

— Опять за старое! Он же в командировке или где еще?

— Приехал. Сейчас девять? Через час встречаемся с этим парнем, в ресторан зовет. Пойдем?

— Нет.

— Напишешь? Я уже выдохся, честное слово!

— Посмотрим...

— Вот и ладненько. Ну, я потопал. Некогда.

— Гуляй себе, человек без душевной усталости!

— А ты обиделся. И напрасно.

Да, я обиделся. Все хотели, чтобы я срочно переделался и стал хорошим, волевым и заимел благородную цель. Но цели, по-моему, не ищут, она однажды приходит сама.

...Владлен не ушел далеко — он встретил по дороге вдову Миронову, грузноватую, но в общем-то еще приятную женщину из соседнего дома. Вдова вела за руку девочку лет трех, удивительно похожую на куклу из магазина: девочка была в ситцевом платье горошком и белых туфлях, косы с гигантскими бантами у нее упруго торчали врозь, она была конопата, курноса и с голубыми фарфоровыми глазами. Звали ее Маришкой. Держалась она по-старушечьи рассудительно, не смущаясь, когда ее просили петь про елочку или же читать стих про лодочку (...«лодочка-молодочка, смоленые бока, хороша ты, лодочка, плаваешь пока»).

Владлен сел перед Маришкой на корточки с конфеткой в кулаке, вдова, наклонясь, видимо, уламывала дочь взять гостиницу от хорошего и знакомого дяди, на щеках вдовы Мироновой проступили маковины: Владлен наделил ее комплиментом. Он мастак насчет комплиментов.

Мать с дочерью долго еще оглядывались, Владлен махал им шляпой и улыбался.

Я крикнул ему:

— Подожди!

Неизвестно, почему сегодня, сейчас, я решился затеять этот разговор? Может быть, просто потому решился, что откладывать его теперь уже нельзя. Я оперся плечом на штакетник, ждал, закаменев, чувствовал тяжелые и глухие удары своего сердца.

Владлен закурил, переступая — он торопился и был недоволен задержкой.

— Вот что,— сказал я, не глядя на него,— ты над ней не измывайся, не позволю.

— Над кем, мальчик? — он рассчитывал по обыкновению отделаться шуткой, но сообразил, что узел я завязываю крепко, что шутить не намерен, и бросил за спину, далеко, начатую папиросу.

— Кого имеешь в виду?

— Наденьку Зимину имею в виду. Или ты с ней похорошему, или, учти, я тебя из шкуры вытряхну.

— Даже так! — он шагнул назад, заметно бледнея, нахлобучил шляпу до глаз,— даже так?

— И только так! Драться я не люблю, но тебя бить буду сильно, понял?

— Учту...

Над нами, резко выделяясь на темном небе, плыло сахарное облако, плоское и острое с одного края, оно напоминало утюг или пароход, от облака отделялись пышные хлопья и таяли, раздерганные ветром. Я смотрел на облако, не отрываясь. Владлен неожиданно положил руку на мое плечо, в нем не было зла, он потускнел и сжался, будто я его ударил, а ответить тем же ему не дано.

— Она тебе нравится?

— Это неважно.

— Это важно... Ты, Федор, прав, она заслуживает лучшего. Ты прав. Я ее не обижу больше и не презираю меня, не считай законченной сволочью,— он вздохнул и повернулся спиной ко мне, издали уже еще сказал громко: — Верь, Федька!

— Попробую. В последний раз.

Он кивнул и опять снял шляпу. Еще с минуту я слышал стук его ботинок о брусчатку.

В тот же вечер я написал письмо неизвестной Кикоть и послал его на главпочту без ведома Владлена. Я написал неизвестной Кикоть следующее: «Вас дурачат два лоботряса. Вы им не верьте, а письма их — рвите. Извините и до свидания».

Я запечатал конверт и мне вдруг стало грустно, я отчетливо увидел неулыбчивое лицо Наденьки Зиминной, ее глаза, задымленные синевой. Она уходила от меня дальше и дальше.

27

Семен заехал за мной лишь однажды, он спешил, был неразговорчив и гнал «победу» на предельной скорости, не сбрасывал газ даже на поворотах. Мы пересекли площадь Ермака, миновали сквер. Семен затормозил напротив темно-серого здания крайкома партии, выключил мотор и распечатал пачку «Беломора».

Дым наших папирос толчками уходил сквозь узкую щелочку между стеклами с моей стороны и взмывал, бледнея. Внизу, куда круто падала улица, надменно и глупо моргал светофор. Крыши были облиты трепетной киноварью — отражением солнца. Оно падало, увитое радужной короной. С утра в городе было ясно, а в лесу нынче совсем благодать: в рощах качается паутина и плывет медный перегуд, он сочится отовсюду, полнится и растет, как вздох далеких церковных колоколов, что зовут к отпущению грехов, как знак непостижимого.

— Айда в поле, Семен, а?

— Некогда в поле, некогда.

Сзади вдруг с обеих сторон и сразу в машине откры-

лись дверцы, я оглянулся и увидел кепку Леши Волгина и пегую голову Яшина. Председатель был в черном коверкотовом пиджаке и косоворотке с частыми пуговицами. Он не на шутку больно стукнул меня по шее твердой ладонью и закричал, как торговец с тряпичного ряда:

— Здорово, Федор, и ты здесь, давно, брат, не виделись, с морковкиного заговенья! Семену — наш общий привет!

Леша устало отвалился в угол машины, положил руки на колени и закрыл глаза. Яшин же елозил на сиденье, задевал мою голову пустым рукавом пиджака, кряхтел, открыто досадуя, что мы с Семеном не интересуемся, по какой причине он сам не свой. От него несло тройным одеколоном, он был пострижен «под полечку», побрит до тусклого блеска на щеках и выглядел хозяином жизни.

— Чем кончились хлопоты в казенном доме? — осведомился, наконец, Семен.

— Двинулись наши дела на данный момент, товарищи! — закричал Яшин, — не перевелись умные люди на свете, нет!

— Рано пташечка запела, — сказал Леша Волгин и зевнул.

— Прошу не портить настроение, Алексей, прошу тебя!

— Не буду, ладно.

— Излагай, Олег Порфирьевич, — попросил Семен. Он мягко стронул «победу», и мы покатали вниз — туда, где помаргивал светофор.

— По порядку и начну. Входим это мы с Алексеем к товарищу Скворцову. Крадемся, чтобы, значит, наш секретарь не увидал. А увидит — домой отправит, он же обещал. Он такой мужик.

— Кто такой Скворцов?

— Я же говорил тебе! Степан Афанасьевич Скворцов — заместитель заведующего отделом сельского хозяйства Центрального Комитета нашей партии, вот кто такой.

— Дождался ты его все-таки?

Семен, не поворачиваясь назад, качнул головой и усмехнулся молча, одними губами.

Яшин подробно обрисовал кабинет, где занимается приезжий и безусловно уважаемый товарищ Скворцов, подивился простоте обстановки.

— Ему благолепие подавай! — вставил Леша, — власть, она должна благолепие иметь — канделябры по золоту, кожаные кресла и всякое такое.

Семен засмеялся уже вслух, я же смеяться не посмел: мне-то Яшин в таком состоянии и не шутя даст по шее, с него станется!

— Могу я тут слово сказать или нет? — председатель округлил свои кавказские глаза и набычился.

— Ты, Семен, помалкивай, — сказал Леша ровным голосом, но с подначкой, — товарищ Яшин, он нервный, уйдет из машины, и концы в воду!

— А ну вас к лешему! — председатель тоже отвалился в угол, поспеял минутку, опять вскинулся, и, не смутясь нимало, начал с того, на чем остановился — его распирало, он не мог не говорить, и по детской простоте своей был убежден, что и нам поучительно знать, каков из себя замзав товарищ Скворцов, за каким столом он сидит, в каком сейфе держит папку с перспективным планом развития колхоза «Пятилетку — в четыре года», какой ручкой визирует директивные бумаги государственной важности.

Семен после долгой паузы и осторожно поинтересовался у Яшина, что же все-таки имел товарищ Скворцов по существу дела?

Что имел по существу? Одобрил план развития колхоза от первой до последней буквы, погоревал о том, что мы действительно еще плохо хозяйствуем на нашей богатейшей земле. Он обещал оградить Яшина от нападков и неоправданной кары при условии, конечно, если Яшин прав по существу и держался верного тона на бюро крайкома.

Скворцов — человек полностью свой и неравнодушен к доброму, тоже, между прочим, фронтовик и был конту-

жен в первые дни войны под Брестом. Он советовал, положила руку на сердце, как партиец партийцам: «Действуй на месте и без звона. Не получается — осади, получается — рви удила, пока можно. И заручись поддержкой колхозников: они выносят решения, ты же лишь выполняешь волю большинства, у нас колхозная демократия, наматал на ус? Вы снизу стучите, мы — сверху. Через два дня у речком явись, успею с кем надо увязаться, вместе подумаем о твоих проектах».

И такую Скворцов мысль подчеркнул еще: в общем-то дерзость твоя кстати. Делаешь ты все по-мальчишечьи, несолидно, но это — другая сторона дела. Нам нужно с чего-то начинать, инициатива нужна, чтобы можно было в удобной ситуации сказать людям: «Вы только прикидываете, с какого бока взяться, а некоторые уже работают на будущее, с дальним прицелом. И неплохо у них получается. Учитесь, товарищи, начинайте и у себя».

— Приятный мужик, чиновником от него и не пахнет, все понимает. Да сверху-то и видней, — Яшин взял из губ Леши папиросу и прикурил свою, — но тоже склонен думать, что бедные мы еще для того, чтобы замахиваться на города, их враз не поставишь, а думать о них — самое время. Прислали мне в прошлом году зоотехника, со средним образованием парень и неглуп, но явился ко мне и чуть на колени не упал: «Отпусти ты меня, не могу больше, я сапоги три месяца не снимаю!» Я годами, мол, не снимаю, так что с того? А он говорит: «Был я в городе на совещании, надел туфли и рысью по тротуарам бегал, так ногам легко было!»

— И отпустил?

— Отпустил. Этот хоть не ловчил, справки по болезни не собирал, но это уже не работник, на хрена он мне такой сдался!

— Бегут специалисты? — Леша снял кепку и снова закрыл глаза.

— Бегут...



— Печально.

— Конечно, печально! Вот вы же ко мне не поедете?  
Нет ведь?

— Шибко густо будет — инженеры и в колхоз, — сказал Семен.

— Почему же густо? — Леша подался вперед и зябко потер руки, — ничуть и не густо. Я над твоим предложением подумаю, Олег Порфирьевич. Воздух у тебя там свежий, как раз то, что нужно при моем-то здоровье.

— Не ко мне, так хоть бы в МТС.

— Да и кто его пустит, — Семен пожал плечами и покашлял, качая головой, — у него же диссертация на мази.

— Диссертации и сельские которые защищают иногда, разве в том дело.

— Вот именно! — подхватил Яшин и снова заелозил на сиденье, — по рукам, Алексей Иванович, это через крайком партии организовать можно?

— Не торопись, Порфирьевич, с женой совет держать буду еще.

— Не верится мне! — сказал Яшин и вздохнул, — не верится!

— Захотим — добьемся, — ответил ему Леша, — все в наших руках, Порфирьевич. МТС от тебя далеко?

— В сорока километрах всего.

— Соседями, значит, будем.

Семен всерьез забеспокоился, притормозил машину и, обернувшись, посмотрел на Лешу.

— Это ты твердо?

— Какие могут быть шутки? Наше место на линии огня, как пишут газеты.

— Твоими устами да мед бы пить! — сказал председатель. — Эх, и поработали бы мы! Славно поработали бы.

— И концы в воду.

— Да, в воду концы!

С той минуты и до тех пор, пока Яшин был в городе, он на разные лады и без усталости рассуждал о том, как

славно они работали бы с Алексеем и поднимали бы сельское хозяйство в забытом богом краю и показали бы неверующим и разным косным чинам настоящий стиль.

Леша не взял свое слово обратно и готовил почву в институте, хлопотал о назначении в деревню.

28

Последний раз я видел их вместе — Алексея Волгина, Яшина, старика Титкова и Семена — в конце октября.

Уже падала пороша и пятнами таяла на тротуарах. Стояло пустое и ветреное предзимье. Несколько позже наш круг распался. Они уже никогда не соберутся вместе — «иных уж нет, а те далече».

Яшин жил в городе на иждивении старика Титкова, и это угнетало обоих: брать трудно, а давать так, чтобы не унижить и не задеть естественное человеческое достоинство, трудней вдвойне. Написать же домой, пока не кончились хлопоты, Яшин опасался, потому что те, кто его искал, легко бы узнали его адрес и затребовали бы срочного выезда на место. В деревне ведь от людского глаза не спрячешься. Умно мог помочь бы, пожалуй, мой отец, но он, как нарочно, уехал в Новосибирск на долгосрочные курсы по усовершенствованию. Выхода не было, и я сказал Леше Волгину о тех деньгах, которые взял у меня Владлен на костюм и просадил в ресторане. Леша рассеянно кивнул, сразу же ушел и только успел вернуться, как в дверь Титкова позвонил Владлен. Он был в меру пьян и наряден, без разрешения сел и поманил меня к себе. Я почувствовал неловкость за него, он был здесь лишний, как пятно на чистом листе.

— Бери деньги, смерд, — сказал Владлен, — все наушничает? Я прощаю. Я все прощу — упреки, подозренья... — вполголоса пропел он и пальцами раскинул с колен на

стороны полы габардинового макинтоша, заложил ногу за ногу, округло поводитил новым ботинком, в котором я поймал свое отражение — голова моя была огурчиком и уши торчком. — Ты лукавый и коварный. Зачем письмо без меня отправил? Парень рвет и мечет, обещает морду мне бить. Но и предательство прощаю, я сегодня великодушен, — Владлен ботинком же показал на Яшина, — что за личность? Изгнанник рая или мелкий прохиндей с нашего рынка?

Яшин, Леша, Семен и Титков стояли спинами к нам и раскатывали на верстаке листы ватмана, похожие на огромных размеров сосновые стружки.

— Знакомец один, — меня по-прежнему брала оторопь перед этим злоязычным пижоном.

— Говорят «знакомый», но никак не «знакомец», это пошло и неграмотно. И вообще ты серый, как рябчик. Рябчики серые, да? Ну, неважно. О переселении душ ты не слышал, куда тебе в калашный ряд! Еще к Наденьке Зиминой подкатывается, смешно, право! — он поднял плечи и развел руками, как это делают официанты, когда отказывают.

— Заткнись. — Я был спокоен, я знал, что смогу ударить его. Наконец-то смогу и не буду мучиться. Он тонко угадывал каждое мое внутреннее движение и понял, что шутить дальше в том же духе опасно, и закрыл рот кулаком.

— Заткнулся, — лицо его вдруг стало добрым и грустным, — пересчитай деньги, мать, видишь, подозревает, что я не донесу сюда полной суммы, кабак-то за углом.

Я пощупал в кармане толстовки холодноватую и тяжелую пачку десятков в банковской упаковке и россыпь — рубли и трешки.

— Незачем считать.

— Спасибо за доверие, — Владлен поклонился мне одной головой и улыбнулся.

— Куда это собрался?

— В лес погуляти. Мать назвала сидящего перед тобой подонком в присутствии Алексея Ивановича Волгина, когда он весьма категорично потребовал с нее эти несчастные полторы тысячи. Не топчите, граждане, сапогами мою хрупкую конструкцию, не позволю! — Владлен посмотрел на меня трезвыми глазами и потер лицо обеими ладонями, — напрасно Алексей Иванович сам к ней за деньгами пошел. Зачем посторонних в наши дела мешать? Пойдем со мной, завьем горе веревочкой?

— Снова в оперу?

— Невосторженный почитатель оперы, но петь — люблю. По настроению. Хочешь, спою? В честь вот этих товарищей, — он указал рукой на согнутые у верстака спины. Я их глубоко уважаю, особенно Волгина, нашего бывшего секретаря и в недалеком будущем большого ученого. Это тебе не фанфарон и прощельга. Талантлив, прост, великодушен, не цепляется за букву. Личность! — Владлен говорил шепотом, наклонясь вперед, — хочешь, спою?

— Шел бы ты лучше куда идешь.

— Лишний я?

— Пьян. Алексей не терпит пьяных.

— А я спою! — Владлен поднялся, не спеша размотал белый шарф, постоял с закрытыми глазами, вздохнул, бледнея, и запел тихо:

Тройка мчится, тройка скачет,  
Вьется пыль из-под копыт...

Голос его после короткой паузы загустел, набрался глубины и покатился в полной своей мощи.

Колокольчик звонко плачет,  
То хохочет, — то звени-ии-ит...

Умел он петь! Я слушал, и росло во мне необъяснимое, тревожное ощущение полета; я летел с заолодевшим сердцем, задерживал дыхание, как во сне, после которого просыпаешься в поту, с криком и легкостью в теле. И я жалел его опять и не помнил зла. Жалел его, неприкаян-

'ного. Я не мог уяснить себе, отчего он без оглядки и со смешком даже рвется в болото, тонет и не принимает рук, протянутых для помощи. По какой причине он мечется и чего ищет?

Лист ватмана на верстаке свернулся, как береста, и шумно упал на пол.

Титков споткнулся, пятась, и схватился за сердце.

— Напугал, уважаемый, прости господи!

Леша и Семен смотрели на Владлена с одинаковым выражением безгливой скуки и не переменили этого выражения до конца песни. Яшин пожал плечами и ушел на кухню.

Владлен при полном и неловком молчании достал из кармана платок, вытер губы и кивнул Семену, когда они встретились глазами. Так здороваются противные стороны, соблюдая лишь этикет.

— Не нравится песня? — спросил Владлен с хрипотцой в голосе.

— Это вы напрасно! — ответил за всех Титков и вскинул руки, приседая, — вы, уважаемый, талантливы, и мне приятно, что живу с вами по соседству, весьма тронут! Весьма, да!

Леша поднял с пола ватман и снова повернулся к нам спиной, Семен курил у окна. Титков пригласил Владлена сесть и осчастливить дом своим присутствием, но Владлен лишь поклонился радушному старику с признательностью, и, переступая на месте, хмуро и просяще уставился в затылок Леше, пока Леша не обернулся:

— Что, Кулагин? Вопросы есть ко мне?

— Есть, Алексей Иванович, один вопрос: я неприятен вам, да?

— Да, — спокойно и ровно ответил Леша.

— Из-за денег?

— Отчасти.

— Ваше доброе отношение мне дорого. Вы не сердитесь, пожалуйста.

— Я на тебя, Кулагин, уже не сержусь, устал я на тебя сердиться, я к тебе равнодушен.

Владлен намотал шарф вокруг горла, пригладил на макушке волосы, сел и вытянул ноги.

Яшин стоял в дверях кухни с наклоненной к плечу головой, растворенным ртом и похож был на уличного зеваку.

— Ступай ты, Кулагин! — попросил Семен с досадой, — гуляй себе. У нас, знаешь, дела.

— Посторонним вход воспрещен? — Владлен криво и неохотно улыбнулся.

— Ты понятливый.

— С детства такой. Вы уж меня потерпите немного.

— И откуда такие берутся? Драться с тобой, что ли? — Семен фыркнул и сильно придавил в пепельнице окурочек.

— Вот на эту тему, если позволите, я и собираюсь просветить вас, — Владлен сузил глаза и неверными пальцами ощупал свой подбородок — откуда берутся такие, как я, — циники, тунеядцы, сволочи? Я никчемный и вредный. Вы ищите корни: откуда же это в нем, в таких, как он? Не злой аист меня принес, не в капусте меня нашли, таким меня воспитали.

— Хватит! — крикнул Семен, багровея. Он упер в бока кулаки и откинул голову, — хватит!

— Не мешай ты ему, — сказал Леша. Он стоял посередине комнаты, руки в карманах брюк, и все выше поднимал плечи, все выше поднимал брови, любопытствуя, но не волновался, как остальные, — не мешай ты ему, и концы в воду!

Владлен молчал долго, потом обвел нас поочередно неживым взглядом и вряд ли кого видел. Он обмяк и потупился.

За тесовым забором отставного полковника лаял Гастон, где-то неподалеку колотили молотком по жести, чинили крышу, на втором этаже безысходно плакал ребенок. Солнце скатывалось, и на запыленных стеклах смутно от-

печатались кусты, зубчатый штакетник и голова Корнеихи в платке.

— Я мать любил,— сказал Владлен и остановился, раздумывая, видимо, о том, стоит ли продолжать, и решил — тряхнул головой: — любил мать. Ее приглашали в нашу школу рассказывать о коллективизации и борьбе с кулаками. Я завидовал ее прошлому и гордился тем, что у меня такая необыкновенная мать. У меня есть еще и отец, я не теперешнего имею в виду, родной отец есть. Он был генералом войск МВД, веселый и добрый разгильдяй. Они с матерью из одних мест. Отец кончил военную академию, но академия ему культуры не прибавила — как был он первым парнем на деревне, так и остался. Мать натерпелась от него не дай бог сколько, я его ненавидел порой и однажды с вилкой на него бросился, руку ему поранил. Он не тронул меня, заплакал и сказал, как говорят наверняка все родители в подобных ситуациях: «Вырастешь — разберешься, кто прав, кто виноват, а я прощаю». Мать же искала другого, положила другого и со средствами. Она красивая была и нашла другого, а отца продала исподтишка, как торговка гнилой товар.

— На людях Анастасия Федоровна Кулагина — женщина с незапятнанной репутацией, бескорыстная жрица правды, но правды выгодной, своей, прирученной. Она поступит той правдой, которая может повредить ей.— Владлен низко согнулся на стуле, опустил между колен сцепленные вместе руки и глядел на Лешу исподлобья, не отрываясь,— я достаточно ясно выражаюсь?

— Популярно,— ответил ему Семен и пихнул ногой от себя оброненный кем-то коробок спичек.

— Видите ли,— продолжал Владлен с расстановкой, прислушиваясь к своим словам,— если подходить к факту только как к таковому и не заглядывать в глубину, то правым быть легко. Мать — умная женщина, не отнимешь, и ей вполне достаточно того, что лежит на поверхности... Запутался я, но вы улавливаете мысль?

— Популярно.

— Я мстил ей. Я не могу больше, я не способен на подлости,— Владлен поднялся, слепо обшарил стул и, подрагивая серыми губами, спросил у меня: — Я без шляпы был?

— Без шляпы.

— Хорошо. Вот и исповедался. Вы простите, товарищи. И вы, Алексей Иванович, вам я многим обязан.

— Чем же?

— Уважаю вашу неистовость, душевную щедрость и веру. Не гоните, как собаку, дайте мне вашу силу и чистоту. Я не хочу прожить напрасно, не хочу, чтобы на мою могилу плевали!

— Вот что. Силы просишь и веры просишь. Много же надо тебе,— ответил Леша, смеясь глазами.— Кто ты? По какому праву судишь всех? Ты не видел ни горя настоящего, ни слез, ни крови, но не умеешь радоваться. Я не сочувствую тебе. И страсти твои — грошовой. Ты придумал для себя трагедию и носишься с ней, чтобы подручной было вытряхивать мамины карманы.

— Но позвольте, Алексей Иванович.— Владлен наклонился вперед и прижал руки к горлу.

— Мы слушали, слушай и ты.

— Ну, хорошо. Слушаю.

— Ты нас судишь, всех судишь, а чужой каравай жрешь и еще любви от ближнего возжаждал. Дерьмо ты, и концы в воду! — Леша краснел пятнами, между твердо сжатыми губами у него прыгала незажженная папироса, — ты рассчитывал умилить нас исповедью этой? Так не умилил. Ты про доброго папу и злую маму в кабаках девкам рассказывай, тоже капитал приобретешь и девки рыдать будут на твоём плече, а нам недосуг, мы торопимся. Иди, непонятый и лишний человек. Ступай.

Владлен послушно направился к двери, поволок в ногах бордовый коврик и вдруг побежал. Он бежал по коридору,



бежал в подъезде, по двору. Бежал, наверно, и дальше без цели и мысли, покуда хватило сил.

Титков включил люстру. На улице еще не стемнело, свет от люстры был слаб, желт, но резал глаза.

— Выключи, отец, рано.

Титков щелкнул выключателем, закашлялся, содрогаясь, и сквозь кашель сказал:

— Напрасно вы, Алексей Иванович, оттолкнули этого юношу. Напрасно.

Леша забрался на верстак и покачал ногами, как мальчишка. Лицо его не смягчилось, скулы были напряжены и круглы, с переносья не сошла морщинка. Он избегал наших взглядов.

Я мог бы поддержать Титкова, но что значат для них мои слова! И Леша был чужим. Он говорил мне недавно и не помню, по какому уж случаю, что когда ссорятся двое, уступает мудрый, что надо уметь прощать, но не в ущерб совести. И доброта не бесконечна. Он не уступил Владлену, не простил его. Не уступит и не простит спустя время. Может, никогда.

Леша разглаживал на коленях газету, складывал ее замысловато и даже засвистел свою привязчивую и глупую песенку:

— Ах, неужели лопнут шпоры,  
Шестерка не возьмет коней?..

Титков вздыхал со стоном, как больной, и ходил от кухни до кровати, на которой дисциплинированно и тихо сидели Яшин и Семен.

— Что за парень?— полюбопытствовал председатель как бы между прочим: мне, мол, совсем неважно это знать, но все-таки...

— Кулагин, с нашего курса. Тоже дипломирует. Федька вон у них на квартире обитается,— Леша сладил из газеты лодку размером с добрый картуз, бросил ее за спину и потянулся,— парень по-своему колоритный, но

колоритней его мать, женщина волевая и цепкая, должен заметить,— Леша слез с верстака и отряхнул брюки.— Я все сообразить не мог, почему она так терпелива к своему сыну. Она, видишь, виновата перед ним. Единственный раз, может быть, подлой была и за эту подлость всю жизнь платит. Ее совесть гложет, а он ей на шею сел, недоросль. Сперва мстил за ложь и поруганную любовь, теперь, наверно, и сам редко вспоминает, с чего все началось. И запутался. Это естественно.

Яшин повернулся ко мне:

— Зачем живешь у них?

— Так общежитие ж не предоставляют!— я в два приема одолел это неуклюжее слово — «предоставляют» и споткнулся.

Яшин сердито поморгал и поднял культей пустой рукав косоворотки:

— Гордости нет в тебе, Федор!

— Справедливо,— подхватил Леша и пнул коробок спичек, который давеча пинал и Семен. Титков взял коробок с пола и поднес его близко к очкам, как диковинку,— он крестьянин, размазня и добряк по виду, но и сметлив: харч дармовой, спит удобно, а хозяев ради этого и потерпеть можно.

— Мать высылает на харч!— Я закрыл руками горячие уши и слышал, как шумит моя кровь.

За меня заступился Титков:

— Федора, пожалуйста, не трогайте, он порядочный юноша и с чистыми помыслами.

— Вот Лука-утешитель!— Леша засмеялся и похлопал старика по плечу,— у тебя, отец, все хорошие и с чистыми помыслами?

— Отнюдь, Алексей Иванович, и не утрируйте вы, я старый и мне неведома обидная ваша категоричность суждений.

— Завтра же собирай манатки и уходи!— закипел Яшин.— Отцу пожалуюсь. Переедешь? — наседавал Яшин.

Я кивнул, чтобы только отвязаться от председателя, и задал Леше третий и последний свой вопрос, который давно висел на языке. Я как чувствовал, что поговорить нам уже не доведется:

— Для какой же надобности ты с ним столько возился?

— С кем?— Леша остановился боком ко мне и круто повернул голову.

— А с Владленом?

Леша хотел, чтобы Владлен восстал против самого себя. Понял бы, что жить так дальше нельзя, и восстал. Ему пора своим горбом хлеб зарабатывать — не маленький. И отчитал его Леша тоже со смыслом: стань утешать, парень вовсе распояшется, начнет горе свое лелеять, а вина перед людьми давит, если ты ее вполне сознаешь. В общем, при всем при том, есть надежда, что Кулагин возьмется за ум, не совсем пропащий. Есть надежда...

— И концы в воду?

— Вот именно. Зажигай свои канделябры, отец,— весело сказал Леша,— у нас — дело. И чистые помыслы. Давайте работать.

29

Электрические часы за резной железной оградой университета показывали без четверти четыре. Стрелка на часах дергалась каждые две минуты, и каждые две минуты вздрагивал я. В киоске рядом продавали «Вечерку». По тротуару колесом ползла очередь, газеты хрустели в руках, как осторожные шаги по жести. Застекленная будка на перекрестке была похожа на стакан в подстаканнике, в будке смутно шевелился регулировщик. Стрелка дергалась, а троллейбуса все не было.

191

Я нагло ушел с профсоюзного собрания, и старосте группы, волоокой и томной Гане Демиденко, солгал, что опаздываю на телефонный разговор с горячо любимой бабушкой. Милая Ганя не могла знать про товарища Скворцова из ЦК, который обещал Яшину полную поддержку, а Яшин же на радостях затребовал из дома телеграфом большие деньги (опасаться ему было уже нечего) и пригласил нас шикнуть в лучшем ресторане «Москва».

— И ты, Федька, пойдешь,— решил председатель после некоторого колебания,— заодно уж. Одежонку купи попримочнее.— И вернул мне полторы тысячи.

Семен Пара Гнедых скатал в один хитрый универмаг, где директором был его земляк, и достал импортный костюм — серый, в искорку. К пиджаку прикладывался жилет, его фронтовики отвергли, как мелкий пережиток, и заставили, не откладывая, покрасоваться в обновке. Леши, правда, на смотринах не было, но Семен моим видом остался доволен, Титков нашел, что я даже красив и представительен, Яшин же дипломатично смолчал.

Костюмные брюки имели шелковый подклад на коленях, и этот факт был для меня полным откровением, тем более, что наш сельский портной Моисей Саввич, а он до революции обшивал в Красноярске семью генерала Талдыкина, не поминал в разговорах про шелковый подклад на коленях, и, значит, мой костюм был выше его вкуса и представления о настоящем шике. Вот почему я так нагло пренебрег профсоюзным собранием и не страшился кары, которая воспоследует.

Мы назначили собраться у Титкова в половине пятого. Командовать парадом и обеспечить все на ять назвался Семен — он повезет нас и все устроит на месте. Фронтовики, конечно, не уедут без меня, но кислых слов я наслушаюсь досыта, если задержусь,— они любят воспитывать, я для них вроде мишени, и по ней они стреляют без промаха.

Добирался я на переполненном троллейбусе, на Но-

вом шоссе пересел в автобус, от почты до квартиры Титкова пробежал единым махом, будто за мной гнались собаки, а все одно не поспел. Дверь в квартиру была открыта настежь, и старик, одетый для парадного выхода, в черной тройке и калошах, лежал на кровати, уставясь в потолок. У меня оборвалось сердце.

Старик вяло поднял голову с подушки и скрипнул калошами, этот звук был неприятен и вызывал озноб.

— Ушли, что ли?

Титков прошел мимо, держась за верстак, освободил горло от галстука, задумчиво взял на подоконнике камни, подержал их в кулаке на весу и разжал пальцы. Камни громко застучали об пол и раскатились по комнате.

— Где же все?— спросил я.

— Их нет,— ответил Титков,— на вокзале они, председателя провожают.

— Как же так?

Титков сел на кровать и старательно одернул на коленях глаженные штаны, вытащил из верхнего кармана пиджака мундштук, сломал сигарету пополам, но закуривать раздумал.

— Я правильно утверждал — она мельчает.

— Кто это?

— Мадам Кулагина. Опять в милицию обратилась: живет, дескать, у Титкова подозрительный тип. Да этого надо было ждать.

Я затратил много времени и сил, пока добился от старика толку.

В тот момент, оказывается, когда все были в сборе, явился милиционер — парень, что пробовал когда-то делить малину, и потребовал у Яшина документы. Поступило, сказал он, заявление, органы обязаны, извините, проверить, что и как. Милиционер несердито сделал выговор Титкову за нарушение паспортного режима. Яшину посоветовал как-то определиться в ближайшие двадцать четыре часа: или, значит, прописаться, или же «отбыть на

место постоянного жительства». Ничего криминального милиция не усмотрела, а настроение все-таки было испорчено. Леша сейчас же рванулся к Анастасии Федоровне и возвратился оттуда зеленый — смотреть страшно. Яшич решил уехать ночным поездом. Сели они на такси, звали с собой Титкова, чтобы отужинать на прощанье в вокзальном ресторане, но старик от этой чести отказался.

— Невесело мне стало, Федор,— признался он, тяжело вздохнув.— Невесело.

— Сели, значит, и уехали.

— До поезда еще четыре часа. Ты поезжай, успеешь. Они велели тебе передать так. Пока билет возьмут, то да се...

Мне тоже что-то расхотелось ужинать на вокзале. И — я не люблю провожать.

— За Алексея Ивановича боюсь,— сказал Титков,— очень уж плохо он выглядел — зеленый весь.

— А зачем ей это — в милицию жаловаться?

— Дура, прости господи. Злая баба.

30

Спал я плохо, с кошмарами, и проснулся рано.

За окном белела черемуха. Значит, ночью шел снег. В деревне у нас верят, что стоит разбросать по избе две—три горсти первого снега, и тараканы перебегут к злему соседу.

Белая черемуха звала, как призрак. В палисаднике заполошно чирикали воробьи, школа осветилась разом, как большой пароход на черной воде.

Почему я проснулся раным-рано? Было тревожное ощущение, что разбудил меня звонок. Я подтолкнул подушку на валик оттоманки, сел и прислушался. Отчетливо стучал будильник. Тишина. Но вот звонок в прихожей

звякнул коротко и захлебнулся. Владлен снова ключей не взял, алкоголик несчастный! Анастасия Федоровна теперь гневается в установленном порядке и встречать его не будет, хоть ты там зазвонись. Я скинул одеяло и полелся открывать.

Владлен был весь раздерганный и нездешний: макинтош нараспашку, шляпа набекрень, глаза широкие и пустые. Он мешком перевалился через порог, вытер ботинки о коврик и скромно шмыгнул на кухню. Ни речей, ни остроумия. Это что-то новое.

Я одевался, когда Владлен ударил в стенку кулаком: ты нужен, срочно!

Он стоял, привалясь к стене, с закрытыми глазами, и держал в руке полный стакан коньяку. И где он его находит? Мать прячет, а он находит. Всё играют.

— Алексей Иванович умирает, Федька!

Я не поверил: болтает спьяна. Как это — «умирает»? Леша всегда будет жить, — он нужен, без него нельзя,

— Пьяный ты?

— Ни капли в рот не брал, Федька!

— Говори.

С вокзала, после отхода яшинского поезда, Лешу прямым ходом отвезли в больницу. До операционной он еще дошел сам, отмахнулся от носилок и санитаров, а там уж рухнул и не поднялся — кровь хлынула горлом. Надежды нет.

— Там весь наш курс был, весь институт собрался.

— Он не имеет права умирать!

Владлен, не открывая глаз, вздохнул ртом, как дышат во сне.

— Дурак ты, Федька! Выпьешь?

— Нет, не выпью.

— Я выпью, тяжело мне. — С его ботинок натекла серая лужа, она была похожа на жабу.

— Легко — пьешь, тяжело — пьешь!

Владлен ошущью поставил стакан на стол.

— И я не буду. Поспешу туда. К нему один Семен прорвался, врачей раскидал и прорвался. Спешу, Федор! ...Вестибюль больницы был пуст. У лестницы с мраморными ступенями и малиновой дорожкой на медных прутьях дремала толстая нянечка в белой косынке и белом халате, как снежная баба, слепленная наспех. С круглого носа нянечки скатывались очки. Она не шелохнулась, когда я вошел, дверь на пружине толкнула меня в спину и загремела стеклами.

Малиновая дорожка струилась сверху, как кровь.

— Бабуся! Вчера тут одного товарища привозили, часов в семь вечера. По фамилии Волгин. Алексей Иванович?

— Я утром заступила, милоч. Регистратура откроется и обратись,— старуха зевнула и блаженно простонала, засыпая опять.

По лестнице, держась за перила, спускался к нам доктор, осанистый и с плоским лицом. Он слышал наш разговор и придержал шаг, будто каждая ступенька под его ногами была уже последней и лестница дальше обрывалась пустотой. Его рука опустила перила и сжалась в кулак. За спиной доктора зажглись матовые плафоны, и его фигура очертилась по контуру черной каймой. Он надвигался, как судьба, и топтал желтыми ботинками мою живую плоть. Я уже знал ответ. «Да не молчи же ты! Не молчи!» Я не крикнул ему этого, я почувствовал сразу, что перегорел, и самое худшее встречу, как мужчина. Этой утраты мне хватит на всю жизнь, и через многие годы она будет отдаваться во мне немалой болью. Мне будет недоставать Алексея Волгина. Его уже нет. Я пойду дальше, к первой утрате прибавятся другие, и к ним никогда не привыкнешь. Но я пойму со временем, что доброго человека боль делает богаче, злomu же сушит душу. Я научусь прощать, как он, буду помнить, как он, что все мы разные и каждый носит в себе особый мир, достойный безусловного уважения. Человек умирает и берет с собой невозполнимую часть вселенной, человек рождается и за-



жигает новое солнце. Удивительно! Это ему открылось раньше других, и он был велик.

— Он скончался,— сказал доктор,— еще вечером,— и пошарил руками по карманам.— Спички есть?

Я подал ему спички.

— Вас интересуют подробности?

— Да.

— Минутку.— Доктор скрылся за служебной дверью под лестницей. Нянечка дышала во сне тепло и шумно, как усталая лошадь. Наверху разговаривали и гремели ведрами: в больнице начиналась утренняя уборка.

— Я готов,— доктор был в пальто и тирольской шляпке, которая не подходила к его крупному крестьянскому лицу,— временем располагаете?

— Да.

Ночь еще не ушла, над городом висела близкая луна, снег таял и в стоках билась вода.

Мы пересекли широкую улицу где-то неподалеку от центра.

— Вы не завтракали?— спросил доктор,— извините, глупый вопрос. Вы кто ему?

— Знакомый.

— У него много знакомых...

— Много.

Доктор высоко поднимал колени и болтал локтями. У него была странная походка.

Я видел себя со стороны, я был тенью. Тень кружилась, вытягивалась и стиралась, пухла шаром и густела на снегу. Я был легок и пуст, я был чужд себе. И утро было не настоящее, нарисованное на заднике сцены, и город в дыму цвета спелого винограда тоже был выдуман, склеен руками старика Титкова из картона и папье-маше. Вместо снега я вижу вату, огонь в окошках — пятна охры, звезды — из фольги, луна — из медной жести, она зазвенит, если к ней притронуться. Титковские города пахнут гумирабиком и сладкими опилками. Я шел по бумаге и вате

вслед за доктором. Он тоже нарисован и склеен, чтобы улица не была пустой.

Доктор терся щекой о воротник пальто и говорил:

— Чудес не бывает, но этот Волгин пересек двор больницы по существу мертвым. Феноменально! Чем он занимался?

— Он студент.— Я говорил о нем еще как о живом.

— Феноменально!

Я тянулся за доктором, повторял его движения, будто мы были скованы цепью, и следом за ним протиснулся в кафе. Кафе только что открылось, и буфетчица в резной накрахмаленной наколке убирала с витрины вчерашние бутерброды. Мы выбрали столик в углу и доктор сел, уставясь на меня колючими глазами в припухших веках. Он не спал эту ночь. Лицо у него было некрасивое: нос — утиный, подбородок — обухом. Ему бы мясо рубить в лавке. Доктор, искал во мне, как в зеркале, отражение того, кто умер вчера вечером, так не хотел умирать и, мертвый, прошел сто метров по больничному двору, поколебалось, вокруг которой безотказно вращаются истины. Попытка доктора разгадать феномен была искренней, и я не обижался на него: то, что он называл организмом, надо звать человеком, вот и все.

Доктор взял бумажную салфетку из вазы, расправил ее кулаком на столе и почесал за ухом:

— Внимайте. Итак, сердце,— и нарисовал кошелек для мелочи,— дальше — легкие,— по обе стороны кошелька возникли листья клена, прибитые заморозками, и между ними — кровеносные сосуды веревочками,— вы, надеюсь, имеете элементарное понятие об анатомии?— этот доктор объяснялся со мной так, будто имел дело с ребенком. Он был мне уже неприятен, потому что станет рисовать легкие и сердце дома за чаем, коллегам на подоконниках между учеными заседаниями, студентам в аудиториях. Будет рисовать чернилами и мелом и академическим тоном станет рассказывать об организме, который не хотел

умирать, вопреки науке и законам природы. Он опишет этот феномен в диссертации на соискание... Всякому — свое.

— В правом легком закапюлировался осколок, другими словами, покрылся жировой оболочкой на манер личинки в коконе. Сравнение грубое, но не обессудьте. С таким ранением можно протянуть долго. Режим, покой, легкая работа. Никаких волнений. Исключено.

«Он успокоился насовсем,— думал я,— по-другому он не сумел найти покоя. Не мог найти».

— Осколок прободал легкое, стенку сосуда и достал сердце. Конец.

Доктор напрасно искал во мне хоть слабое отражение того, кто не хотел умирать. Я ушел из кафе, не попрощавшись.

Снег на тротуаре был усыпан апельсиновыми корками, будто оранжевая краска тяжелыми каплями стекала с кисти рассеянного маляра. Я прислонился лбом к фонарному столбу. Железо было холодное и шершавое, как береста. Я заплакал. Я плакал навзрыд. Сквозь слезы я видел пузатые дома, улица, дыбясь, бежала в небо.

— Ты плачешь?— глазастая девочка в красном берете тянулась на цыпочки, чтобы лучше разглядеть меня, на согнутой руке она держала корзиночку, а из корзиночки, как рыбина, выглядывал батон. Девочка была в том возрасте, когда сочувствуют не из любопытства, а по душевному движению. Она готова была заплакать вместе со мной и часто хлопала кукольными своими ресницами.

— Почему ты плачешь!

— Плачу потому, что лопнули шпоры и шестерка не взяла коней,— я потрогал пальцем ее холодный и мокрый нос.

— Беги домой, Красная Шапочка, носи свой хлеб.

— А ты что будешь делать? Я отнесу сайку и приду к тебе, хочешь? Что ты будешь делать один-то?

— Буду жить, ездить на шестерке коней и надену шпоры.

— Что попало говоришь! Платок у тебя есть или свой дать?

— Есть платок. До свиданья, Красная Шапочка.

— А как тебя зовут?

— Федором зовут. Беги домой, опоздаешь.

— До свиданья,— строго сказала девочка и засемила тонкими прямыми ножками в чулках. Издали помахала мне снятой варежкой.

— Ты не плачь, пожалуйста, дядя Федя!

Я бросал тряпки в чемодан как попало — я спешил уйти, пока дом пуст, уйти без ненужных разговоров, но Анастасия Федоровна появилась, как положительная героиня в современном спектакле, когда конфликт неуклюжей поступью доковылял до кульминации и добродетели торжествовать была самая пора. Она некоторое время молча следила за мной с улыбкой силы и превосходства, она еще не понимала, что все переменялось безвозвратно. Я кружил по комнате, обходя эту женщину и боясь взглянуть на нее.

Анастасия Федоровна положила сумочку на крышку пианино, сняла пальто и огладила руками волосы на висках.

Я заворачивал в мятую простыню свой новый костюм. Пришел Владлен, сел на оттоманку и закурил. Они, видимо, были вместе, у нас теперь мир перед началом новой и затяжной войны — по заведенному распорядку, который не меняется, как режим в палате тяжелобольных. Эти циклы стоит выбить на камне и повесить в переднем углу для памятки, чтобы стороны четко придерживались правил игры.

Анастасия Федоровна красилась перед зеркалом, и нос ее в профиль был плоский и белый, как бумага.

— Не пообедаешь с нами, Федор? Не составишь компании.— она еще иронизировала, еще надеялась на свою силу, на умение управлять мною.

— Кто тебя обидел? Владлен? И как я объяснюсь с твоей матерью?

— Напишите, что у меня воспалились почки и врачи советовали переменить климат.

— А без шуток? Я ведь за тебя в ответе, Федор.

— Баба с воза, кобыле — легче. Вы и без того перегружены ответственностью.

Владлен тряс коленкой и беззвучно смеялся.

— Ты нам не в тягость, Федор.

— Вы мне в тягость.

— Вот даже как! И чем же мы тебе не угодили?

Я налег на крышку чемодана и закрыл замок.

— Не пушу, не дури!

— Не ломай комедию, мать,— сказал Владлен,— он себя уважать перестанет, если останется. Вот ты и не заметила, что он начал думать сам и сам выбирает дорогу. Ему с нами тяжело. И он прав.

— Не пушу!

— Пусты нас, мать. Я тебя провожу, Федор,— Владлен грубо отпихнул бледную Анастасию Федоровну, и мы пошли гуськом, а на крыльце подъезда остановились. Я опустил чемодан, мы закурили.

На дворе было ветрено и голо. Под заборами ровной стежкой лежал снег. День был серый и холодный. Владлен согнулся и запахнул пиджак, скрестил руки на груди, он приплясывал, отворачивался от ветра.

— Простудишься.

— Ты звони. Деньги-то есть у тебя?

— Есть на первое время.

— Где жить будешь?

— Где-нибудь...

— Я тебя найду, Федор. Я тоже скоро уеду. Позже. Получу назначение и уеду,— он заглянул мне в лицо влажными глазами, он просил, чтобы я поверил ему. Мне было все равно, уйдет он из этого дома или останется, по крайней мере сейчас было все равно.

— Она мне мать, Федор. И кое в чем я виноват перед ней. Ты уж прости.

— Ничего...

— Наденька Зимина все о тебе справляется. Мы... врозь с ней. Телефон ее дать?

— Ни к чему это.

— Как знаешь. Ну, будь, Федор.

— Прощай.

...Старик Титков долго не открывал, я уже думал, что его нет, но в коридоре, наконец, зашкрипели половицы и дверь нехотя распахнулась. Старик даже не посмотрел, кто к нему пожаловал и, кашляя, пропал в сумраке комнаты. Он ходил от окна к окну, ощупывал вещи, как слепой. Он щупал корешки книг, камни в коробке, столярные инструменты на полке. Вскидывал голову и прислушивался к чему-то.

— Я ухожу, Харитон Кузьмич.

Он вздрогнул и снова прислушался, будто ему кричали издали и слабым голосом.

— Куда?

— Не решил еще.

— Отчего же не ко мне? Я скучный старик, да?

— Не могу я здесь, Харитон Кузьмич!

— Не совсем мне ясно?

— После всего, что было, не могу жить здесь.

— Да? Вы были на похоронах, юноша?

— Был.

— Какой он?

— Не надо, Харитон Кузьмич!

— Не стоит, верно. Вы будете меня навещать, Федор?

— Обязательно, Харитон Кузьмич!

— Какой он был? Да, я уже спрашивал, и не стоит спрашивать. Но отчего же не стоит? Добро есть, зло есть и правда есть. Святая. И служат ей настоящие люди. И таких людей мало. Сегодня мало, завтра будет мало и, полагаю, всегда будет мало. А он был из настоящих. А я — чистоплюй. Я возомнил себя праведником и жил крохами. Я не гладиатор и не борец, но мог делать свое дело честно, но я не хотел запачкаться. А он преподал мне урок мудрости. Но поздно. Ах, как поздно! Умирать я буду с нечистой совестью, юноша. Умирать я буду виноватым. Поистине жалкий финал: хотел я судить, ибо судить легче и нет занятия благопристойней. Старый глупец: хотел судить, а умирать буду виноватым. Никто не скажет, что я подлец, но кого я защитил, кому помог, кого наставил? Пустота, эфир, дырка в калаче.

Старик присел на корточки, открыл шкаф, достал круглый футляр из картона и понес его ко мне на вытянутых руках.

— Я кончил проект, Федор. Возьмите.

— Куда я с ним. Может, позже когда?

— Нет, сию минуту возьмите! Завещаю. Так строить будут, лучше строить будут. Мы слишком торопимся, а всему свое время. Терпение, мой друг, терпение, юноша. И работа! Да.

— До свиданья, Харитон Кузьмич.

— В добрый путь, юноша, — Титков вдруг перекрестил меня щепотью — неловко, суетливо и отвернулся, — благославляю. Это — по-старинному. Меня отец так благославлял.

Минуло еще два месяца.

Жизнь моя катилась в прочной колее. Я свыкся с городом, с университетом. Правда, я еще скучал по дому, но лишь изредка и уже неглубоко. Я ездил

к Титкову все реже и реже. Старик круто переменялся, был скучен и таял на глазах. Мы больше молчали, и это молчание тяготило обоих. Я ездил в Военный городок, как на поминки, а это никому не доставляло удовольствия.

Яшин вскоре после такого спешного отъезда прислал телеграмму и следом — письмо. Он сообщил, что за самовольную отлучку получил партийное взыскание, а в остальном зажил без особых изменений и новостей, он писал еще, что выслал Леше Волгину барсучьего сала и меду и помнит о его слове приехать на село.

Я написал ему обо всем подробно и отправил посылкой титковский проект.

Семен Пара Гнедых (я так и не знаю его фамилии) закончил институт и уехал к жене в Грузию. След его я потерял навсегда.

...В ту зиму я часто ходил на лыжах. Университет имел базу неподалеку от города. База — двухэтажный домик у самой дороги, по обе стороны которой тянулся сосновый бор, а на взгорках, дальше, были березовые рощицы, и сквозь них виднелись заснеженные мягкие холмы, поля и крутояры. Я плутал по этим перелескам до сумерек и возвращался, когда на базе оставалась одна сторожиха — толстая и говорливая старуха. Я ей чем-то нравился, и она меня не бранила, как прочих, ворчала только, как мать, от сердца, уважала за то, что я живу один и не хожу растрепой, «соблюдаю себя в аккурате». Мы с ней ладили, словом, и я мог брать лыжи в любое время, без расписания...

Я оперся грудью на лыжные палки и наблюдал за снегирем.

Снегирь ликовал на тонкой березе — падал, трепыхал крыльями и поднимал в снегу радугу, он подпрыгивал на ветке и качал березу, он подставлял солнцу крутую оранжевую грудку и разевал клюв. Он был в ладу с этой жизнью, с этим небом. Ему не дано было знать, что такое смерть.



Я не переставал все время думать о Леше и сделал открытие: он не умер, а по капле оставил себя в людях, и частица его есть во мне, я берегу эту каплю и не дам ей растаять. Он не умер, не ушел как личность, разбился на тысячи осколков, и нас разделяет лишь полтора метра сыпучей земли. Я всегда могу прийти к его могиле, и он услышит мои шаги, потому что во мне есть он. И это не мистика: живые ведь — продолжение мертвых.

Снегирь скосил голову и посмотрел на меня с укоризной, будто я намеревался отнять у него это небо, это солнце, эту березу.

— Ликуй,— сказал я ему,— мешать не стану.

Я ступил в сторону от лыжни: сзади кто-то шел. Посторониться я не успел, за моей спиной засмеялась женщина. Я обернулся. Женщина тоже воткнула палки в снег и еще засмеялась.

— Здравствуйте, Федор. Долго же я вас догоняла,— Наденька Зимина смотрела против солнца и загоразивала глаза рукой. Из-под зеленой вязаной шапочки на плечи ей струились волосы, и они были чище и белее снега. Я выронил папиросу. От нее ниточкой, прямо, поднимался синий дым.

— Недаром я сегодня два счастливых номера высмотрела на автобусах. А вы?

— Я уже не ищу счастливые номера, Наденька.

— А вы возмужали,— она сняла варежку и протянула мне узкую свою ладонь,— я рада, очень рада! Я вас долго догоняла, сегодня — ваша очередь. Догоняйте же!

Лыжня блестела жарко и слепяще. Зимний день звенел, как старое серебро.

Снегирь вспорхнул и улетел боком, пропал.

Я пошел догонять ее.

# БАБЬИМ ЛЕТОМ

---

1

Городская улица оборвалась неожиданно, и трамвай завихлял среди картофельной ботвы. Слева и справа теперь были деревянные избы, впереди из тумана проступал мост, река под ним и серые крутосыры на другом берегу.

На остановке «Сады» трамвай покинул единственный пассажир — худой брюнет в легком костюме и вельветовой кепке с длинным козырьком. Брюнет посмотрел вслед трамваю, пересек шоссе и направился к побеленному двухэтажному дому, сельскому райкому партии. Райком имел широкую дверь под дуб и крыльцо со ступеньками на две стороны.

Молодой брюнет волновался, он сел на зеленую лавку у райкома, достал сигареты и закурил. Он не торопился подняться по

ступеням крыльца и открывать тяжелую дверь. Он почувствовал торжественность и важность этой минуты. Подумал: «Сейчас выпишут мне трудовую книжку, поставят в ней печать, на чистой и пустой страничке напишут «Принят на работу». До конца дней своих принят на работу, надо же. До пенсии принят на работу!» Парню не верилось всерьез, что когда-нибудь он будет стариком, будет опираться о землю костыликом и получать на почте пенсию, что когда-нибудь будет греться на парковой скамейке и играть с пионерами в шахматы. Когда-нибудь... Но ведь впереди целая жизнь, неодинаковая, нескудная, переменчивая. Это интересно — жить.

Райком был обсажен с фасада молодыми топольками, за деревьями, привязанный вожжами к телеграфному столбу, скучал изжелта-медный жеребец, запряженный в ходок с черными колесами.

— Статный ты коняга! — сказал брюнет негромко и сощурился от дыма сигареты, которую курил.

Жеребец прынул, ушами, прислушиваясь. Выпуклый глаз его рдел глубоким огнем.

— Ты молодец, коняга! Сила кипит в тебе, и ты счастлив.

Жеребец, звеня удилами, покивал точеной своей головой — так, мол, оно и есть, на жизнь не в обиде — и переступил копытами, попятился на всю длину вожжей. Из ходка посыпалось сено.

— Не балуй, милый! Мне кое о чем поразмыслить надобно, ты же отвлекаешь, потому что смотреть на тебя — приятно.

Из райкома тем временем вышли двое. Первым — парень, смахивающий на татарина. Он был в синем пиджаке, при галстуке и в полотняной фуражке. Второй — белесый, толстый и красный лицом, выглядел лет на сорок или чуть больше того. Толстый сразу направился к жеребцу, молодой же потоптался возле двери, влез в ходок и сел фертом.

— Поспешай, Иваныч. Почему на своей машине не едешь, Иваныч? У тебя же газик новехонький?

Толстый отвязывал вожжи и тихо ругался:

— Затянул узел, варнак, и не развяжешь.

— А ты поспешай, Иваныч!

— Не командуй, Вася, враз сброшу. У тебя тоже машина есть, так почему на машине не едешь?

— Занята моя машина. Поспешай, Иваныч!

— Я, Вася, лошадей люблю. Вырос с лошадьми. А этого промять надо, застоялся за зиму-то. Племенной рысак, орловский.

— Мне все равно.

— А мне не все равно!

Жеребец захрипел, вскинулся на дыбки, ударил оземь копытами и повернул на дорогу. Толстый на ходу рыхло свалился в ходок, гикнул: колеса застучали по гальке с пересыпом, на асфальте стукоток приглож, ходок легко обогнал трамвай и затерялся сразу на городской улице.

Брюнет встал с лавки, широко растворил дверь райкома, ступил через порожек в прохладные сумерки.

Стены вестибюля сплошь были завешены диаграммами, плакатами и фотографиями передовиков. Березовский район с годами увеличивал валовой сбор зерна, имел переходящие успехи по молоку, мясу и яйцу.

На втором этаже приезжий нашел табличку — бронзовые буквы на черном фоне — «Редакция газеты «Ударник полей» — и снял свою тяжелую кепку с трепетом, как верующий у врат храма.

Редакция занимала две смежные комнаты, первая была пустая, во второй за большим столом сидела женщина с миловидным лицом и писала, скосив плечи. Вошедший поклонился ей и сказал:

— Я — Гурий Лопатин.

Женщина некоторое время беспомощно моргала, краснея, — искала, видимо, в памяти, кто же такой Гурий Ло-

патин, ей было неловко, что никак ничего не вспоминается, она ответила на всякий случай, краснея еще пуще:

— Очень приятно. А я редактор этой газеты Серафима Никитична Жоголева. Садитесь, пожалуйста.

Гость сел, сведя колени вместе.

— Вам обо мне звонили? Из обкома партии?

— Так это вы!— женщина засмеялась и положила на стол желтую ручку, которой писала,— наконец-то! Ответственный секретарь в партшколу уехал, зама нет вообще, и я вот уже три месяца сама макеты делаю, представляете? Я очень устала, Гурий.., как вас по отчеству-то?

— Михайлович.

— Гурий Михайлович. Представляете?

Он не представлял, конечно, но он хотел бы помочь ей хоть сейчас же, сию минуту, не сходя с места, что называется. Он хотел работать, но он ничегошеньки не понимал в сельском хозяйстве.

— Я, признаться, не из селян. Городской я...

— Ничего, освоитесь. Было бы желание.

— Всю жизнь в районной газете работать не собираюсь, если честно, но и бежать тотчас же не намерен. Некуда и незачем мне бежать. Я вообще-то человек любопытный. Мне все интересно.

— Это хорошо. Спасибо, что честно сказали.

— Свое отработаю, не беспокойтесь.— Он заметил, что глаза у нее разные: левый — зеленый, чистый, на правом же рассыпаны желтые крапинки, и потому, наверно, было в ее взгляде какое-то затаенное озорство. Лопатин вытащил из кармана документы — паспорт, диплом, направление и комсомольский билет.

— Хорошо,— сказала Серафима Никитична и подгрестила рукой ближе к себе стопку документов,— я сейчас к секретарю райкома, пока он здесь. Пусть примет вас.

— Это обязательно? Я робею перед большим начальством.

— Обязательно. Кадровые вопросы без первого сек-

ретаря не решаются, он хозяин в районе. Вы пока газету нашу полистайте, что ли... Я быстро.

Практику два раза Лопатин проходил в областных газетах, так уже получилось, хоть и районная газета в программе тоже бы полагалась, но в районке мало платили, потому студенческая братва, стремясь подзаработать, не питала особой привязанности к низовой печати. Начинать же свою трудовую деятельность судьбой назначено отсюда. «Ничего, может, оно и к лучшему, кто знает...»

Газета как газета — «Ударник полей». Сероватая, правда, верстка скучная, пожалуй. Стандарт районного масштаба. «И на темы морали пишут. Все на тему морали пишут». «Петли Григория Степановича Петлина». Статья под таким заголовком (четыре колонки сверху донизу) помещалась на третьей полосе и живописала моральное падение заведующего клубом совхоза «Память Ильича» Григория Степановича Петлина. Живопись была злой и подробной. Автор, В. Цыбин, писал о том, что весной (основные события разворачивались еще весной) поют соловьи, что весна по праву считается порой любви, однако лирика и прочие тонкие чувства — удел молодежи, а не женатого человека, отца двоих детей, мужчины, на висках которого седина. Это уже не любовь, это блуд в чистом его виде, это разбитая семья, осиротелые дети, поэтому Григорий Степанович Петлин, убежавший темной ночью в дом вдовы, должен быть осужден общественностью строго. Общественность уже имела беседы с Петлиным, призывая его одуматься и вернуться в семью, но Петлин с непонятным упрямством стоит на своем и при встречах с односельчанами не опускает глаз. Экая наглость!

«Да! — вздохнув, подумал Лопатин, — не жить в деревне этому самому Петлину после такой разоблачительной статейки. — Хана Григорию Степановичу, вечная ему память. Сживут со свету».

В. Цыбин в заключение требовал кровопролития, призывал партийную организацию колхоза «дать должный

отпор распоясавшемуся Петлину, для которого нет ничего святого...»

Вернулась Серафима Никитична и сказала, строго поджав губы:

— Идите. Ждет.

— Куда идти-то?

— Налево по коридору, там увидите.

В приемной толстая секретарша, не отрываясь от пишущей машинки, показала рукой за спину себе:

— Ждет.

Кабинет был огромен, он давил размерами и обстановкой, современной дорогой мебелью цвета бронзы. Только гнутая люстра со стеклянными висюлюнками, старая люстра, явно не вписывалась в ансамбль. Когда на пустыре перед райкомом громыхал трамвай, висюлюнки названивали нежно, будто китайские колокольчики. На воющем паркете желтело солнце.

Секретарь, дюжий, короткорукый, с седым ежиком и загорелым крестьянским лицом, держал возле уха телефонную трубку, хмурился и морщил лоб. Он никак не прореагировал на появление молодого специалиста Гурия Лопатина, глаза его были недвижны и пусты. Лопатин помялся перед столом и сел без приглашения, еще раз внимательней оглядывая кабинет. Пришла мысль, что в таком кабинете как-то нет места личному, здесь будет поневоле думаться только о делах государственных.

Секретарь райкома заговорил в трубку, сперва вежливо и спокойно, и тут же резко повысил голос, бросил карандаш, который до того держал в руке, на стол; карандаш покатылся и упал на пол, подпрыгивая.

— А я не согласен!— кричал секретарь.— Категорически, понимаешь, не согласен. Я вас пробовал понять, вы меня понять только не хотите. Рано посылать людей на картошку, рано. У вас план. Ясно. А картошку копать рано. Понимаете. Мы потеряем сотни тонн, он сейчас в клубень идет, картофель-то, понятно? Нет, так мы не договоримся.

Посылаете, двести человек посылаете? Я милицейские посты выставлю на дорогах и не пушу в поле ваши машины. Будете жаловаться? Жалуйтесь. Все!— секретарь шумно бросил трубку и тут же набрал номер по другому телефону.— Маслов говорит. Мне самого. Совещание? Соедините. Так. Павел Павлович? Маслов. Здравствуй. Вот тебе задание. Срочное, понимаешь. Механический завод решил направить на картошку двести рабочих. Рано. Верно, рано. Сейчас же выставь посты на дорогах и не пускай их машины с людьми. Не имеешь права? Почему это не имеешь права? Я приказал, действуй. Письменно тебе? Некогда письменно. Я от слова своего ни разу еще не отказывался, на меня сошлешься. И — без разговоров! Много разговариваешь, смотрю. Да. Сейчас же, иначе проскочат. Да. Действуй. Ничего не знаю. Да.— На этот раз секретарь трубку положил аккуратно и, отодвинув кресло спиной, нагнулся за карандашом. Лицо его побагровело от напряжения, он сопел и сердито шевелил бровями.

— Ты кто такой?

Лопатин привстал на стуле, кивнувши вежливо:

— Я направлен к вам в газету.

— Направлен, значит? Так. А зовут тебя?

— Гурий Лопатин.

— А по отчеству?

— Михайлович.

— Редкое у тебя имя, но русское. Коренное, понимаешь. Ну, и чем ты дышишь?

Гурий растерянно пожал плечами:

— Вопрос неконкретный. А вам попадет?

Секретарь удивленно вздел седые и кустистые свои брови, острые глаза его засмеялись:

— За что это?

— А за то вот, что городских задержите на дорогах? С милицией?

Секретарь острием карандаша слегка почесал затылок и покачал головой, удивляясь детской простоте этого



парня. Наметанным глазом секретарь Маслов определил, что парень не играет и спрашивает с искренним участием.

— Может попасть.

— И я так же думаю — попадет. Ради чего, собственно? Днем раньше, днем позже. Раньше, оно, по-моему, даже лучше, быстрее с уборкой справитесь.

— Ты выйдешь когда от меня, найди агронома и спроси у него, какой вес набирает сейчас картошка за день. Спроси. Нет, я сам скажу тебе: тонну на гектар в день. Понял? В районе десять тысяч гектаров картошки. Есть за что волосы рвать на себе?

— Пожалуй, есть.

— Так вот и живем. Ну, и чем же ты дышишь?

— Неконкретно это. И мы еще не познакомились с вами.

— Ты прав, Лопатин. Гурий Михайлович. Меня зовут Никифор Данилович. Фамилию мою ты слышал.

— Слышал. Очень приятно.

— Взаимно.— Никифору Даниловичу Маслову было на самом деле приятно говорить с этим странноватым парнем, который явился некстати, но как-то к месту. У Маслова было плохое настроение, он знал наверняка, что через часик-другой ему обязательно объясняться с обкомом, и сейчас он отдыхал душевно перед очередной схваткой, которая будет посерьезней руготни с заводским начальством.

— Ты, значит, конкретно хочешь. Хорошо. Как ты пришел к нам?

— Обыкновенно. По направлению.

— Университет кончил?

— Да. Свердловский.

— Хорошо кончил?

— Нормально.

— Село уважаешь?

— Не очень.

— И почему же?— секретарь опять вздел брови, удивляясь все больше непосредственности паренька. Другой бы смолчал или на худой конец отделался бы ничего не значащей фразой— все-таки с секретарем райкома разговаривает— а у этого никакой почтительности, но и наглости нет в нем. Маслов с некоторым огорчением подумал про себя, что отвык уже от доверительности, что сказывается в нем закоренелая привычка выискивать во всяком слове скрытый смысл. Он знал, что правду говорят лишь дети.

— Видите ли, я знаком с селом чисто в академическом плане, лекции экономистов слушал.

— И что же проповедуют экономисты?

— Те, которые пооткровенней, рисуют неприглядные картины, они говорят, что мы отстаем по всем статьям от Европы и Америки.

— Отстаем. Да. Но догоним! Нескоро, но догоним. Да. А ты лично догонять собираешься?

— Неплохо бы.

— Вместе будем догонять?

— Попробуем.

— Пробовать нечего, работать надо. Много работать.

— Понимаю...

— В твоем возрасте только два цвета различают, как правило,— черный и белый. Полутонов не различают.

— Пожалуй, верно.

— Не пожалуй, а точно. С чего начать думаешь в газете?

— Слабо еще представляю себе, Никифор Данилович. Мне трудно придется.

— И почему же?

— Я стеснительный, с людьми схожусь плохо. Не репортер я по натуре.

— Со мной вот ты ничего, ухо остро держишь, а я— секретарь, меня многие боятся и в этот кабинет на мяг-

ких ногах входят. А ты — ничего, сразу вопросы задаешь не по субординации.

— Извините, как-то уж вышло у меня...

— Ничего, я тебя прощаю.— Маслов засмеялся и покатал пальцами карандаш по столу.— Ты, как я понял, зеленый. Но я тебя все равно заставлю сходу нужное дело делать. Это мое личное задание тебе. Если ты мне понравишься, позже объясню свой великий замысел. Займись таким вот несложным исследованием, дорогой. Вникай в то, как у нас используется техника. Хлеб мы убираем быстро, организовано, можно сказать. Да и комбайнов в районе достаточно. А вот с картошкой и овощем — хуже. Техники еще маловато, да и та используется из рук вон плохо. Используется плохо, подчеркиваю. Причин несколько, а главное — на город привыкли надеяться, в городе, мол, народу много. Вот. Помощь нам, конечно, нужна, никуда не денешься, но ведь на бога надейся, да сам не плошай. Так?

— Так.

— Договорились мы с тобой, Гурий Михайлович. Чуть заметишь безобразия какие, звони, заходи. Ну, и в газете пиши — это уж само собой.

— Хорошо.

Пронзительно и длинно зазвонил телефон. Никифор Данилович понял, что звонят из обкома, и махнул Лопатину рукой на дверь: иди, иди! Секретарь Маслов не хотел, чтобы этот мальчишка слышал, как он будет сей момент объясняться с начальством.— Ступай!

Лопатин спешно пошел к дверям, спотыкаясь о ковровую дорожку. Он тоже все понял и жалел секретаря Маслова уже как своего и не мог представить себе этого крепкого мужика в роли ответчика или просителя. Лопатину секретарь Маслов понравился: крепкий, видать, дядька, здоров здоровьем земли, как любила говаривать университетская преподавательница западной литературы Нелли Викторвна Зуева.

— Когда же вас ждать на работу?— деликатно осведомилась редакторша Серафима Никитична.— И где вы остановились?

— На вокзале вещи оставил.

— Я договорилась с общежитием молодых специалистов, ладно будет? Так когда на работу?

— Да завтра, наверно, чего тянуть-то?

— Не отдохнете еще?

— Полтора месяца отдыхаю, хватит.

— Ну, спасибо! У меня в сельхозотделе один человек, в культуре тоже один, да еще и ответственного секретаря нет. Вот и кручусь, как белка в колесе. Устала очень. И машины у нас нет сейчас, на ремонт отпущена. С помещением плохо. Две комнаты райком выделил, две — сельхозуправление, там у нас бухгалтер сидит и отдел писем с архивом.

— Что же так с помещением-то?

— Раньше мы в райисполкоме занимались, а райисполком взял да и сгорел.

— Как это сгорел?

— Деревянный дом был, старый. И сгорел. Электрическая проводка подвела, ночью пожар начался.

— Печально...

— Нет худа без добра, новое помещение дали, его пока ремонтируют, вот и мыкаемся.

— Ясно.

— Сейчас я вас с Виталием Васильевичем Цыбиным познакомлю.— Только она произнесла эти слова, как в комнату, скрипя сапогами, вошел высокий дородный мужчина — типичный сельский интеллигент из кино, несколько поотставший от последних веяний моды. Он пристукнул каблуками, клонясь и протягивая руку. Был он в черной паре, белой рубашке и при галстуке. От него пахло одеколоном.

— Рад встрече.

— Я — тоже.

Виталий Васильевич сел напротив Лопатина, фамильярно навалился плечом на редакторский стол и повел расспросы о том, как обошелся с новичком Маслов и чему нынче учат в университетах? Сам он, как выяснилось, окончил пединститут в Новосибирске после войны. Учителем был в селе, был инспектором района, потом, не сразу, конечно, предпочел газету, потому как газета — дело живое и горячее.

— У вас получается, судя по всему, — сказал Лопатин, — я успел одну вашу статью посмотреть, про заведующего клубом. Решительно вы его, Петлина, кажется?

— Петлина, да.

— Решительно говорю, бескомпромиссно.

— По заслугам и честь.

Серафима Никитична любовалась Цыбиным. Чувствовалось, он здесь уважаем, как ведущее перо в расцвете сил и таланта. Цыбину было, пожалуй, за сорок, говорил он с Лопатиным покровительственно, даже несколько свысока. Только что по голове не погладил.

После светской беседы о том о сем порешили коллективно, что с неделю Лопатин поработает в редакции, в соседней комнате вместе с машинисткой (Что ж поделаешь!), а потом уж поедет в район добывать строчки.

На том и расстались.

Редакторша Серафима Никитична вручила Гурию бумагу — отношение сельского райкома партии, напечатанное на фирменном бланке, и велела идти к заместителю управляющего одного строительного треста по поводу устройства с жильем.

— Все согласовано, — сказала Серафима Никитична. — Маслов при мне звонил.

Заместитель великодушно выделил «товарищу из села» (так он называл Лопатина по телефону) отдельную комнату в общежитии молодых специалистов. Комната помещалась на пятом этаже в конце длинного коридора, напротив туалета и душевой. Было здесь тихо и сумеречно.

Пол, покрытый линолеумом и освещенный скудным светом забрызганных известкой лампочек, казался стеклянным. Гурий первое время все боялся поскользнуться, но скоро пообвык.

В комнате была электрическая плитка, стоявшая на двух кирпичках возле окна, круглый стол, кровать и шкаф для одежды с ящиками внизу и два стула.

Впервые в жизни Гурий имел свой угол, он гордился комнатой, жалел, что некого пока пригласить на новоселье. Расположился он у себя хозяйственно, ему захотелось тотчас же работать, писать, да вот только не знал, о чем.

## 2

Город еще не проснулся. На чистой полоске неба у самого горизонта плавилось солнце, на окнах, витринах, на тротуаре лежали его розовые отблески. Дворники, выстроившись в ряд, мели улицу. Шш-и-ир, шши-ир. Гурий вспомнил, что этот звук и разбудил его ранним-рано. Пыль, клубясь, напозала на деревья, вздымалась и закрывала солнце. Пахло окалиной и еще чуть, пожалуй, росой. Тонкий этот запах едва пробивался, он был слабый и чужой здесь.

Гурий Лопатин остановился на углу дожидаться автобуса, но ехать раздумал — было лишь начало седьмого, а за час с лишним можно было вполне успеть, если даже идти не спеша.

Гурий постоял на горбатом мосту в центре города, бросил в речку недокуренную сигарету, видел, как окурочек утопила набежавшая волна, улыбнулся и почесал затылок: почему это у человека обязательно возникает желание что-нибудь бросить в воду или хоть плюнуть, когда нечего бросить? За спиной Гурия прошел трамвай, и мост отозвался затяжным стоном, качнулись перила, качнулись

под ногами фермы. Мост, кажется, тихо стронулся и отчалил от пристани, как пароход. Улица, застланная тенью домов, была похожа на тоннель, вырубленный в камне. Кое-где над подъездами бледно и ненужно горели лампы. С березы поднялись воробьи, вспугнутые прохожими, круглым облачком, тесно, поднялись выше крыш. Так, наверно, летит дробь, выпущенная из ствола. Гурию приятно было идти и не торопиться. Он не привык еще к новому своему положению и настроен был торжественно. Все ему казалось в эти дни непростым и значительным, но самое значительное и важное было впереди. Лопатин шел медленно и примечал все, что творилось вокруг. Впереди молодая и статная женщина вела в детский сад крошечную дочь. Девчушка, одетая в красный шерстяной костюм и белую панамку, куражилась, плела ногами по тротуару и просилась на руки. Усатый дядька в сером казенном халате отпирал замок на киоске с надписью «Овощи — фрукты»; по перилам балкона на втором этаже купеческой поступью разгуливал голубь; на стенах домов плескалась рябая тень тополей. Впереди из трубы, загороженной крышами, поднимался белый дым.

Утро было сочное и ласковое.

У Лопатина минутами возникало такое ощущение, что живет он теперь на другой планете, большой и шумной, что попал он на планету по чьему-то веселому волшебству.

Но попал он сюда весьма прозаично. Из Свердловска Гурий приехал в областной центр N, не мешкая попал на прием к заведующему сектором печати обкома партии. Заведующий был молодой и веселый, он сказал, покуривая длинную сигарету, что область, куда приехал Гурий Лопатин, — уникальна.

— Тебе, повезло, парень. Я тебе объясню. По капиталовложениям наша область идет сразу за Москвой и Ленинградом, третья в РСФСР по значимости. Между нами: есть тут завод неподалеку, сказка — не завод. — Заведующий торжественно вышел из-за стола и крепко потер руки, буд-

то собираясь вкусно пообедать.— Выпускает этот завод такие вещи. Представляешь, панель четыре квадратных миллиметра, а на этой панели — сотни радиодеталей. Представляешь?

Гурий при всем желании представить не мог, да и сам заведующий не мог и заметно огорчился по этому поводу, огладив ладонями круглые и тугие свои щеки. Добавил, вздохнувши:— У нас много кой-чего еще есть. Металл, уголь, машины уникального устройства. Хорошо, что ты к нам, Лопатин! Поедешь ты, Лопатин, с моей легкой руки (у меня рука легкая) в Березовский район. Сельский район, но пригородный. Жить будешь, само собой, в городе. Квартиру со временем получишь и — дай тебе бог здоровья. Парень ты хороший, но лучшего предложить не могу. В деревне, как всегда, позарез нужны грамотные ребята. Как?

— Мне не выбирать...

— Вот именно. Редактор там — женщина. Милая женщина. Робкая, правда, ну так что поделаешь. Перспектива у тебя богатая, Лопатин. Дуй до горы!

«Вот и дую до горы!»— Гурий с улыбкой вспомнил шустрого заведующего и направился твердой походкой занятого человека в сторону автобазы металлургического завода, чтобы спросить там уполномоченного по вывозке хлеба и с первой же попутной машиной, которую найдет уполномоченный, ехать в колхоз «Красный пахарь».

Сварные ажурные ворота автобазы были раскрыты настежь, во дворе ревели разом десятки мотодов. Шоферы, словно наперегонки, выжимали газ до отказа и курили в кабинах, другие же ходили вокруг машин степенной поступью, опускались на корточки, изо всей силы пинали скаты.

Гурия заметил вахтер, дядька в зеленой шинели, при кобуре у пояса, потребовал «срочно очистить видимость».



— Стоишь тут, молодой человек, а чего стоишь?

После вялых препирательств вахтер позвал уполномоченного, тот вышел, наконец, и, отвернувшись, зевая в ладошку, послушал Лопатина, документы же смотреть не стал, сказавши, что шофер по фамилии Петухов направляется за зерном как раз в село Анохино и с ним можно ехать хоть сейчас. Гурий забрался в кабину старенькой машины, через несколько минут возник откуда-то шофер Петухов, парень с круглым и добродушным лицом. Он ничуть не удивился пассажиру, и они, благословясь, тронулись.

...За городом машина долго скреблась в гору. Сперва мимо тянулась тополиная роща, когда же подъем был взят, пошло жнивье и бурое дурнотравье — репей да ширица. Впереди лежала степь, лишь далеко и неясно угадывался взгорок, напоминающий солдатскую каску, на самой его вершине торчал геологический маяк. Распластанные коршуны словно вмерзли в низкое небо; навстречу бил ветерок.

Молчать наскучило, и Лопатин спросил у шофера Петухова, сколько верст набегала его колымага. Петухов бросил окурок в поле и махнул рукой: и счет, мол, потерян. Он елозил на сиденье, все не мог устроиться и кричал:

— Спина можжит, круглые сутки баранку кручу.

— А как вас зовут?

— Афанасий я.

Шоферу не хотелось говорить. Лопатин вздохнул и вытянул занемевшие ноги. Им попадались навстречу машины, груженные зерном — россыпью и в мешках. На зерне сидели бабы, укутанные платками, одинаковые — в фуфайках и сапогах. Раза два Гурий видел гусей в деревянных ящиках, бараньи тушки врозь ногами, прикрытые мешковиной. Афанасий Петухов часто притормаживал, перекидывался с шоферами словом, и в эти короткие минуты Гурий слушал кузнечиков. Их трель широко и плотно заполняла степь. Различалось дрожание слабо натянутых струн, звон медных тарелок, удары молоточка по наковальне. Гурий под-

ставил лоб ветру, пытался слушать еще, но слышать степь не давал мотор. Машина хрястко билась на рессорах, в кузове каталось запасное колесо, гремело ведро, притороченное проволокой к бамперу.

На дорогу то и дело забегали суслики и без страха встречали машину, потом поворачивались к ней спинами, похожие на мужничков, ссутуленных заботами.

Ехали они часа три, если не больше. Потом за поворотом проблеснула речка, обозначился мостик через нее без перил, но с новыми балясинами, и на взгорке показалось село.

— Это и есть Анохино,— сказал шофер.

Село лежало на изломе холма, избы вроссыпь катились по склону, их останавливал лишь овраг, по оврагу вилась речка. Ниже оврага была земляная запруда, за ней — озерцо, вытянутое каплей. Когда машина спускалась к мосточку, солнце коротко прынуло сквозь тучи, озерцо вспыхнуло белым огнем и сразу притухло, в его глубине застыла тень холма с избами и деревьями в огородах. На окраине села зажегся и тоже погас золоченый крест церкви, осталась на фоне серого неба ее лубочно-голубая луковина.

Шофер остановился возле амбара на сваях, какие рубили в старину купцы. У амбара широким кругом стояла толпа и никто даже не повернулся на звук мотора. Гурий выбрался из кабины и пошел к толпе. Он, наверно, слишком бесцеремонно оттер в сторону деда с длинным лицом и худой шеей.

Люди на поляне были строги, молчаливы, лишь молодой мужчина в черном картузе с лаковым козырьком и вислыми усами смеялся, выказывая бравым своим видом, что ему в общем-то на все наплевать с высокой горы. Гурий сперва обратил внимание на этого красивого мужчину, потому что он говорил и смеялся в полной тишине, после уже увидел лося: он лежал на утоптанной и мокрой земле, из-под него сочилась кровь цвета загустелой киновари и питала лужицу. Между задними копытами лося торчала бе-

резовая веточка, еще не схваченная осенью, листья на ней были сочны и яркие. Лось дышал затажно, с хрипом, временами поднимал голову и смаху опускал ее, ударяясь рогами о землю, рога мешали ему. На зубах лося тоже была кровь, она вилась по ноздрям и каплями скатывалась на траву.

— Почему он здесь? — спросил Гурий у деда.

— Напужался и прибёг, значит.

— И что же?

Гурий подумал, что, может быть, несколько минут назад свершилась подлость — чей-то выстрел оборвал жизнь. Уж об этом-то надо обязательно писать, и у него по такому случаю найдутся, черт возьми, самые решительные слова!

— Штакетником брюхо пропорол, да ногу, вишь, подломил, товарищ, — шепотом ответил старик. Он был в калошах на босу ногу, выскочил из дому опрометью, зяб теперь, но не уходил.

— Умирает?

— Не жилец! — старик, отступивши на шаг, воткнул куда-то поверх бороды, прямо в медные волосы, дешевую папиросу.

— Молодой еще?

— Годка на полтора, товарищ.

Ближе всех к лосю стоял толстый мужчина в лыжных штанах и пиджаке нараспашку; мужчину, кажется, только что разбудили и привели сюда силком. Он нагнулся и разгреб шерсть на ляжке лося, вынул из кармана пиджака желтую коробку, а из коробки — шприц. Толпа зашевелилась и слышно вздохнула. Парень в картузе затоптал окурок сапогом и двинулся прочь, расталкивая людей. Напоследок обернулся и крикнул:

— Данилов, ты скорую помощь зови, а вы, бабы, плачете, почему же не плачете?

Толстый ветфельдшер поднял шприц над головой и поворотился всем телом, отыскивая кого-то глазами.

— Бесплезно, Василь Петрович, пенициллин жалко, ей-богу!

— А ты коли и не жалеЙ.

— Но ведь толку-то никакого, Василь Петрович.

— А ты коли!

Гурий не сразу, но нашел того, к кому обращался ветфельдшер, и признал черненького, который с неделю назад утром появился на крыльце райкома, сел фертом в ходок и умчался куда-то. Он стоял руки за спину и следил за ветфельдшером, а тот с неохотой, морщась, вогнал животному между ребер иглу. Лось вздрогнул, напрягся, сделал попытку встать, но повалился наземь: он уже слышал мерные шаги смерти. Смерть мирила его с людьми. Лось хотел бы умереть один, но сил уже не было подняться и уйти за село, где зорькой желтел лесок.

На поляну вдруг выкатилась девчушка в пестром сарафане и платке до бровей и, спотыкаясь, подбежала к лосю, села у его головы, потрогала морду ладошкой и зашмялась:

— Он живой и теплый.

Гурий бросил плащ через плечо, шагнул из круга и опустился на корточки рядом с девчушкой. На него неотрывно глядел круглый и большой глаз лося, и в нем плавали влажные тени. Глаз уже тускнел.

— Все! — Гурий поднялся и стал искать по карманам сигареты.

— Царство ему небесное.

— На общественное питание заприходовать! — сказал кто-то начальственным голосом, — и разбегайтесь, колхознички, работа стоит.

Контору — она помещалась в пятистеннике с высоким крыльцом — Гурий Лопатин нашел сам: он держал направление на Доску показателей с зеленым верхом и не ошибся. В сенях Гурий на ощупь отыскал скобу из витой прово-

локи, потянул дверь на себя, и, ослепленный светом, ступил через порожек в комнату с покатым полом, сел на табуретку в углу, чтобы осмотреться, и толкнул плечом бачок с водой. Бачок качнулся, куда-то в темноту упала и покатилась кружка. Гурий осмотрелся. Стены комнаты были сплошь завешены плакатами. В конторе была еще комната, дальняя, и Гурий видел рябого, средних лет товарища, который то перебирал костяшки на счетах, то оставлял работу и благостно глядел в потолок, будто молился или, млея, ждал, что сейчас же внутри его заиграет музыка, а когда музыка заиграет, вполне уместно будет и удариться в пляс.

— Тебе что, молодой человек?

Гурий вздрогнул и рассердился даже, что ему не дают наблюдать за счетоводом и читать плакат о чесотке у крупного рогатого скота, он успел лишь ознакомиться с вводной частью, где обращалось внимание на неотложность профилактики этого опасного заболевания. «Интересно, у лосей бывает чесотка?» Еще Гурий, не откладывая, хотел бы просветиться насчет выращивания огуречной рассады в закрытом грунте и зеркального карпа в искусственных водоемах, а также насчет страхования личного имущества на случай пожара или стихийного бедствия.

— У вас дело ко мне, товарищ? — спросил человек из-за стола в передней комнате — тот самый, что отвязывал жеребца у райкома партии, скорее всего, председатель этого колхоза.

— Я из газеты.

Гурий ничуть не удивился, когда в контору вошел чернявый Вася, по-хозяйски пристроился к столу председателя и начал рассказывать о гибели лосенка. По его сообщениям, лосенка напугала рысь, он смаху вскочил в село и тут же очумел. Председателя рассказ несколько не тронул, он смолчал, а когда Вася кончил говорить, отодвинул от себя кулаком календарь и слышно засопел: у этих двоих были, видимо, не совсем гладкие отношения, они еще не закон-

чили перебранку, начатую, может быть, не сегодня и не вчера.

— Пороть тебя, Василий, надо! Отец покойный меня шибко порол. И на пользу,— с искренней тоской сказал председатель, он напрягся, и щеки его уперлись в воротник рубашки.— Хулиган ты и ничего больше!

Вася снял фуражку, бросил ее себе на колени и засмеялся.

— Наказали мы тебя, Иван Иванович!

— Не меня, колхоз наказали. Я эту арматуру и моторы эти Христом-богом в городе клянчил, с протянутой рукой стоял, аж вспомнить стыдно, мать вашу за ногу, оглоеды!

— Плохой ты, значит, хозяин, коли у тебя из-под носа тонны железа увели.

— Железо — по боку, ладно. А моторы почто взяли?

— Механик же твой видел, как брали, почему же не остановил?

— Механик. Чего механик? — председатель потрогал стакан с карандашами и сплел пальцы рук.

— И крыть тебе нечем?

— У этого механика и собственную жену уволоки из постели — не сморгнет: он рассеянный.

— Гони. В колхозе рассеянных не держат.

— Мы без сопливых разберемся. Вон из газеты товарищ нас слушает, он про тебя живенько сатиру настрочит. Из какой газеты?

— Из районной.

— А, из районной! — председатель Иван Иванович поморщился и сразу, напрочь, потерял интерес к Гурию Лопатину: похоже, масштаб его не устраивал.

Василий же тотчас встал и протянул Гурию руку:

— Будем знакомы. Я — Чалый, секретарь райкома комсомола. И почему я тебя не знаю? Серафима Никитична говорила, что направляют к нам человека, а я тебя не знаю. Комсомолец?

— Да, комсомолец.

— Я тебя в бюро райкома выдвину,— сказал Вася, как о деле решенном.— Ты университет закончил? Серафима Никитична говорила.

— Да, закончил.

— Нормально. Слышь, Иваныч, с университетским образованием парень, он тебе еще рога загнет.

— Они— бойкие ребята!— сказал председатель с некоторой даже завистью,— врать они здоровы. Одежка, брат, на тебе несерьезная,— добавил председатель, не поднимая головы от бумаг,— задожжит скоро, костями чувствую, а у нас земля жидкая, гражданин корреспондент. Я велю тебе сапоги выделить. Резиновые сапоги хошь?

— Не откажусь, спасибо.

— Какое дело до меня?

— Я должен написать о хлебосдаче... И еще — об уборке овощей.

— Ну и пиши себе о хлебосдаче, вам это просто — писать, нам вот только непросто здесь: день-то бьешься, бьешься, к вечеру и напьешься, а утром в голове камни катаются.

— Пойдем-ко мы с тобой по хозяйству,— Вася Чалый надел фуражку и громко потоптался на скрипучем полу,— айда, Лопатин, не будет мешать человеку. Транспорт дашь, Иванович?

— У тебя же своя машина есть.

— Есть, второй секретарь на ней катается.

— Сам транспорт достанешь — горластый.

— Сам достану, верно. Скоро у меня еще мотоцикл с коляской будет, во!

— На всех колес не напасешься, много вас шлындает.

— Серчаешь, Иваныч?

— Сержусь!

Гурий Лопатин хотел написать для районной газеты некое эссе о смерти лосенка и о потрясенных этой смертью людях. Лопатин представил себе, что лосенок родился весной у реки, в березовой роще. Когда новорожденный впервые с усилием поднял голову, он увидел за туманом солнце и услышал стук воды на перекате. Туман поднимался, и с берез падала роса. Лосиха стояла рядом, темная и большая, как облако, и дышала она теплом. Скоро лосенок поднялся и увидел сквозь завесь тайги реку, она была зеленая. В тайге пахло ромашкой, илом и водой...

— О чем пишете, Гурий Михайлович? — спросила Серафима Никитична, слегка краснея.

— Я хочу про лосенка написать. Лирический материал, Серафима Никитична. Очень меня потрясла эта сцена. Я вам о ней уже говорил.

Редакторша медленно пошла к себе, в дверях обернулась с усилием, постояла, глядя куда-то поверх головы Лопатина, и пожала плечами.

— Что, не нужен такой материал?

— С уборкой отстаем, Гурий Михайлович.

— Понятно...

— Мне про уборку строки нужны.

— Извините. Постараюсь. Но и для души что-нибудь неплохо бы, а?

— Для души — потом, Гурий Михайлович.

— Что ж, об уборке, так об уборке.

Лопатин с усмешкой подумал: «Не по сезону я воспарили. Зимой воспарять будем и лирику сочинять». Гурий, вздыхая, грыз ручку и смущал машинистку Любочку. У Любочки был узкий затылок в дымке волос и детская шея с ложбинкой; вела она себя, как послушница, которая в этой жизни отмаливает чужие и тяжкие грехи. Она, крадучись, подходила к окну, наблюдала улицу и сообщала Серафиме



Никитичне в другую комнату о том, что видела. Она говорила так: «Дождь опять, давно его не было! Быков приехал. Картошку вон уже копают, рано начали. Новый трамвай на маршруте, желтый...» Серафима Никитична выглядывала в свое окно, отмечала, радуясь неизвестно чему, что председатель райисполкома Быков действительно приехал, видела новый трамвай. Он был не желтый, оранжевый. Серафима Никитична хмурилась, когда дождь начинал стучать по жестяному карнизу, она думала о комбайнах, замерших сейчас у несжатых полос, о машинах с зерном, которые застрянут на проселках по пути в город, о небритых бригадирах и простуженных колхозниках.

Любочка несколько раз с утра вспоминала, что она теперь не одна в комнате, что за ее спиной сидит кудлатый парень, курит без конца и не сводит с нее пустых глаз. Любочка никла головой, косилась на Гурия через плечо холодным взглядом: чего, дескать, уставился, как баран на новые ворота, не замечаешь разве, что по этой причине не спорится у меня дело? Гурий же не замечал ее вызова, он имел в характере обостренное чувство долга и потому мучился. Серафима Никитична прилежно носила Любочке на перепечатку страничку за страничкой, а он бессилён помочь газете. Некстати, как всегда, в таких случаях, лезла в голову строчка: «Письмо от внука ждал Федот и принесли... за целый год!» Гурий вычитал ее на плакате. Там была нарисована улитка с усами, улитка волокла по дороге в гору почтовую сумку, ниже изображался дед Федот в ситцевой косоворотке в горошек (он сидел на лавке перед избой, курил трубку), перед ним висилась гора конвертов.

Плакат висел в молококанке на ферме. Там, в помещицкой комнате с русской печью, было душновато, вокруг печи были уложены фляги, они напоминали стволы пушек, наведенные на позиции. Вася Чалый понюхал фляги, ковырнул пальцем выцветшую резину на крышках и сказал важно, что на этой ферме, в передовой бригаде передового колхоза «Красный пахарь» работают когда-то передовые,

а сегодня — совсем отсталые женщины. Заявление Васи было встречено неласково, пожилая грузная тетка в шутку вроде бы, но и без улыбки занесла кулак над буйной Васиной головой. Вася же не дрогнул и добавил: в первой бригаде, когда-то передовой, доярки не моют фляги, а грязная посуда — это повышенная кислотность молока, что суть убытки в чистом виде. Вася указал на Гурия пальцем:

— Из газеты товарищ, он все изукрасит, он про вас фельетон напишет.

— Пушай сперва разберется! — загалдели доярки, — мы тут никак не виноватые! — они замкнули Васю в кольцо, молодые и старые, а Гурий присел на стул в углу, чтобы дать отдых ногам. Закурил, и пока курил, осматриваясь, прочитал сперва плакат про Федота, потом увидел большой кусок соли. Соль лежала на полке и была подернута радужной пленкой, какая распускается на воде от капли бензина. Пленка то яснила, искрясь, то уходила в глубину и пропадала. В дымке кристалла виделись тучи, шевелилась под ветром ива на берегу речушки возле фермы, виделась далекая и черная пашня, она вздымалась к небу. Гурий потрогал соль пальцем, она была мокрая.

— Это что? — громко и неожиданно для себя спросил Гурий.

— Лизунец это. Девки, кто грязную соль притащил, язви вас? — пожилая доярка, та, что грозилась ударить по голове Васю Чалого, взяла с полки соль и по-мужицки ловко, не целясь, кинула ее в открытую форточку, потом сняла с гвоздя полотенце и крепко вытерла руки. — Кто грязь сюда притащил?

Гурий успел заметить: соль упала на ворох сена. Подумал: «Нескоро еще растает». Вздохнул и сел опять.

Вася Чалый тем временем справлялся у чернобровой молодки в сером халате и красном платке, повязанном вокруг головы на манер чалмы, о самодеятельности, о членских взносах и каком-то железе. Вася сердился, Мария же, так звали крутобровую, кивала, сложив руки на животе,

деловое выражение на ее лице держалось с видимым напряжением. Вася часто дышал и, крепко наступая на доски коваными сапогами, вышел прочь. Он не попрощался, и доярки не осудили его за это: осерчал человек, ему не до церемоний. Гурий тоже направился к дверям, но Мария остановила его движением руки, подвигаясь ближе.

— Вы не будете писать про нас, товарищ корреспондент? Мы вот ни на чуточку не виноватые! — она показала Гурию кончик мизинца, защемленный между пальцами, — соды нет у нас. Моем фляги на три раза, а толку чуть, товарищ корреспондент. — Вы у нас новенький, да? Новенький, конечно! Я у нас таких не видела.

— Каких это таких?

— Интеллигентных, — в ее черных глазах была ласковая смешинка. — И красивых. — А лизунец, соль-то, я сюда принесла. Она горит, играет, правда ведь, товарищ корреспондент?

— Правда.

— Вы к нам еще приедете?

— Наверно...

— Приезжайте! И писать про фляги не будете?

— Не буду писать, — сказал Гурий и поклонился дояркам одной головой, — не буду.

— Вот и спасибо, парень. Спасибо, — пожилая тетка (у нее проступали усы над верхней губой, и зубы были черны, будто каленые семечки) подтолкнула Гурия к выходу: — Торопись, парень, Васька далеко теперича убежал. Горячий.

— Вы к нам чаще заглядывайте, товарищ корреспондент! — пригласила Мария певучим и ласковым голосом, — будем ждать...

Инструктор отдела пропаганды Виктор Доронин, майор в отставке, подтянутый и brave мужчина, просунул голову в дверь редакции и сказал:

— Лопатина — к Маслову!

Гурий не сразу понял, что Доронин говорит про него и что именно его требует к себе секретарь.

Доронин не прошел в кабинет, голова его торчала в двери и устрашающе вращала глазами.

— Меня, что ли? — Лопатин потыкал себя пальцем в грудь.

— Не папу же римского! Я же ясно выразился: Лопатина.

— Спасибо.

— Не за что.

Маслов сухо поздоровался и вытащил из тумбочки, стоявшей справа от кресла, толстую тетрадь в красном дерматиновом переплете.

— Итак, — сказал он вразтяжку и строго поглядел на Лопатина из-под очков, наморщив лоб. — Докладывай.

— О чем докладывать, Никифор Данилович?

— О том докладывай, студент, как в колхозе «Красный пахарь» работает техника, как используются, в частности, картофелеуборочные комбайны? Их в колхозе десять, учти. Новеньких, заводская краска на них не обсохла еще, студент.

— Молодой специалист, Никифор Данилович.

— Ну, мне некогда!

Лопатин смущенно заерзал на стуле. Нельзя сказать, чтобы он не интересовался тем, как работает техника в колхозе «Красный пахарь», он даже видел в поле такой комбайн, и вправду, новенький. Картофельная ботва с краю поля была срезана и лежала кучкой сбочь, у черной дороги. Возле машины, напоминающей диковинных размеров бочку на колесиках, грачиной походкой вышагивал худой механизатор в солдатской шапке и меланхолично заглядывал в узлы машины, постукивал по железу гаечным ключом. Звук получался чистый и разносился далеко.

— Сломался? — вежливо начал разговор Лопатин. — Сломался, да?

Механизатор снял солдатскую шапку и отряхнул ее о колено.

— Не сломался. Зачем ему ломаться. Не идет.

— Как это не идет?

— Почва вязкая. Я в Германии служил, там они идут почем зря. Там, видишь, супесчаник. Сплошь у немца идет.

— Что это, супесчаник?

Механизатор, молодой совсем, но недоступно важный, поиграл бровями, закуривая папиросу в ладошках, глухо сказал:

— Посторонним здесь делать нечего.

— Я не посторонний, я из районной газеты, товарищ.

— В Германии почвы развалистые, сухие, с песком, значит. У нас почвы вязкие, чуть подмочит, хана мероприятию. Еще чем станете интересоваться, товарищ корреспондент?

— Все ясно, спасибо...

Потом Гурий видел мельком еще два комбайна, тоже новых. Видел он их под навесом у мастерских колхоза, но не поинтересовался, почему и зачем они стоят там, посчитавши, что вопрос исчерпан.

Еще парень в солдатской шапке напоследок добавил:

— Тут совсем другой принцип должен быть.

— В смысле?

— У механизма другой принцип должен быть.

— И вы что-нибудь придумали?

— Нет еще...

— Вы думаете?

— Стараюсь...

Маслов раскрыл красную тетрадь, провел по ней ребром ладони.

— У меня тут все. Полная картина у меня тут, студент.

— Молодой специалист. Не идут у нас комбайны, Никифор Данилович. В Германии, там идут. Там супесчаники, Никифор Данилович.— Слово «супесчаники» Лопатин прознес со значением, это слово ему понравилось.

Маслов печально покачал головой и с неохотой спрятал тетрадь в тумбочку.

— Суду все ясно. Верхогляд ты, студент, пенкосниматель.

— Но я же интересовался?

— Как турист интересовался! Если еще раз такие речи услышу от тебя, конец дружбе нашей. Я думал, ты серьезный человек, студент. Есть у тебя записная книжка с собой? Пиши. Первое. Сколько в колхозе или совхозе овощеуборочной техники? Как она работает? Это — второе. Организована ли на той технике двухсменная работа? Это — третье. Как готовился колхоз или совхоз к уборочной кампании? Имею в виду подготовку людей, зимнюю учебу имею в виду. Курсы и прочее. Пусть это будет четвертое. Никаких серьезных причин, кроме плохой погоды, во внимание не принимать. Обязательно докапываться до самой сути. Обязательно, верхогляд! Насчет почвы — старые песни. Унылые песни. Нескладные песни. Все ясно? Это — пятое. И стыдно мне за тебя, в краску ты меня вгоняешь, студент!

— Молодой специалист.

— Какой ты специалист, стручок ты пустой пока. Без гороха стручок. Тоже, видать, на моральные темы выступать будешь. Про любовь. Очисти кабинет!

Лопатин вышел от Маслова растерянный и злой, он сел позади машинистки Любочки и громко ударился локтями о стол.

— Серафима Никитична, фельетон нужен?

— Номер готов,—ответила Серафима Никитична из своего кабинета,—места уже нет.—Она по душевной своей доброте не хотела обидеть его, но неприязни к нему

скрыть не смогла, потому что в своих выводах успела дойти до крайностей и, жалея себя, уверилась в том, что снова и на неопределенно долгое время придется ей тянуть лямку за двоих или троих, что Лопатин, человек хоть и с университетским образованием, но не помощник: мотался в колхозе без малого двое суток, и ничего не привез.

— И все-таки оставьте место! — сказал Гурий твердо.

— Сколько строк?

— Не знаю еще.

— Как же так? Ну, хорошо...

Фельетон был об упрямстве председателя Кротова. Он, Кротов, гнал в город сырое и неочищенное зерно только потому, что шефы — машиностроительный завод — сорвали монтаж сушильного пункта в пятой бригаде колхоза «Красный пахарь». Из пятой бригады как раз и шло необработанное зерно, несмотря на то, что три действующие сушилки были загружены не на полную мощность. Председателю Кротову не раз подсказывали выход из положения, но он отвечал советчикам: «Без вас знаю, откуда понимаешь, ноги растут».

Грубо отвечал!

За очистку и сушку пшеницы «Заготзерно» брало с колхоза немалые деньги. Но что до того Кротову — ведь не из его кармана берут трудовые рубли и копейки!

Вот суть.

Лопатин живописал все это в сценах, с диалогами, так живописал, что Серафима Никитична, читая, то и дело прикладывала к носу кулачок, и глаза ее были влажны от смеха.

4

Гурий спустился на первый этаж.

В вестибюле было сумеречно, сыро, шапки здесь отдавались гулко, будто человек, отворяя дверь,

ступал по туго натянутому барабану. «Дум-дум-дум», — выстукивали ботинки по паркету.

Вася сидел у себя и, закусив язык, строгал ножичком карандаш. Гурий сел спиной к застекленному шкафу с кубками разных фасонов — спортивными трофеями района — и закурил.

Вася держал карандаш в кулаке, и желтые стружки из-под ножа с легким стуком падали на осьмушку чистой бумаги. Вася посапывал, водил губами.

— Фельетон ты смешной написал, — сказал Вася и бросил очиненный карандаш на стол, — я тут до слез смеялся, но в Анохино ездить повремени: Иван побить может.

— Это кто — Иван?

— Председатель, Кротов.

— За что бить, я же прав?

— Ты — прав, и он прав — каждый по-своему. У тебя своя правда, у него — своя.

— Так не бывает.

— Вот и бывает.

— Тогда ничего не понимаю...

Вася сцепил руки на столе и отворотился лицом в угол. Волосы на его затылке свились прядками, ниже затылка проступал рубец — след фуражки, — шея отливала бронзой. Вася был невысок, но крепок потому, наверное, что рос в деревне на немудрых харчах и вольном воздухе, работал сызмальства. Да и армия пошла ему впрок.

Гурий Лопатин родился в небольшом городке под Свердловском, послевоенное детство оставило ему художное тело, и упражнения в спортивных секциях не дали видимых результатов. Гурий, правда, стал жилистым, ловким, но так и не поправил фигуру и купался подальше от многолюдья.

...Пустое уже картофельное поле, засоренное ботвой, с грохотом пересекал трамвай, за трамваем катилась ублюдочного вида дворняга и лаяла по причине хорошего настроения. К райкому по шоссе семенила почтальонша-де-



вочка в берете и форменной курточке на железных пуговицах, большая сумка с газетами оттягивала девочке плечо.

Вася Чалый молчал, замкнувшись. Он расходовал свою энергию с великим рационализмом, и Гурий уже знал, что топтать его бесполезно, но все-таки поторопил:

— Ты же меня на тему натолкнул!—Гурий, обжигая пальцы, затолкал окурок в спичечный коробок. Вася не курил, лишь баловался иногда и не держал у себя пепельницы.— Ты не сопи, ты отвечай!

— До тебя сразу-то не дойдет, ты от природы, видать, недотепа.

— Где уж нам!

— Я здесь родился, вырос, педучилище кончил, пацанов в школе учил, в институте заочно, на четвертом курсе. Расту над собой.

— Поучительно. Достойно.

— А как же! Так вот. Всю жизнь село сотрясают кампании. То, понимаешь, какой-нибудь хитрый севооборот внедряем, потом открываем кукурузу, затем повсеместно теплицы строим и выращиваем сады...

— Когда я в школе учился, по радио трясли торфоперегнойные горшочки. И еще — оборачиваемость оборотных средств.

— И горшочки — верно. И глубинки. И академик Лысенко, всему голова, самый умный агроном на белом свете. Я к чему. На данный момент никакой моды пока не проклевывается. Затишье.

— И чем оно вызвано?

— Умнеем, наверно. Да и селянин не тот, он для Лысенко и других «просветителей» кукиш в кармане держит. Что же касается Ивана Кротова, он хулиганит, но не просто — с прицелом. В пятой бригаде шефы не достроили ему сушилку. Можно, наверно, и вывернуться как-то, но Иван обиду демонстрирует, прет в город сырое зерно, чтобы наш секретарь Маслов и другие ответственные товарищи

били тревогу. Заготзерно пшеницу высушит, куда денется. Через силу, через нельзя высушит, а шефов кое-кто встряхнет, заставят довести работу до конца. Вот и две правды,— Вася вытащил из кармана пиджака красную расческу, подул на нее, но волосы со лба убрал пятерней, расческу же согнул так, что она сошлась концами вместе. Хитро улыбаясь, Вася показал: расческа не сломалась, она медленно выпрямилась, вязкая, податливая, как смола.

— Брательник из Германии прислал,— сказал Вася и напыжился от гордости,— у нас таких не делают, наши крошатся — неделю подержал и выбрасывай. Братан пишет: этой на век хватит, не теряй только.

Вася бывал ребячлив и простодушен, но редко.

— Фельетон злой,— сказал Вася,— врага ты нажил себе лютого.

— В чьем лице?

— В лице Кротова. Он нервный.

— Сам же на тему натолкнул!

— Мало ли куда я толкаю тебя! Своей головой кумекай.

Васю ситуация забавляла, он не жалел Гурия Лопатина, Лопатин же убеждал себя, что, конечно, не в председателе дело и не в страхе дело, ему было действительно неловко, что вылез он с этим фельетоном опять как верхогляд. Лопатин вспомнил: Вася Чалый не особенно и наталкивал на материал, он сперва терся в сторонке, прислушиваясь к разговору, после же исчез куда-то на целый час или больше того.

В город они попали уже под вечер. Попутный ЗИС с овсом держал путь на «Заготзерно». Шофер заглушил мотор на кривой улочке за вокзалом, окруженном вразброс домишками с пустыми уже огородами и рябинами у окон. Улочка была забита машинами, очередь на сдачу хлеба вытянулась далеко.

Чалый направился к голове колонны и поманил рукой Гурия Лопатина. Мимо чайной они пошли к зеленому

сплошному забору с воротами, на козырьке ворот крупно были выведены слова: «Добро пожаловать!» За воротами виделась асфальтированная площадь, тоже забитая машинами, амбары на могучих фундаментах из бутового камня. Контора «Заготзерно» — барак из черных бревен — стояла отдельно, на взгорке, ниже конторы был односкатный навес. под навесом вздымалась под самую его крышу гора зерна, на ней, ноги калачом, сидел человек в черном картузе с лаковым козырьком и читал газету.

— Это Семен Гудимов, — пояснил Вася Чалый таким тоном, будто Лопатин должен непременно и с детских лет знать Семена Гудимова.

— К нам давай, Семен!

Человек кивнул с верхотуры, дернулся телом, покатился вниз, размахивая руками. Перед ним росла, наползая и ширясь, волна пшеницы.

— Самоходом прибыл! Ловко, а? — Гудимов поднялся на ноги и шагнул к ним, отряхиваясь. — Будемте здоровы, ребята.

Лицо у Гудимова было мелкое, правильное и свежее, он носил усы скобой до нижней губы, был кареглаз, статен, и, наверно, красив, но красотой какой-то неласковой. Лопатин тотчас же узнал в нем того самого парня, который тоже смотрел, как умирал лосенок. Это он кричал: «Плачете, бабы, почто не плачете!?» Это он выбрался из толпы первым и ушел, не оглянувшись.

— Сидишь, значит? — для зачина спросил Вася. — Почитываешь?

— Попросили ребята и сижу. Сторожа обедают.

— Товарищ из газеты, знакомьтесь. Вы потолкуйте, я в контору сбегая за сводкой.

— Ступай, — ответил Гудимов и цепко оглядел Лопатина, — потолкуем. С живым-то человеком оно интересно.

Гудимов за короткое время сумел бесповоротно убедить Лопатина в том, что колхоз «Красный пахарь» никакой вовсе не передовой и миллионер лишь по бухгалтер-

ской цифири, цифирь же, заявил Гудимов, что рюшки на сарафане вдовицы — украшают, а без пользы: замуж вдову никто не зовет. Не было никакой надобности, сказал Гудимов, возить сырое зерно и гнить его здесь на бесславые. И добавил вроде бы ни к чему:

— Посадят блоху за ухо, да и чесать не велят.

Они сидели на бревешке у навеса с зерном и курили тонкие гудимовские папиросы. Сзади садилось солнце, они чувствовали его нещедрое тепло. Закат был оранжевый, трава облилась тем ярким и наивным цветом, в какой красят игрушки; сквозь хмарь впереди обозначался город, облака над ним, прошитые понизу той же наивной желтизной.

Гудимов снял картуз и положил его на колени, убрал со лба выгоревшие, как у пастушонка волосы, сказал, вздохнувши:

— Зол я на все это, спасу нет! — и посмотрел на Лопатина с заметным смущением.

— Я напишу, — пообещал Лопатин, — и вы сами пишете, у вас получится.

— И балуюсь когда, — Гудимов наклонил голову и погладил картуз. — Пишу, но не печатают что-то.

— Почему же не печатают?

— Сердито пишу, норовлю все с подковыром.

— Тожде неплохо. Буду ждать ваши материалы.

На том и расстались.

Вася Чалый вышел из-за стола, повернулся к Лопатину спиной и засмотрелся в окошко. Спина Васи была плоская, как доска, широкая и без талии. «Сундук на ножках» — подумал Лопатин.

— Что за парень — Гудимов?

— Ничего. Кулаком все стучит, порядки наши лает, друг сердечный!

— Я серьезно.

— И я серьезно.

Тяжело вздохнув, Лопатин встал, у порожка придержал шаг — его раздражала спина Чалого, глухая, как стена. Лопатин сказал, взявшись за холодную скобу двери:

— Черствый ты, секретарь, грубый ты.

— Поспешай отсюда, сатирик!

— Уел я тебя, секретарь?

— Погоди-ка! — Вася обернулся, глаза его были хитро сощурены. — Работал до тебя в газете Петька Мухин, так он заголовок единожды выдал крупными буквами. Шапка, по-вашему, да?

— Шапка по-нашему.

— Такую он выдал шапку: «В Успенке скот заболел чесоткой, а в райкоме и райисполкоме не чешутся!» Петьку тебе не переплунуть, нет в тебе той удалы, Лопатин.

— Такая удаль не по мне, верно.

— Уел, да?

— Вот и не уел! Не уел!

## 5

Вторую неделю накрапывал мелкий дождь.

Шоссе перед райкомом скучно блестело, в лужах плавали круги величиной по пятаку, вода в лужах будто кипела день и ночь на ровном огне; над городом висела, не опадая, томная дымка. Четко и не раз на дню вспоминались слова Маслова о том, что верхоглядство присуще всем газетчикам, что газетчики любят писать на моральные темы и пространно разоблачать многоженцев. Маслов, конечно, не так сказал, но так надо было его понимать. Можно и обидеться, да не на что обижаться — прав секретарь, потому Лопатин не поленился сходить в сельхозуправление и выклянчил там у специалистов технические паспорта картофелекопалок и картофелеуборочных комбайнов, чтобы изучить на досуге устройство и принцип ра-

боты машин. В мелочи он не вдавался (все равно не запомнить и не понять), но общую картину усвоил довольно точно. Главное, он знал теперь, о чем спрашивать людей в поле. И перед Масловым можно козырнуть сельскохозяйственной эрудицией — и мы, дескать, не лыком шиты. И мы — настырные ребята, нам палец в рот не клади.

Вторую неделю Гурий Лопатин не выезжал в район, потому что размыло дороги и машины доставали лишь пригородного совхоза «Металлист». Туда можно было в два счета добраться и на автобусе, но не имело смысла — «Металлист» был совхоз образцовый, и для районной газеты особого интереса не представлял. Редакционный «газик» все ремонтировался где-то за тридцать земель в межрайонных мастерских «Сельхозтехники».

Каждый день ездил в хозяйства района лишь первый секретарь райкома Никифор Данилович Маслов, на новом вездеходе или же на парадной черной «Волге» и никого с собой не брал. Маслов вроде и не отказывал никому, но уезжал всегда один. И странно, Гурий Лопатин ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь из райкомовских открыто возмущался по этому поводу, некоторые лишь пожимали плечами: секретарь есть секретарь, он, мол, имеет право даже вот на такие несмешные причуды. Лопатин поставил себе целью отвоевать заднее сиденье в «газике» или парадной «Волге». Само собой, у Маслова дела и он не обязан подлаживаться под большинство; никто не собирается ему мешать делать дела по своему разумению, но почему бы не брать с собой людей из аппарата, им ведь тоже позарез нужно бывать в хозяйствах. Довез по пути — и вся недолга!

Лопатин наладился встречать Маслова у крыльца райкома в тот момент, когда шофер подавал машину, и нагло вато требовал подбросить по пути куда угодно, лишь бы не оставаться на дороге или в пустом поле.

— Как сегодня, Никифор Данилович? Едем? — Гурий брался за дверцу легковой, готовый даже при слабом на-

меке устроиться на заднем сиденье, накрытом ковровой дорожкой цвета молодой травы,— газета строчек требует, Никифор Данилович!

Маслов смотрел на Лопатина с таким выражением, будто медленно узнавал, потом выпрастывал часы из-под рукава плаща и доверительно говорил:

— Я прямым ходом в райисполком,— он начинал смеяться глазами,— вернусь не мешкая, так что будь начеку, товарищ Лопатин, выглядывай.

Гурий часами терся у окна, все выглядывал, но Маслов не возвращался. Пришлось сказать секретарю, что обматывать нехорошо, честнее отказать, хотя причин для отказа и нет. Маслов рассердился и отрезал:

— Пешком доберешься, я в твои годы пешком ходил!

— У вас тогда не было казенной машины. Казенной, Никифор Данилович!

Маслов потоптался на краю лужи, хмуря, не отыскал нужных, достаточно веских слов и, путаясь в полах длинного, не по росту плаща, грузно полез в машину. Шофер Гоша воровато прыснул и отвернулся, чтобы спрятать смешок. Мотор тоже на момент зашелся утробным смешком, «газик» уплыл, недоступный. «И пошли они, солнцем палимы, повторяя: «суди его бог...» Гурий натянул глубже расплющенную дождем кепку и плюнул в сердцах.

Инструкторская братия следила за поединком Маслов — Лопатин с азартом спортивных болельщиков, и шансы Лопатина расценивала невысоко, да и сам Гурий понимал, что эта маленькая война наивна, но назад пути уже не было, и он искал свой маневр. Искал без досады, но с любопытством, заинтригованно, он чувствовал, что Маслов мурыжит его не просто так, ради мелкой забавы: у секретаря просто так, по настроению, ничего не бывает, за его упрямством прячется какая-то крестьянская хитрость, какой-то расчет. А какой? Надобно докопаться до истины во что бы то ни стало.

В это самое время Серафима Никитична поручила Лопатину брать информацию по телефону. Слышимость была никудышняя, телефонистки гнусавили, как плакальщицы на похоронах, а из далекого далека отвечали: «Разуй зенки-то! Дождь на дворе, одна, понимаешь, новость. У вас нет дождя? Есть. Ну и точка. Вот тебе самая новая новость. Пока».

Повезло Гурию лишь однажды: из бригады колхоза «Партизан», куда он дозвонился, мужчина с неясной фамилией сообщил, перемежая речь идиотским смешком, что комбайнер Васька Скоков сжал пшеницу на площади в 1967 гектаров и валит хлеб, невзирая на погоду, все у него на зависть ладненько и вообще он парень-вырви глаз. «Ты изобрази, товарищ редактор, это дело как следует быть!» — кричал неизвестный из «Партизана», — а заголовок будет такой: «Васька Скоков — ударник полей!» Или сам придумашешь? Не возражаю. В трудных, мол, условиях и так далее. Пример для других, ага. Орел, чего там говорить, да. Орел, мол, так и крой».

Трудовой подвиг комбайнера Василия Скокова Гурий дал в красках и переписывал зарисовку три раза. Изображалось это так: над полями низко стелются тучи, холодный дождь неумолим и вездесущ — вода тяжелит плечи, катится в рукава и за воротник, даль затуманена дождем. В поле неприятно, одним словом. Другой бы сдался, но отступить не в характере Василия Скокова. И так далее.

Машинистка Любочка печатала зарисовку о комбайнере, и бледное ее лицо ничего не выражало. Гурий исподтишка следил за ней, его авторское самолюбие страдало. «Чего с нее взять!» — думал Гурий и уже привычно видел Любочку в образе схимницы. Ей бы впору пришелся черный платок, ее бы губами нашептывать молитвы перед ликами святых великомучеников. «Осподи, благослови и помилуй!» С острых плеч Любочки скатывалась шаль и оголяла шею в дымке волос. Любочка вдруг остановила работу, потрясла на весу растопыренными пальцами, будто стряхивала с них воду, встала и юркнула в кабинет редакторши. Она подалась



туда, видимо, не только затем, чтобы сказать о дожде, новом трамвае и о председателе райисполкома. Любочка, как выяснилось, засомневалась насчет фактов в зарисовке Лопатина. И справедливо засомневалась: Василия Скокова в районе отродясь не числилось, а лучшие комбайнеры за сезон бессменной работы убирают от силы по пятьсот гектаров.

Теперь до ушей краснел Лопатин и переминался у стола Серафимы Никитичны. Он даже забыл сесть.

Серафима Никитична высказала догадку, что измывался над Лопатиным скорее всего городской, из привлеченных в колхоз на время уборки. Народ, известно, всякий наезжает... С превеликим бы удовольствием взял Гурий в ту позорную минуту городского шутника за жабры, да коротки были руки.

Бабье лето, говорили старожилы, у нас завсегда погложее.

Инструктор отдела пропаганды Виктор Ильич Доронин (его иногда звали просто Витей), демобилизованный майор лет сорока с небольшим, по нескольку раз в день заходил в редакцию, чтобы изложить историю про то, как в позапрошлом году ехал семьей с курорта на южном берегу Крыма и, когда миновал Урал, повалил снег невиданной густоты и силы («Верись, по колено было!»). Одет был инструктор Доронин, конечно, по-летнему и переживал: «Если на Урале снег, то у нас-то мороз под тридцать!» Ан нет, дома стояло бабье лето, на перроне торговали пломбиром, публика гуляла в сандалетах.

Вот тебе и Сибирь!

Облака цвета чугунной окалины то стояли в небе, точно прибитые, то срывались, гонимые ветром, бежали нескончаемо и однообразно.

Где же оно, ваше бабье лето?!

Серафима Никитична вручила Лопатину зеленую папку с письмами, сказавши, что не знает, как на них ответить и что она будет весьма признательна, если товарищ Лопатин на свежую голову найдет выход из положения. Деликатная Серафима Никитична, как догадался Гурий, спасала его от безделья. Последние дни он, отгораживаясь рукой от машинистки Любочки, писал свое эссе о смерти лосенка, и заглавная сцена все как-то не получалась.

Гурий высыпал на стол письма, сколотые канцелярскими иголками, и взялся читать наугад тетрадные листки в клеточку. Овощевод из колхоза со странным названием «Пчела» прислал статью о языке эсперанто, в сопроводительной записке он настаивал, чтобы статья была опубликована, так как эсперанто в наш бурный век имеет первостепенное значение. Овощевод немало удивил Лопатина: «В такой глуши живет чудак и печется черт знает о чем. Даешь ему эсперанто во вселенском масштабе — и никаких гвоздей! Кто такой этот Соловейчик? И фамилия веселая такая...»

Серафима Никитична ответила: есть такой, со странностями человек, рекордные урожаи огурцов выращивает в теплицах, сам из толстовцев. И весь колхоз — толстовцы.

Гурий посочувствовал толстовцу и направил в его адрес вежливый отказ: газета наша маленькая, объемные материалы публиковать возможности не имеет, обратитесь в издание посольской. В областную газету, например. (— Серафима Никитична, кто у нас заведующий отделом культуры областной газеты? Харина? Ничего себе фамилия! Как же ее зовут? Иннесса Олеговна? В стиле выдержано, вполне современно. Да). ...«Пошлите статью Иннессе Олеговне Хариной, заведующей отделом культуры. Товарищ Харина, если не ошибаюсь, тоже увлекается эсперанто и поймет Вас как никто другой. Она вообще женщина эрудирован-

ная». «Не слишком ли я?» (— Серафима Никитична, сколько лет этой самой Иннесе Олеговне? Лет тридцать?) «Тогда ничего, пожалуй...» И добавил: «А лучше вам заглянуть при случае или с оказией в область самому».

Нам не до эсперанто, товарищ Соловейчик. Вообще-то лично я и склонен тиснуть вашу статейку, да ведь не дадут тиснуть, восстанут: у нас, дескать хлеб на корню гибнет, а вы баловством занимаетесь. Не поймут нас. Потерпи до зимы, товарищ Соловейчик, душой я рядом...

Почерк был диковинный, буквы напоминали паучков, застывших на бумаге рядками, но текст читался без усилий. Писал Гудимов. Тот самый красавец с тонкими усами скобой, что караулил у «Заготзерно» сырую пшеницу и после, когда они курили, жаловался на районную газету — «зажимают». Гурий обещал проталкивать его заметки при условии, если критика в заметках будет конкретна и не огульна.

Заголовок Гудимов вывел красными чернилами «Наверно, жена — учительница, коли красные чернила в доме».

#### «СКАЗ ПРО ГРАЖДАНИНА, КОТОРЫЙ ЖИЛ И ВДРУГ ПОМЕР

На яру в нашем селе Анохино скатал однажды ~~ябу~~ себе радательный гражданин. Портрет гражданина висел на доске Почета так долго, что выцвел: гражданин работал не покладая рук. На миру заведено испокон — труд красит фамилию. Но одно дело работать для удовольствия и славы, совсем же другое — рвать пуп, чтобы справить еще одни хромовые сапоги и спрятать их в сундук под большой замок.

Гражданин, про которого сказ, работал для одной цели — покласть в карман лишнюю круглую копейку или же лишний длинный рубль. Был он трактористом, ужинать с полевого стана на большое расстояние ходил домой и приносил в мешке картофельные очистки для своего поросенка. Он на чужое не зарился, но и добру пропадать не давал: ведь очистки повариха на стане все одно бросала в ручей, и были они ничьи.

В какую же зиму, точно не подскажу, случилось так: сын гражда-

нина, сопливый Колька, катался на санках с горы и угодил в прорубь. Вытащили Кольку едва живого, гражданин отец прибег со своего яру, ухватил сына за грудки, мокрехонького, и, значит, спрашивает: нашу лопату, тудыть-перетудыть, на дне не видать? По осени еще лопату здесь обронил, дешак ее возьми-то!

Вот ведь как бывает!

Весной мимо села по реке плывет лес. Казенный, конечно. Воробьятые и умелые ловят лес баграми с лодок. Для того, чтобы перехватить лесину на течении, да на берег вытащить, да от инспектора спрятать, артель нужна, одному и соваться нечего. С гражданином же, про которого сказ, никто в компанию не хотел. Тычется это он по берегу сирота-сиротой, видит око, да зуб неймет. Зависть его гложет невозможно как: другие-то лес лапшой из реки гребут, а он на бобах. Глядел, мучился день-то, к вечеру упал на песок и не шевелится. Стали поднимать его, так не встает. Приспел по тревоге фельдшер Георгий Фролыч и сказал: «Зачем трясете, он же холодный, разрыв сердца у него сделался». Вот те раз! А здоровый был и с лица красный. Такой должен долго отходить, а он взял и помер так несерьезно! Похоронили его на яру возле озера, семье пенсию дали за потерю кормильца, на доску Почета новую фотографию вывесили с черным кантиком: погиб, значит, безвременно, и мы его жалуем.

Висит портрет, я хожу мимо каждый день и такие мысли в голове у меня ворошатся: «Когда ты живой был, надовел мне хуже горькой редьки, а тут еще и с того света глядишь. Вовсе это ни к чему. И другим тоже ни к чему — ведь помянуть-то тебя нечем, уж не обесчудь, Никодим Петрович! И не гляди так скучно: сапоги на тебе хромовые, костюм на тебе английского бостона и при галстукке ты лежишь. Достаток полный, словом. Лежишь ты как настоящий, но помянуть тебя нечем, Никодим Петрович».

Гурий отложил письмо и, вздохнувши, закурил.

Дым сигареты вспухал возле руки и ниточкой тянулся за спину. «Едучий, однако, человек этот Гудимов! И неглуп. Но зачем, спрашивается, шевелить мертвых? «Мертвых — в землю, живых — за стол». Чьи стихи? «Мертвых — в землю, живых — за стол...»

Вспомнить, чьи стихи, помешал инструктор отдела пропаганды Виктор Ильич (просто Витя) Дороник: он манил, показывал жестами, что дело спешное и мешкотни не терпит. В коридоре Виктор Ильич объяснил: Лопатина требует на беседу Савостьянов, заведующий отделом пропаганды и секретарь партийной организации райкома.

Гурий часто проходил мимо коричневой двери с табличкой «Заведующий», дверь была заперта, и человека, который сидит за ней, казалось, не существовало в природе, но вот он выплыл из небытия и хочет общаться. Да почему-то еще и срочно.

Савостьянов сидел, отвалиясь на спинку кресла, в позе крайней усталости, руки на животе, взгляд отрешен и неясен. Это был старый, болезненно худой мужчина в сером пиджаке и зеленой офицерской рубашке с галстуком. «Ему бы лечиться», — подумал Лопатин и с первого взгляда уверился, что где-то и когда-то уже встречал заведующего.

Где-то и когда-то...

Несколько позже инструктор Виктор Ильич Доронин вдоволь посмеялся, когда услышал от Гурия это предположение, и сказал, что по крайней мере за последние десять лет Савостьянов из города не выезжал, портрет же его Гурий видел на трансформаторной будке или на столбах высокого напряжения повыше слов: «Осторожно, смертельно!» Гурий был против такого жестокого сравнения, но то, что оно достаточно меткое, возразить не мог: Савостьянов имел широкий лоб куполом, темные глазницы и подбородок лопатой, к тому же щеки у него запавшие. Верно, только скрещенных костей и не хватает...

— Кузьма Кузьмич, — представился старик, — твой непосредственный начальник, — и потянул на себя ящик стола, двигая назад вместе с легким креслом. Из ящика он достал жестяную коробку, старинную, с гусаром на крышке. Гусар курил трубку, и зубы его были сахарно белы.

Савостьянов щепотью достал из коробки табаку, сладил папиросу из тонкой бумаги и зажег спичку.

— Трубочку я имел, так потерял в командировке, а табак особый — «Золотое руно», из Москвы приятель возит, отменный, понимает, табачок. Ты садись, я сейчас. Хочешь себе свернуть?

— Спасибо, только что курил.— Лопатин сел и повернулся к окну.

Внизу позади райкома стоял новый дом. Двор, обнесенный штaketником, был пуст. Там, поникши, стоял телок, пестрый, как голыш, и брезгливо жевал белую наволочку. С улицы в направлении калитки бежала старушка в фартуке и калошах на босу ногу, чтобы отбить у телка наволочку. Она махала руками и разевала рот.

Савостьянов убрал коробку с гусаром, убрал и бумагу для папиросных заверток, он расспрашивал Лопатина между прочим о жите-бытье и семейном положении.

— Комсомолец? Само собой, говоришь. Так.— Савостьянов оставил, наконец, в покое свой ящик и поднял голову. Правая бровь у него, заметил Лопатин, была заклеена пластырем, ниже глаза выцветал синяк, который он вроде бы ненароком то и дело закрывал рукой, стесняясь.

Во дворе разворачивалась вторая серия: бабка стояла на карачках, телок, взбрыкивая, бежал вдоль штaketника с наволочкой во рту. Гурий пожалел, что не увидел, как была повержена старуха. Он привстал и засмеялся. Савостьянов тоже привстал, вытягивая шею, и тоже засмеялся, но тут же посерьезнел, сел и пристроил папиросу свою на край пепельницы.

— Я рад, что ты попал к нам. Понимаю: у нас на дворе нынче 1970 год, и ты в районной газете еще не совсем типичен. Ты, может, даже и стыдишься своего положения. И напрасно, чтоб ты знал. Напрасно! Газета наша — плохая. Серафима, она поперек батьки слова не вставит, бьет уже лежачего, потому и авторитета не имеет. И силы не имеет. Давеча я с ней вот тут же серьезно говорил. Насчет Петлина. Читал насчет Петлина?

— Это про заведующего клубом?

— Про него. Я ей говорю: раньше надо было волноваться, если волноваться, теперь семья разбита, и ничего уже не поправишь. Зачем шуметь тогда?

— А по существу, как вы считаете, правильно по существу?

— Правильно. Любовь, чтоб ты знал, любовью, а дети есть дети, их бросать нельзя. Да и немолодой ужё Петлин-то. Седина в голову, бес в ребро.

— А писать об этом надо, как вы считаете? Да еще в таком тоне?

— Надо, обязательно! А ты что, сомневаешься разве?

— Сомневаюсь.

— И напрасно!

— Я, конечно, обстоятельств дела не знаю...

— Вот именно. Так я к чему это все... Да. Ты не стыдись своего положения, ты полюби землю нашу и людей наших. Главное — интерес свой найти, вот ведь что.— Савостьянов посмотрел на Лопатина ясно и ласково, качнул головой и взялся за окурочек.— Я, чтоб ты знал, Лопатин, по перу всю жизнь тосковал, даже дневники веду. С перерывами, но веду. Перечитываю другой раз и диву даюсь: до чего же все интересно! Вот дай мне талант да время, такое бы, кажется, произведение сложил — закачаешься! Как-нибудь покажу тебе свои записки. Покажу или отдам вовсе. Хочешь?

— С удовольствием почитаю!

— Хорошо. Будем, значит, вместе работать. Помочь надо чем?

— Да все в порядке вроде бы. Вот только к Маслову в машину никак попасть не могу. Обманывает меня Маслов, не берет.

— Он и не возьмет, тут у него странность особая,— старик улыбнулся в кулак, и глаза его стали лукавыми.— Как-нибудь потом расскажу, откуда в нем такая странность. А мы его на хитрость возьмем. Хочешь?

— А как?

— Вот уж что просто, то просто. Ты жди, я тебе дам знак. Уговорились?

— Ладно.— Лопатину страсть как было любопытно проникнуть в замысел заведующего отделом пропаганды Савостьянова, но тот на откровенность не пошел и махнул рукой, прощаясь:

— Тофай, брат, до себя, мне сегодня некогда.

— До свиданья.

В коридоре райкома у торцевого окна сидел инструктор Виктор Ильич Доронин (просто Витя) и читал журнал «Наука и жизнь».

— И чего только нет на белом свете!— сказал Доронин, переступая офицерскими хромовыми сапогами. Он служил в десантных частях, прихватил конец войны, был ранен, имел медаль за Берлин.

Виктор Ильич большерот, глаза у него зеленые, круглые и чуть навывкат. На этой земле Доронину мало что нравится, он обо всем имеет свое суждение и готов поправить положение при двух условиях: во-первых, дайте ему власть, во-вторых, не мешайте. Дать ему власть почему-то никто не торопится, мешают же ему все кому не лень.

— Побеседовали?

— Побеседовали.

— И как тебе наш Кузьма?

— По-моему, нормальный ваш Кузьма.

Доронин чиркнул зажигалкой, высек светлый и острый огонек, задул его и вытянул ноги, любуясь блеском своих сапог.

— Он у нас — борец. Каждую минуту за что-нибудь борется. Или за кого-нибудь. Или просто за светлое завтра.

— Высокие цели. И получается у него?



— Чаще впросак попадает. Партизан. Да поживешь — сам увидишь.

— Поживу — увижу...

## 7

Гурий Лопатин со вздохом посмотрел на серое окно и засобиравлся домой. И тут вспомнил, что на первом этаже райкома есть читальный зал, куда он намечал заглянуть, познакомиться с тамошней тихой библиотечаршей и присмотреть подходящую литературу. «Чего это я раньше-то не догадался? Проще-простого, под боком, главное, и что-нибудь у нее там найдется для меня».

Гурий уже стоял над столом, когда в дверь просунулась голова Кузьмы Кузьмича Савостьянова. Старик прижал палец к губам, велевши молчать, и поманил рукой. Они гуськом проследовали вдоль молчаливых дверей и протиснулись по очереди в кабинет старика.

— Надевай плащ! — приказал Кузьма Кузьмич. — Сапоги есть? И сапог нет! Надевай мои. За шкафом все — и плащ за шкафом. И сапоги.

Гурий надел солдатский плащ, длинный, как поповская ряса, натянул без портянок просторные кирзовые сапоги, смазанные густо и обношенные, сухие внутри.

— Тебе такой плащ завести надо. Чтоб всегда лапоти-на наготове была. Привыкай.

Вел себя Кузьма Кузьмич весьма таинственно. Маленькие его глазки сухо блестели.

Гурий не понимал, зачем надо натягивать этот дурацкий плащ, эти сапоги и к чему вообще все эти ужимки и прыжки. Ситуация его забавляла, и он выполнял команды старика с некоторым даже удовольствием, безусловно, заинтригованный и повеселевший: все-таки развлечение.

— Так. Присядь. Деньги есть?

— Есть немного.

— Ладно. Сейчас садись на трамвай и едешь до кольца, там, от кольца сразу начинается дорога. Она шлаком посыпана. Найдешь?

— И дальше?— Гурий смеялся про себя, забавляясь видом заведующего, его суетливым азартом. Старик даже дышал часто, будто бежал куда.

— Лупи по этой дороге как можно прытче. Лупи и лупи себе, пока не вспотеешь.

— А когда вспотею, что будет?

— Тебя догонит Маслов на своем газике, ты голосуй. Встань посередке и голосуй. Он в Тальники едет, в совхоз «Память Ильича». Не был там?

— Не был.

— Вот и побудешь.

— А не возьмет?

— Тогда у меня с ним другой разговор состоится. Тогда я его за грудки возьму.

Лопатину не верилось, конечно, что Кузьма Кузьмич Савостьянов, немощный старик, способен взять однажды Маслова за грудки и произнести в его адрес ряд нехороших слов. Маслова вообще никто не способен взять за грудки: мужик дюжий, каменный мужик. Такие больше сами за грудки берут и дают до посинения. Гурию авантюрный замысел Кузьмы Кузьмича сразу разонравился, но он подчинился, боясь обидеть старика. Да и свою слабость обнаружить тоже не совсем было приятно.

...Трамвай остановился на кольце возле глазастой диспетчерской, и Лопатин ступил на мокрую гальку.

Все было так, как говорил старый затейник. Впереди угадывались контуры какого-то завода, скорее всего цементного. Трубы впереди источали дым пепельного цвета, оттуда слышался постук колес по рельсам и по-собачьи лаял паровоз. Ноги скользили в поместительном нутре разношенных сапог, плащ путался в ногах, он был тяжел и узок в плечах. Отворачиваясь от дождя, Лопатин при-

курил в горсти сигарету и потопал в сторону завода на звук паровозных гудков.

Вода стучала по плащу, как по жестяной крыше. Лопатину казалось, что он в другом мире, что несколько минут назад он переступил незримую черту и идет теперь по другой планете, совсем один, и впереди — неизвестность. И тут послышался ровный стон мотора, машина двигалась, минуя лужи и выбоины, неторопливо. Слюдыно проблескивали сквозь дождь стекла кабины. Лопатин, испытывая облегчение, остановился посреди дороги, отряхиваясь всем телом, как мокрый воробей, и поднял руку. Газик Маслова с торжественной медлительностью, как на похоронах, объехал газетчика по вязкой обочине и стал удаляться, не прибавляя хода. Лопатин обескураженно опустил руку, постоял, перетаптываясь на скрипящем шлаке, снял кепку и ударил ею о голенище сапога. «Может, не видел Маслов, кто голосует?»

Маслов видел, кто голосует, но он, наверно, тоже был не прочь пошутить; газик остановился в метрах двадцати, растворилась дверца, и шофер Гоша крикнул, неудобно выворачивая шею:

— Эй, поторопись!

Гурий сперва побежал было, потом резко приостановил шаг и подошел к машине со степенностью человека, знающего себе цену.

— Ноги помой, грязи натащишь! — скомандовал опять Гоша. — И торопись.

Лопатин не торопился, мыл он ноги в луже обстоятельно и щепочкой очищал подошвы.

— Чего телишься-то!

— Приказано — мою. Я хорошо мою, у вас же там ковровая дорожка...

— Да, у нас ковровая дорожка.

Маслов не обернулся даже, когда Гурий Лопатин взгромоздился на заднее сиденье и начал устраиваться

поудобней. Он достал из кармана пиджака пачку сигарет и спички.

— У нас не курят!— сказал шофер Гоша.

Лопатин оставил в кулаке пачку сигарет и пригорюнился: дорога предстояла длинная, по всему виду, а курил он бесперечь, не мог без табака обходиться и полчаса, недаром машинистка в редакции жаловалась, что вся насквозь пропахла дымом, как старик или буфетчица в тесной распивочной.

— Пусть курит,— сказал Маслов, по-прежнему не оборачиваясь.— Потерпим.

— Вот спасибо вам, Никифор Данилович, за чуткость вашу! Вот спасибо.

Затылок Маслова, литой затылок, был нем и безучастен. Гурий Лопатин вдруг пожалел секретаря особой жалостью — так жалел он только отца, строгого своего отца,— застенчиво и ненавязчиво. Он жалел отца про себя и так, чтобы тот ни о чем не догадался. Всякое явное проявленное участие отец считал слабостью. Гурий подумал: «Забот у Маслова хватает, а я тут еще прилип к нему как банный лист!» Гурий уже и казнил себя за то, что дал травить себя в эту историю.

Машина выкарабкалась на асфальт и бежала уже вдоль побеленного тесового забора с колючей проволокой поверху. Лужицы на асфальте разбрызгивались под колесами весело и с тугим шипением. И опять вскорости они свернули на проселок, петляющий по низине среди кочек с осоклой и кустов смородины. Справа виделось озеро с мелкой водой, серое от ряби и в черемухе.

Лопатин курил, приоткрыв дверь машины, и выдувал дым на улицу.

Дождь с короткими перерывами шелестел вторую неделю, и теперь уже верилось, что конца ему так и не будет. Пойдется он вот так сорок дней и сорок ночей, и грянет следом вселенский потоп.

Маслову, видимо, наскучило молчать и думать беско-

нечные свои думы, он повернулся слегка, уперевшись плечом в спинку сиденья. Тугой воротник белой рубахи с галстуком мешал ему, и он расстегнул на рубашке верхнюю пуговицу.

— Что притих, добрый молодец?

Гурий пожал плечами:

— О чем говорить-то? Хозяева здесь строгие, а я гость непрошенный.

— Что верно, то верно — непрошенный. Хотел оставить тебя на дороге, да пожалел. Плащ сними. Кузьма плащ дал?

— Это неважно.

— Неважно так неважно. Куда путь держишь?

— Куда глаза глядят.

— Чего так-то?

— В жизни разочарован, мечусь.

— Рано что-то разочарован. Правда, в твоём возрасте оно в самый раз разочаровываться, потом будет некогда.

— Не понял?

— Сейчас ты все знаешь и ничего не умеешь. Сейчас ты человек со стороны как бы. Тебе бы мир ломать, разрушать традиции, да ведь бодливой корове бог рогов не дает! А потом, когда петух жареный кое-куда клюнет тебя, начнешь дело свое делать, если ты порядочный в сути своей.

— За городских вам попало, Никифор Данилович, за тех, которых вы на картошку не пустили?

— Попало.

— Крепко?

— Крепче некуда. Зато я слово дал себе — через три года будем просить у города самый минимум людей, и по строгому расчету. Надоела эта канитель, понимаешь!

— А есть такая возможность?

— Теоретически — да. Техники мало, да и веры у сельян мало. Веру, ее наживать надо. Так наживем. Это не для печати пока, работу только начинаем, загодя начина-

ем. Я вашего брата перевидал достаточно — вам бы про-  
свистеть только.

— Мне все ясно.

— Дай бог. Живешь-то как, студент?

— Молодой специалист, Никифор Данилович.

— Пусть так.

— Ничего живу. Вот села не знаю — это плохо.

— Плохо.

— Люди работают, заняты все, а я толкусь, будто без-  
дельник самый последний, и спросить про что — пред-  
ставления не имею. Стыдно бывает, Никифор Данилович!

— Коли стыдно — хватки наберешься, не горюй, сту-  
дент. Кротова, председателя, ничего ты разделал. На ежа  
его ты задом-то посадил. Звонил мне, матерился.

— Я неправильно разве написал?

— Хм. И редакторша твоя забегала советоваться — не  
слишком ли, мол, резко? Поставь, говорю, материал, па-  
рень еще разочаруется в нас. Я тебе недаром сказал при  
первой встрече, что ты пока только два цвета различа-  
ешь — белый и черный. Полутонов не различаешь. Для  
того, чтобы писать смело и со страстью, мудрым надо  
быть — это самое главное. Бывалым надо быть. А ты —  
зеленый. — Маслов поворочался, сел прочно и больше не  
сказал ни слова до самой усадьбы совхоза.

В село Тальники они приехали уже затемно.

Шофер Гоша, не спрашивая Маслова, подкатил к шко-  
ле, уже освещенной, и остановился с небрежной лихостью  
прямо у ее влажно блестящего крыльца. Маслов вылез и  
пошел, заложив руки за спину, к дверям, Гурий Лопатин,  
потоптавшись некоторое время (он дождался приглаше-  
ния, но приглашения не последовало), двинулся следом.  
В вестибюле на белом табурете возле тумбочки с телефо-  
ном сидела, подперев ладонью подбородок, дебелая жен-

щина в красной кофте — директорша. При появлении Маслова она почтительно встала, оправив платье:

— А мы заждались, Никифор Данилович.

Маслов посмотрел на свои часы и пошевелил седыми бровями:

— По-моему, вполне допустимо, Мария Игнатьевна.

— Я не к тому, Никифор Данилович!

— А к чему?

— Волнуемся мы, — женщина зарделась и приложила платочек ко лбу, смущенно отворачиваясь всем телом.

— Чего вам волноваться-то? Вам радоваться стоило бы — в новую школу вошли. В настоящую. Нам в таких учиться не пришлось, Мария Игнатьевна. Не знаю, как вам, мне не пришлось. Я почти что в курной избе азбуку изучать начал. «Мама мыла раму». Так, кажется?

— Теперь и буквари не такие, Никифор Данилович.

— Видите, и буквари другие. Все другое. И жизнь другая. И дети другие. Дети не испытывают трепета перед такой школой, им это не в диковинку, они еще, поди, скажут: «У нас в деревне ничего, а в городе лучше». Скажут?

— Скажут, Никифор Данилович.

«Действительно, в городе лучше, — подумал Лопатин, оглядывая вестибюль, где они стояли кружочком. — Ничего школа, но бывают школы и лучше».

Вестибюль был тесноват, и полы, покрашенные в желтый цвет, светлые полы, были уже затоптаны. Краска, наверно, не успела еще взяться по-настоящему, когда школу открыли. От вестибюля начинался длинный и узкий коридор с окнами на правую сторону. Где-то дальше не очень ясно слышался шумок многолюдья. Шумок напоминал шмелиный перегуд. «В таком коридоре пацанве не разгуляться, — подумал Лопатин. — Нынче во всем экономия. Из малометражной квартиры гроб не вытащишь. В школе коридор — двум взрослым не разминуться. Полоса такая нынче...»

— Ну, показывай, Мария Игнатьевна!

Директорша, клонясь, раздольно повела рукой, приглашая гостей возглавить торжественное шествие.

Шли они цепочкой, пока не миновали коридор. Дальше опять был вроде бы вестибюль, широкий и низкий, с дверями по обе стороны. Директорша открывала двери и одинаковым жестом, заученно, приглашала смотреть и любоваться. Ей школа нравилась. И Гурию Лопатину стала нравиться — построена она была целесообразно и с учетом всех нужд — имелся там спортивный зал, мастерские, разные кабинеты: физики, химии, географии. Был даже кабинет языка и литературы, завешанный портретами классиков. Все там было.

На втором этаже Маслов вдруг остановился возле уборщицы, мывшей полы. Встал он возле уборщицы, будто вкопанный, и надулся: что-то ему шибко не понравилось. Откуда-то в этот момент высыпала пузатая школьная мелочь, заголосила, затопала, обегая Маслова и женщину, мывшую полы, как остров обегает веселая вода. Наконец, уборщица почувствовала на себе взгляд Никифора Даниловича Маслова, выпрямилась, удерживая на губах неуверенную улыбку, сгибом локтя вытерла лицо и сдула волосы, прилипшие к щекам. Была она румяна, белла, нестарая еще и по-мужицки широкая в плечах.

Директорша замерла с полуоткрытым ртом, она собиралась всплеснуть руками, но не решалась — она не понимала еще, откуда грянет беда.

— Вам халат давали? — спросил Маслов.

Вот оно! На уборщице поверх платья была какая-то немыслимая рвань, сплошные дыры. Она оглаживалась, стараясь хоть как-то привести себя в порядок, но это было бесполезное занятие.

— Давали халат?

— Давали.

— Где он?



Женщина, все еще улыбаясь, теперь уже деревянной улыбкой, слабо пожалала плечами.

— Жалко новый халат, да? А детей вам не стыдно? А ну прочь отсюда!— Маслов даже притопнул ногой.— Чтоб глаза мои на вас не смотрели, воспитатели!

Директорша испуганно опустила вдоль бедер мягкие свои руки. Уборщица, побледнев, застегивала на себе дранье, на котором осталось две пуговицы, и не двигалась с места, замороченная.

— Прочь, говорю!— Маслов, однако, пошел назад сам, расталкивая локтями учителей и пацанву, собравшуюся на его голос. Маслов не обращал внимания на директоршу — она двинулась следом, прижавши ладонь к сердцу. Секретарь райкома был зол донельзя, и на его широких скулах катались желваки. Он не попрощался ни с кем и сел в машину, шофер Гоша тронул сразу, и Лопатин, замешкавшись, влез на заднее сиденье уже на ходу. По пути до совхозной конторы Маслов сказал одышным голосом единственную фразу:

— Вековая крестьянская привычка — рвань показывать. Хитрость крестьянская, мать ее так!

В последний момент Гурий Лопатин сквозь стекло увидел директоршу, она стояла под дождем на крыльце в горестной позе.

В кабинете секретаря совхозного парткома Маслова ждал народ. Одни сидели возле длинного стола, другие курили в коридоре, синий дым папирос тек рекой через открытые двери на улицу. С появлением Маслова задвигались стулья, курившие, напирая друг на друга, заспешили на свои места. Маслов достал из черной кожаной папки знакомую уже Лопатину красную тетрадь, положил ее и накрыл ладонью, задумавшись на короткое время:

— Собрал я вас так срочно вот зачем. Разговор пойдет об уборке картошки и овощей. С точки зрения, если

хотите, политической. Вот в этой тетради у меня учет ведется по дням. У меня тут, почитай, все есть. Анализирую. И советую анализировать вам, потому что проблема эта государственная и решать ее нам. Мы должны кормить город, кормить досыта, под картошкой — шестьсот гектаров. Площади у нас большие, а сил мало. Людей, молодежь в основном, забирает опять же город. И будет забирать. Без помощи рабочих с заводов и фабрик нам не обойтись пока, это ясно. Городские считают нас, селян, бездельниками, мы их — халтурщиками. Приезжий человек, сорванный с производства, не шибко разбирается в положении дел. Его оторвали по авральной команде, он недоволен, он костерит свое начальство, костерит и нас.

— Костерить, это они умеют! — подал голос круглолицый, тяжелый мужик с погашенной папиросой в губах.

— Ты бы скромно помолчал, Василенко, тебе не стоит даже голос подавать в честной компании.

— Почему же это, Никифор Данилович?

— А потому, что у тебя ни один картофельный комбайн не работает.

— Так погода, Никифор Данилович...

— Всякая погода была. И хорошая была. О том мы с тобой после и отдельно потолкуем. Теперь же прошу не мешать. Так вот, повторяю, рабочий человек не шибко в курсе, почему у нас не получается, почему мы, значит, прибегаем всякий раз к его помощи. У него своя логика, он же не зовет нас на завод в авральную пору план ему вытягивать, он сам справляется с планом-то. А мы не справляемся по многим причинам. Сельское хозяйство надо ставить на индустриальные рельсы, а индустриализация требует в масштабе страны огромных капитальных затрат, это ясно. Но кое-что зависит и от нас, товарищи. Вот у вас шесть комбайнов, и они стоят, а какая производительность комбайна?

— Полтора-два гектара за смену, — неожиданно для

себя громко сказал Гурий Лопатин и смутился, поникши головой: его ведь никто не спрашивал.

Маслов реплику, однако, принял доброжелательно, кивнувши с улыбкой, и продолжал:

— Правильно тут товарищ из газеты подсказывает, наш молодой специалист. Из университета к нам, прошу познакомиться: Гурий Михайлович Лопатин.

В полной тишине на Лопатина внимательно смотрели все, кто был в тесной комнате, смотрели без иронии — приняли, что называется, к сведению, что в районе появился такой человек и что к этому человеку надо относиться серьезно и с пониманием.

— Я ему обещал,— Маслов показал на Лопатина пальцем.— Я ему обещал за три года примерно решить проблему и избавиться от хлопотной опеки города, но прихвастнул, конечно: хотелось бы самим справиться, да вряд ли, если откровенно. Мы просто физически не сможем. В обозримом будущем. Некоторые экономисты предлагают сезонные работы, то есть использование сил со стороны, сделать правилом и упорядочить это правило, они считают: держать в селе лишь людей, связанных, скажем, с животноводством, а полеводов держать самый минимум. Они, экономисты, считают, что так будет выгодно и удобно. Я лично в сомнении. Вернемся к картошке. Сколько рабочих надо на гектар в день? — Маслов выжидательно посмотрел на Лопатина, но Лопатин этого не знал. Ответил секретарю круглолицый, у которого во рту по-прежнему торчала погашенная папироса:

— Человек сорок.

— Сорок. А на комбайн?

— Шестнадцать,— твердо сказал Лопатин.

— Шестнадцать. Да если машина исправна, да если на ней работать безостановочно полный световой день, то можно шибко продвинуть и облегчить дело.

— А людей на машину где брать, Никифор Данилович?

Маслов для вида скорей заглянул в свою красную тетрадь:

— У вас, Матвей Иванович, по справке сельсовета до сотни наберется домохозяек в возрасте от двадцати двух до пятидесяти лет. Я не считаю, учтите, старушек и стариков, которые в тоске на печке лежат. Поднять домохозяек, кинуть клич отцам и матерям нашим, у них жилушки крепкие, они умеют работать, если их хорошо да ласково попросить. Я сам их попрошу, вы их мне только соберите. Когда соберете? Послезавтра соберите. В клубе, торжественно это сделаем, чтобы музыка играла. Часиков в восемь послезавтра. Ясно?

— Ясно.

— Сегодня я не напрасно говорю прописные истины. Вот зачем говорю. Шефы ваши, металлургический завод, по моей, признаться, подсказке, пришли к мысли купить у вас и закрепить за собой всю овощеуборочную технику.

— Это как, Никифор Данилович?!

— Обыкновенно. Купят и будут за нее полностью в ответе, то есть сами будут ремонтировать, содержать, обслуживать и давать трактора, а мы постараемся обеспечить к этой технике максимум людей на уборке за счет, так сказать, резервов. У обеих сторон, таким образом, будут четкие права и обязанности. Иван не станет кивать на Петра. Ваш совхоз да кротовский колхоз решено сделать образцовыми по части уборки овощей. С обкомом этот шаг согласуем. Шаг этот очень ценный, считаю, рациональный шаг. Ваше мнение?

Селяне новость приняли оживленно и, в общем-то, хорошо.

Потом решили перекурить.

На порожке «предбанника» Маслов чуть придержал шаг и поманил, насупясь, Лопатина к себе, велел жестом пригнуться и шепнул ему в самое ухо, хитро играя глазами:

— Я тебя не звал? Не звал. Следующий вопрос — закрытый, а ты человек беспартийный.

Гурий лишь пожал плечами, не сообразив сразу-то, как реагировать на эти слова.

— Я тебя не звал, так?

— Ну?

— Посиди на ветерке, дождайся.

— Хорошо...

— И не сердись, заседание у нас закрытое, а ты, видишь ли, совсем беспартийный.

— Понятно...

— Светлая голова у тебя, парень!— Маслов притронул к плечу Гурия и подтолкнул легонько.— Ступай.

Гурий вышел на крыльцо.

Крыльцо было закрыто двускатной крышей, вверху ярко горела лампочка, освещая свежеструганные скамейки с двух сторон и затоптанный, мокрый пол.

Гурий сел на скамеечку и закурил сигарету.

Дождь сонно шелестел по доскам, вода гудела в жестяных стоках и падала где-то в крошечной тени. Сквозь облака местами проглядывали звезды, маленькие и острые, тянуло застоялой сыростью, ветерок касался щек устало и тепло. Гурию почудилось, что его вместе с крыльцом, лампочкой и скамейками настойчиво затягивает в бездонную свою глубину мягкая эта и безбрежная темнота, что нигде на планете давно не светит солнце, что все живое смежило веки, все живое спит и видит всякие сны. Когда человек остается наедине с самим собой вот при таких обстоятельствах, он почти неизбежно начинает думать об устройстве мироздания и о зряшности нашей суеты перед лицом вечного и бесконечного. Эти мысли нас пугают, и мы стараемся отрешиться от них как можно скорее. Недаром же говорят, что пустые размышления ни к чему доброму не приводят. Думать надо о насущном и близком. Если ты пессимист по натуре, тебе, товарищ дорогой, не стоит утруждать себя мыслями высшего

порядка. К такому выводу быстро пришел Гурий Лопатин, сидя на крыльце совхозной конторы. Он не считал себя пессимистом и попробовал представить, как там, в других мирах, на обитаемых планетах устроена жизнь, и какие там люди. Может быть, похожи на нас, может, и нет. Скажем, имеют по три уха и по одному большому глазу посреди лба, не курят табак и не пьют водки и, значит, почти что счастливы. В университете Гурий дружил со студентом философского факультета — Сеней Бониным. Был Сеня умницей и оригиналом, он вполне серьезно считал, что у людей век от века будет увеличиваться голова и уменьшаться конечности, в итоге башка станет размером с пивную бочку, и человечество вымрет от неги и зазнайства. Сеня шутил, но шутки его злили многих сторонников гармонического развития личности. Наши потомки, утверждали сторонники гармонического развития, станут богами.

Гурий вроде бы немного вздремнул под монотонный шум дождя, а проснувшись, начал думать о том, почему Маслов накричал на уборщицу в школе? Теперь уборщица, поди, сидит дома у окошка и плачет, льет бесконечные бабьи слезы. Наверняка ведь и от директорши ей попало.

Дела...

В коридоре послышался шум — заседание опять прервалось. На крыльцо выходили озабоченные мужики в сапогах, выглядывали в темноту и, вздыхая, говорили одинаково:

— Все дождит! Дыра в небе образовалась, гниет хлеб-то...

— Когда он кончится уж.

— К зиме, поди, и кончится.

— Только что к зиме.

Потом опять наступила тишина, но в коридоре, слышал Лопатин, остались двое, они сидели рядом и неторопливо разговаривали. Один, похоже, был стариком, другой — помоложе.

— Повезло тебе, Петлин,— сказал тот, что был старше.

— Оно относительно, Петр Герасимович. В моем положении, знаешь...

— В партии оставили — и то ладно.

— Это верно, оставили.

— Маслова благодари, поддержал.

— Поддержал...

— Чего тогда невеселый, Петлин?

И тут Гурий Лопатин вспомнил: ведь это про Петлина был в районной газете фельетон, написанный Цыбиным длинно и разоблачительно. Петлин — тот самый моральный урод, оставивший семью ради любовницы. Интересно...

— К семье-то не хочешь возвращаться?

— К семье бы и рад, к жене не хочу возвращаться.

— Чего так-то?

— Сложно это одним словом сказать. Не жили мы с ней, а повинность отбывали. Поженились мы в Гомеле, я как раз демобилизовался, и оженились. Она тамошняя, родители в Гомеле до сих пор. Свадьба, помню, идет, мы, молодые то есть, на балкон подышать вышли. Да. Кот тут ихний под ногами путается. Я в шутку, конечно, возьми да и скажи: сброшу, мол, кота-то. А она: «Я тебя самого сброшу отсюда».

— Вот даже как?

— Я в шутку — она, вижу, серьезно. Неприятно стало мне, сам понимаешь. Сколько лет вместе отмыкали, а это помню ярче всего. И обиды были посильнее, те не помню, а вот эта-то гвоздем сидит в голове. Пятнадцать лет, немало ведь, Петр Герасимович?

— Порядочно.

— За пятнадцать лет, веришь-нет, ни разу не поцеловала, по голове не погладила. А ласки ведь хочется. Сочувствия хочется. Я для нее — никудышный мужик, самый последний. Верил: все так живут, ради детей терпят друг друга. Оказывается, и счастливые бывают. И любовь бы-

вает, Петр Герасимович. Уважение. Вот как. Седина в висках-то у меня, а только сейчас понял: можно друг дружке и радость доставлять. Вот как!

— Корила-то за что?

— За то корила, что денег мало в дом приношу, что лоботряс я и неумеха. Клубная работа в ее понятии — не работа. Песни поют, мол, в свободное время. И пляшут тоже. Не могла взять в толк, что я тоже нужный, и не хлебом единым сыт человек.

— Платят мало, это так.

— Прикипел я к этому делу, Петр Герасимович, хоть ты убей меня!

— В газете тебя еще прожучили, ославили на весь район.

— В другое село переберусь, с Масловым посоветуюсь.

— Уважает он тебя?

— Он мужик с понятием, хоть и строгим кажется.

— Кто честный в работе, тот подлецом быть не может.

— Правильно. Ну, прощай. Люба там истомилась, по-ди, ей сообщить надо, что остался я в партии. Боится она, что с жизнью покончить могу.

— Это ты зря!

— Она такую черноту в голову себе вбила. Ей ведь тоже с поднятой головой по селу ходить невесело, голова-то долу клонится. Вина голову клонит: как же, семью порушила, чужого мужика приворожила.

— Всего тебе хорошего, Петлин.

— Спасибо, Петр Герасимович, послушал меня. Все легче.

— Не за что.

Петлин шагнул мимо Лопатина, под его ногой скрипнула доска. Это, успел заметить Гурий, был щуплый человек в сером плаще и кожаной фуражке. Шаги его слышались недолго, их заглушил дождь.



Накануне солнце упало в красном дыму, ночь стояла холодная, когда же туман взмыл и распался, город накрыло небо без единого облачка.

Утром на тополях шибко галдели воробьи; островерхие кучки палых листьев, наметенные дворниками, лежали плотно, и казалось: стоит солнцу пригреть пуще, листья подтомятся, растают и разольются по дорогам ручьями цвета лимонной корки в оранжевых пятнах.

Гурий Лопатин пошел на работу пешком. Он не торопился, в нем росло предчувствие добрых событий: этот день должен быть особенным, потому что все слишком долго ждали ясной погоды, и потом... Что потом? Сегодня человечеству скопом и без разбора отпускаются грехи. Граждане, становитесь в очередь за индульгенциями: дают навалом и в любом количестве!

За Гурием от самого общежития трусила собака, похожая на сапог, который перемещался по земле подметкой вперед и носком вниз. Лапки у собаки были кривые и врозь, как ножки венского стула, хвост — заячий, уши — лисьи, глаза — желтые. Рыжий сапог бежал споро: лапки — сами по себе, голенище — само по себе. Глаза собаки были полны привычного укора сытому человечеству. Гурий купил в киоске холодный беляш и подарил его собаке. Она взяла беляш зубами воспитанно, без жадности и засеменила обратно. Гурий махнул ей вслед рукой: до свиданья, Рыжий Сапог! Когда встретимся, я еще куплю тебе беляш, если будет даже ненастье.

Гурий шел по светлой стороне улицы и никого не обгонял, его не беспокоило, что идет он не в заданном темпе и может опоздать на работу. Людской поток на тротуаре густел, ширился, на перекрестках дробился, снова густел и снова дробился. Гулко ухали казенные двери на пружинах, с перезвоном катились трамваи. Тени в то утро были чер-

ны, солнце еще не грело; горы впереди проступали все ясней и поднимались все выше. Наступало бабье лето — погожая осень. Потом ударят заморозки, выпадет снег, и будет зима, длинная, как век.

Там, где кончался проспект Ворошилова, кончался и город. Шоссе и трамвайную линию в этом месте пересекала железнодорожная однопутка, по ней на открытых платформах возили гравий с карьера и рабочих-строителей к дальним участкам. На перекрестке стояла пестрая будка-грибочек, в будке сидела девочка, воротом поднимала и опускала шлагбаум.

Паровозик, роняя комьями пар, пробежал мимо, за ним по рельсам тянулся малиновый след.

Отсюда до сельского райкома было рукой подать, и Гурий прибавил шагу.

В редакции сидел Вася Чалый, одетый в старенький плащ и грубые сапоги с подковами. «Значит, собирается в командировку», — подумал Лопатин.

Любочка, горбясь над машинкой, прижимала к губам кулачок — сдерживала смех. Вася заливал лихо, потому что рассмешить Любочку было делом вовсе непростым. Серафима Никитична сказала из другой комнаты голосом податливой вдовы:

— Ты просто невозможный, Василь! Ну просто невозможный!

Лицо машинистки сделалось замкнутым, когда Гурий появился у себя, зато Вася обрадовался и встал.

— Где тебя черти носят? И не устраивайся здесь, нет времени. Серафима, ты мне его отдашь?

— Пожалуйста.

— Айда, Лопатин, айда! Серафима! Еще одна хохма. Надо мной инспектор ГАИ квартиру занимает и каждый вечер возвращается домой на карачках. К подъезду-то его на машине подбрасывают, ну а по лестнице уж сам ползет.

Так пацаны в доме знаешь как его зовут? Дяденька с ведущим передком.

Серафима Никитична не уловила соли и лишь вежливо покашляла.

— Айда, Лопатин. Айда!

Вася не оглянулся, протопал по лестнице, как лошадь, и хлопнул дверь на первом этаже.

— Чего это он такой?— поинтересовался Гурий. Любочка подняла худые свои плечики: откуда мне ведомо, почему он такой! Серафима Никитична ответила, скупясь на слова, еще размягченная после Васиних шуток:

— Комсомольцам на базу пришел мотоцикл. Чалый на нем собирается в район ехать. И вы с ним можете.

— Непременно. Но у них же машина есть?

— Мотоцикл — это премия ЦК комсомола. Командировку не забудьте оформить.

— Хорошо, Серафима Никитична.

Вася уже маячил в кузове полуторки, он, наваясь грудью на кабину, растолковывал шоферу, куда ехать.

Путь они держали через весь город на товарную станцию, потом Гурий курил в кабине, Вася с шофером оформили в конторе бумаги, прошли за ворота мимо вахтера с ружьем и канули надолго.

За воротами были склады-баракы из шлакоблока и красного кирпича под железными крышами. Сразу за базой поднималась гора, у самой ее вершины различалась отсюда белая деревенька и желтый лес.

В этот нудный час у ворот товарной базы Гурий Лопатин родил идею — во что бы то ни стало выбить для редакции мотоцикл, такой, как у комсомольцев, с коляской. Гурий не видел тогда по наивности и малой части проблем. Главная же проблема состояла в том, чтобы умненько обмануть государство.

Серафиме Никитичне идея понравилась, но она умывала

руки, предоставив Лопатину свободу действовать и рисковать добрым именем. Начальник управления по печати официальной бумаги не прислал, но позвонил и сказал: деньги — пожалуйста, если беретесь выбить машину за наличный расчет, а остальное — не моя забота. Он тоже умывал руки. В глазах же Лопатина деньги могли все, прочее казалось второстепенным, и он бахвалился: мы птичьего молока достанем, с неба звездочку сорвем и не перечислением, а исключительно за наличный расчет. Вася Чалый слушал эти легкомысленные речи и осуждающе качал головой: не говори гоп, пока не перепрыгнешь, но помочь взялся. Вася прикидывал варианты. Через сельпо при нажиме секретарей райкома партии мотоцикл достать можно, но как выцарапать из банка сумму наличными, как зарегистрировать покупку в ГАИ? Эти узловыe моменты Вася самостоятельно осилить не мог и пригласил для консультации бухгалтера отдела культуры райисполкома рыжего Елевича, шустряка лет за сорок, корифея по части сыздо-бульдо и прочего.

План операции разрабатывался в «Зверинце» — забегаловке, где наливали вино из кранов, украшенных львиными мордами под бронзу, на закуску подавали шашлыки и сосиски с капустой.

— Жизнь, она заставит и петухом кричать, — опорожнив первый стакан и вроде бы ни к чему заявил Елевич, после второго — добавил: — кому охота в дураках числиться? А никому, товарищи.

— Ты излагай! — приказал ему Вася Чалый.

— Излагаю. Первое. Вы перечисляете сумму, допустим, Анохинскому сельпо на кобылу с упряжью.

— К чему нам кобыла! — встрепенулся Лопатин, теряя присутствие духа. — Еще не хватало!

— Ты слушай человека! — осадил Лопатина Вася и заказал по третьему стакану.

Это в документах, как выяснилось, будет фигурировать кобыла («или меринок для благозвучия, если угодно»). Второе. Редакция покупает у того сельпо лес на конюшню,

овес и сено. Сумма примерно сойдется, и, значит, комар носа не подточит. Третье. Сельпо вместо кобылы или там мерина и прочего впридачу отпускает редакции мотоцикл с коляской. И руки в брюки, и хвост в карман. Мотоцикл регистрируется на чье-нибудь имя, как личный, иначе номер сорвется.

— А ревизия?— осторожно поинтересовался Вася, отводя глаза,— ей ведь турусы на колесах не заправишь?

— Ревизия? «Есть у нас лошаденка, правильно. Здесь не держим, в колхозе держим. Зима на дворе, товарищи ревизоры, а у нас конюха нет по штату. Платим колхозу толику, держат нашу лошаденку, можно сказать, из милости. И немодный нынче транспорт — лошадь. Да. Мотоцикл чей? А вот товарища,— Елевич показал на Гурия коротким пальцем и засмеялся,— товарищ его по билету денежно-вещевой лотереи выиграл, мама купила, золотой самородок выкопал в форме бараньей головы, как сообщалось в печати. Да».

Бухгалтер отдела культуры аккуратно дожевал шашлык и удалился. Вася заявил, что Елевич замутил свой светлый разум алкоголем, ход его примитивен, но попробовать можно — чем черт не шутит. Гурию же претила эта нечестная игра, он уповал на некую высшую справедливость и однажды поутру нагрязнул в городской банк, одетый с иголочки и важный. Под мышкой он нес кожаный портфель, который одолжил у одного молодого специалиста для солидности. Управляющей была женщина, и Гурий запасся анекдотом об английской королеве в госпитале, достаточно тонким, но с игривым подтекстом — как раз для дам в зрелом возрасте. Если же беседа разовьется в нужном русле, можно будет поддать насчет курицы, попавшей под колеса грузовика. Держаться решено было с достоинством и несколько развязно в манере человека хоть не совсем взрослого, но искусственного. Вот только марка подводила — сотрудник районной газеты. Всего лишь!

Когда Гурий, переждав негустую очередь, ступил в ка-

бинет, сердце его оборвалось, и он понял сразу, что для достижения цели остается, увы, вариант бухгалтера Елевича — сельпо, кобыла («или меринок для благозвучия»), сено, тес на конюшню и так далее — управляющая была похожа на классную даму, мосластую, с длинным и желтым лицом. Гурий не насмелился сесть и косноязыко понес что-то насчет сельской специфики, о неудобствах, связанных с отсутствием транспорта и бездорожьем. Документы как-то само собой вывалились из портфеля на стол, большой и холодный, как ледяное поле; управляющая посмотрела бумаги наметанным глазом и указала на дверь, обитую дерматином:

— Вы меня на преступление толкаете! — басом сказала управляющая.

«Она и отматерить может! — уныло прикидывал Лопатин, загребая обеими руками документы со стола, — тебя толкнешь! Она, поди, замужем? Муж, наверно, плюгавый и запыренный, иначе быть не может».

Лопатин плелся из кабинета с мокрой спиной, униженный и красный до ушей. А впереди еще будет Вася Чалый, Серафима Никитична и заведующий пропагандой Кузьма Кузьмич Савостьянов. «Господи, за какие грехи бьешь ты меня не жалеючи!»

И тут в скорбную, можно сказать, минуту, в минуту унижения, Гурия Лопатина осенило: «Есть же Маслов, он все может, все знает! Пойду сейчас же к Маслову».

Секретарша в приемной не торопилась открыть Лопатину дорогу в кабинет, она, видимо, любила покуражиться перед «незапланированными» посетителями и указала коротеньким пальцем с красным ногтем на табличку, висевшую над ее головой. Из таблички явствовало, что по личным вопросам Никифор Данилович Маслов принимает в четверг с двух до пяти часов. И не больше. И не меньше. Точка.

— Я же здесь работаю, в редакции!

Секретарша по особым, женским, каналам была в кур-

се, кто такой Лопатин, где и кем работает, с какого года рождения и где живет. Она считала, как и большинство сотрудников райкома, что этот черномазый долго в редакции не удержится, и потому питала к нему неприязнь. Да и потом он не нравился ей как мужчина, и это было главное.

Секретарша, молодая, толстая, уже сыроватая фигурой, умела при случае постоять на своем:

— Я тоже здесь работаю, но без приглашения в кабинет не вхожу.

— Резонно. Так доложите. Я на минутку, поверьте!

— Все вы на минутку.

Гурий был неопытен и не понял, что сейчас в самый раз бы изложить анекдот об английской королеве в госпитале. Он бы не попал в кабинет Маслова, если бы не Виктор Ильич Доронин, заскочивший в приемную невесть зачем. Виктор Ильич вмиг уловил ситуацию, снисходительно похлопал секретаршу по окатистой спине и подтолкнул Лопатина в «предбанник»:

— Ступай. Сонька у нас сегодня не в духе. Под мою ответственность, Соня. Наш же парень, ядреный корень!

Маслов был один, он сидел за столом в очках на кончике носа и манипулировал логарифмической линейкой. Перед ним лежала все та же красная тетрадь, и в нее он что-то периодически записывал. Пиджак Маслова небрежно, блестя подкладом, висел на спинке стула неподалеку.

— Здравствуйте, Никифор Данилович. Извините, я на минутку.

— Все вы на минутку! — Маслов нехотя отложил линейку и закрыл тетрадь. — Излагай, да покороче.

Гурий не совсем коротко, правда, но изложил.

Никифор Данилович снял очки, потер глаза пальцами и долго глядел в окошко. Он, по-видимому, переживал очередную неприятность, был расслаблен и устал.

— И как, Никифор Данилович?

— Транспорт вам нужен, не отрицаю. Машина ваша старая, да и шофер растрепа.

— Другого шофера надо взять.

— Не берутся что-то другие, заработки у нас не те. Ладно, шагай. С мотоциклом обмозгуем, студент, помогу я тебе, хоть и комбинация незаконная. Только уговор, никому ни слова, ни полслова. Особо с Кузьмой Кузьмичом поаккуратней,— глаза Маслова лукаво и грустно заблестели.— Разоблачит нас Кузьма.

— Он такой?

— Какой?

— Ну, разоблачитель?

— Обязательно. Шагай, студент.

— Молодой специалист, Никифор Данилович!

— Никакой ты не специалист, огурец ты зеленый.

...С товарной базы Вася Чалый вез Гурия на новом мотоцикле. Шофер из «Сельхозтехники» помог им поставить заранее припасенный и заряженный аккумулятор, залил бак бензином, дал масла. На коляске Вася написал «перегон», завел мотор, ласково погладил резиновое седло и указал Гурию на место в коляске.

В райкомовском гараже Вася снял номер с «газика» второго секретаря райкома партии, и после обеда они тронули в район.

Они ехали по выбитому асфальту шахтерского пригорода, мимо терриконов и лесных складов, пропахших смолою и прелым корьем, лихо выкатили на взгорок, где начиналась тополиная роща, почти голая, с черными ветлами. Дальше тянулся проселок, истыканный копытами, слева был глиняный откос, он поднимался высоко и круто, справа внизу уходил и оставался за спиной рабочий поселок. Даже сквозь шум мотора слышался петушиный крик и лай собак.

— Куда?— крикнул Лопатин.

— В «Красный пахарь».

— Хорошо. Отлично!



Председатель Иван Иванович Кротов встретил их неласково, он сидел в конторе одетый и, видимо, собирался уходить.

— Не было гостей, да вдруг нагрязнули!— сказал Иван Иванович и вздохнул как человек, которому выпало судьбой нести тяжелый крест.

Гурий спрятался в темный угол, Вася же, не смутившись холодным приемом, бросил на лавку плащ и бурую свою фуражку, причесался у зеркальца. Оно висело на черном гвозде ниже портрета Ворошилова, молодого, с усиками и при орденах на гимнастерке.

— Собрался куда, Иваныч?— осведомился Вася по-свойски,— ты на газетчика сердисься, да? Ты его извинить должен — парень и сам тоскует. Он ничего парень, опыта только нет — начинает. И фельетон он написал ничего — смешно.

— Они почему-то все за наш счет опыт набирают, им — малая наука, а бьют-то нас!— Кротов натянул кепку до глаз и шумно поворочался на стуле,— пусть он возьмет колхозную печать и сядет на мое место, я в сторонке побуду. И поверь, как тебя, забыл?..

— Лопатин.

— Ага, Лопатин. Ты бы, наверно, тоже сторонился разных бойких товарищей с блокнотами. Это я всерьез.

— Не пробовал, не знаю.

— А ты попробуй!

— Каждому свое, Иваныч.

— Верно, каждому свое, но в чужой шкуре побыть тоже не мешает!— председатель взял со стола ручку, положил ее аккуратно на письменный прибор,— вот так, дорогой товарищ, как тебя?

— Лопатин.

— Да, Лопатин.

— Будет тебе, Иваныч!— сказал Чалый в сердцах,—

переживает же человек! Совесть есть, так и научится правильно думать. И никто критику не любит. Ведь он прав в чем-то. Ты бы уж помолчал, Иваныч!

— Я бы его взашей попер за такую правду, да раздумал: его сам Маслов под защиту взял — не сердись, говорит, на парня, он вроде хороший парень, только петухом жареным еще не клеванный. Так что знай это... как тебя?

— Лопатин,— с готовностью подсказал Вася Чалый,— запомнить не можешь, что ли?!

— Вот, Лопатин. Память у меня на фамилии плохая. Вот. Если бы не Никифор Данилович, я бы тебя в колхоз не пустил больше. Это серьезно.

— Хватит, Иваныч!

— Ладно. Хватит на самом деле. Что-то разворчался я.

Председатель с Чалым посплетничали немного о Маслове: своеобразный мужик Никифор-то Данилович, очень сложный человек. И умница, не отнимешь.

— Тут с неделю назад, что ли,— сообщил Кротов,— завернул Маслов в Тальники. Да. Был он приглашен новую школу посмотреть. И не посмотрел: усек в коридоре уборщицу в рваном халате, заругался и повернул назад, уехал. Директриса долго голову ломала: к чему бы такое? И догадалась, созвала педагогический совет, поставила вопрос: «Внешний облик учителя». В учителе, дескать, все должно быть красиво. Да. Оно и правильно: сельский учитель наш в неглаженных штанах ходит, кое-как одевается. Опростился наш учитель, а одернуть его некому, стеснительно одергивать...

Цвет окон в конторе был красно-желтый, закат вытягивался через комнату к порогу, на полу отпечатались ветки деревьев, скворешня, птицы на ветлах. Спину Васи Чалого обвело рубиновым кантом. Стекла в конторе горели, пламя языком ударило в потолок, заплясало на двери; цинковый бак осыпался искрами, как утренним снегом. По лицу Гурия скользнуло мимолетное тепло. Солнце заспе-

шло уйти, по стенам долго еще сновали его отблески, они бледнели и стирались.

У крыльца бил копытами и шумно дышал рыжий кровососский жеребец, в соседней комнате потрескивал арифмометр, там кто-то осторожно кашлял.

— Когда в новую контору въедешь, Иваныч?

— Потерпится. Важнее заботы есть.

Председатель разговорился. Речь незаметно зашла о Кузьме Савостьянове.

— Ну и буйная головушка! Жил у меня больше недели, с лекциями выступал о вреде религии и суеверий, на ферме в первой бригаде доярками командовал, надои повышал, и там кто-то шепнул ему, дескать, зерно с тока ночами тащат. Он прибежал до меня, глаза по ложке, рукой за сердце держится: принимай меры, раззява! Да. Я ему толкую: брешут, Кузьма Кузьмич. Ты бы спать ложился, спать в самый раз теперь. Давай, говорит, ружье, сам жуликов укараулю. Дал я ему отцову берданку, патронов в карман насыпал. Ступай, коли приспичило, я лично намерен спать и ничего больше. Ускакал он на лошаденке, с утра чуть свет обратно, значит, в двери ломится. «Буди народ по тревоге, меня чуть не убили, сволочи!» Кто тебя чуть не убил, за что?!

— И вправду так?— спросил Чалый, настораживаясь.

— Хрен разберет, кто его там убивал. Залег, мол, в кустах, берданку на изготовку поставил, он же старый партизан, не забыл, с какого конца ружье стреляет. Ночь, значит, без звездочки, дождишко плескает. Лежать неудобно. А лежит.

— Настырный дед.

— Еще бы! Ну вот. Подъезжает к стану легковая машина. Трое вроде было. Вылезли, костерок сладили, водку пить стали. Я думаю, рыбаки из города. И дальше как в цирке получилось: кинули рыбаки порожнюю бутылку от греха и Кузьме той бутылкой угадали точнехонько промеж глаз. Нарочно ведь не придумаешь!

— Дальше что?— Вася Чалый надувал щеки, чтобы сдержать смех,— дальше что?

— Дальше, говорит, ничего не помню, мрак, товарищи, наступил в сознании. Как он еще на курок не нажал, партизан-то наш! Я смотрел патроны, картечью заряженные были, сурьезно! Нажал бы — и наши не пляшут. Разбирайтесь, граждане судьи, кого за решетку прятать, кто прав и кто виноват.

Вася ударился затылком о спинку стула, скалясь белыми зубами.

— Он же бюллетенил неделю. Теперь ясно, почему.

— Ну. Простыл, да и личность разнесло страшенно. Боюсь за него, он что ребенок, все близко к сердцу кладет. В прошлом году тоже душу из меня вытряс. Есть у нас старик, Грязнов по фамилии. Ты, Вася, должен его помнить?

— Знаю.

— Активист. Ему сейчас за семьдесят, на покое. Пенсия маленькая, хатенка валится, и один, как перст, вдобавок. Кузьма и прижал меня за этого Грязнова.

— Тебя прижмешь!

— Вспомнил: у Грязнова в войну телка на убой взяли в фонд обороны. «Так верни, председатель, долг. Деньгами верни или натурой». Да ежели я каждому начну военные долги возвращать, у меня никакой казны не хватит! «Плати, шкуру спущу!» А документ на того телка есть? «Нет документа». Вот видишь — нет документа. «Человеку не веришь? Мы с ним тридцать лет знакомы. И мне не веришь?» Слово-то твое, мол, к делу не пришьешь. «Плати, я с тебя с живого не слезу!» Правление собрал, наскребли по сусекам. А Кузьма опять. «Он для вас жил и без штанов остался, вы же, сквалыги, на нем копейку экономите». Закон, говорю, есть закон. «Кто их пишет, законы? Мы пишем. Ты и напиши: взять над старым коммунистом шефство!» Кричит так на меня и за сердце держится.

Контора опустела, люди из дальней комнаты ушли вежливо и тихо. Кто-то напоследок зажег лампочку в кабинете председателя, она висела низко, волосок ее тлел красным червячком. Кротов сказал, щурясь на лампочку:

— У электриков опять что-то неладно, вот уж возьматься за них некому, мучители!

Где-то близко прошел трактор, охнули, затрепетали стекла, заржал у крыльца жеребец Орлик. Кротов послушал и кивнул: правильно, самый раз сейчас пройти этому трактору. Шум мотора затухал и глух, отдаляясь, но траки звенели еще долго. Женщина тонким и тошным голосом звала какого-то Мишку ужинать. Кротов улыбнулся глазами: правильно, и Мишку к столу звать самое время. Все, значит, идет по порядку.

Вася Чалый, сложив руки за спиной, рассматривал Ворошилова на портрете. Ему, видать, нравился курносый маршал в гимнастерке при многих орденах.

Лопатин, немного ободрясь, решил, что может задать председателю вопрос, давно висевший на языке:

— Почему в таком богатом колхозе такая, прошу прощения, убогая контора?

Кротов округлил бровью глаз и поглядел этим глазом на гостя с удивлением.

— Контора — это же лицо колхоза.

— Не возражаю. Так с лица воды не пить, обождется. Дыр еще много.

— Ну а плакаты зачем здесь?

— Наглядная агитация, вся колхозная история перед нами: кукуруза, парники, травопольная система, сады, пруды и прочая, прочая. Интересно получается.

— Пожалуй...

Кротов протяжно зевнул и вытер замокревшие глаза рукавом фуфайки.

— И нам ужинать в самый раз. Вы где рассчитываете остановиться?

Вася ответил:

— Еще не прикидывали.

— Тогда ко мне!— заявил Кротов и взял со стола плюшевую кепку, которую до того снимал и надевал несколько раз,— и водки даже выпьем — за хорошую погоду. И с устатку, конечно. Айда, ребята!

— Я в конторе останусь,— заупрямился вдруг Лопатин. Он и сам не ожидал, что скажет так, во всяком случае объяснимых причин для отказа у него не было.

— Какая такая необходимость,— подозрительно и с явной обидой спросил председатель,— в конторе-то ночевать? Если мы с тобой поужинаем и выпьем, допустим, так что, думаешь, про меня и фельетоны писать нельзя будет? Пиши на здоровье, черт с тобой, но я же сегодня — хозяин, ты — гость мой. Или как?

— Мне поработать надо,— ляпнул Гурий и заметно покраснел!

— Раз так, то оно конечно, кхе, рабочий человек! Столовая у нас до десяти открыта, успевай.

— Спасибо.

— Сторожихе скажу, чтобы дома оставалась. Запрись. На крючок запрись.

— Хорошо.

— И ладно. Айда, Василь. Не будем мешать занятому человеку.

Чалый улыбнулся Лопатину напоследок с порожка. Улыбка его была коротка и неясна.

Гурий слышал, как председатель ласково ворчал на жеребца, как спустя некоторое время застучал колесиками ходок. Стук этот примяк, когда ходок выкатился на песок, потом колеса заскрипели на галечнике. Звуки уходили и глохли, погружаясь в сумерки,

точно в воду. Оглашенно заревел мотоцикл. Это Вася тронул вниз по улице вслед за Кротовым.

Лопатин стоял у окна. Ему вдруг сделалось хорошо. «Господи! — думал он. — И почему мы так редко вспоминаем о том, что нам выпало счастье жить?»

В озере играли закатные краски.

Лопатин осторожно, пальцем, смахнул с подоконника в ладонь себе божью коровку, потом заметил еще и еще одну... Они ползли цепочкой, сурово и медленно, будто танковая колонна на марше. Коровки были одеты в ситчик — желтые пятна по черному фону, попадались и зеленые, с крапинками морковного цвета. Они раскрывали свои сарафанчики, натораживали крылья и почему-то не улетали. «Зимовать собрались, — догадался Лопатин, — спать будут». Он нашел на столе пустую коробку из-под скрепок и сыпал в нее с ладони всю эту живность, она сыпалась на дно коробки с четким металлическим стуком. Лопатин отдался занятию сосредоточенно, прикусил язык и даже засвистел носом.

— Домой я вас отвезу, — сказал вслух, громко, — и по весне отпущу вас на волю, а?

Справа падало солнце, небо густело, бледно проступали звезды.

Трава на косогорах вокруг озера была еще не схвачена осенью и казалась изумрудной, редкие кусты боярышника зажглись, словно костры. Каждый куст горел своим огнем — охряным, рубиновым, медным, золотым, кровавым. Озерцо то вспухало на глазах и было тогда похоже на каплю, лежащую в изгибах зеленого сукна, то казалось темной ямой. Озерцо гасло и зажигалось, то блестело фольгой, то напоминало плоский камень, брошенный в поле. Туч на небе не было, и луна стояла, точно прибитая. Завтра снова, слава богу, будет погожий день.

Через село с малым интервалом тянулись в город машины, груженные зерном, внизу по дороге пунктиром двигались круглые пятна уже зажженных фар. Напрягая слух,

Гурий Лопатин улавливал дальний перегуд гармошки, смех и песни. Слова не различались, но одна строчка, последняя, донеслась явственно и чисто:

...А я в этот вечер засиделась одна...

«Про меня поют»,— усмехнулся Гурий и закурил.

В этот момент кто-то открыл наружную дверь конторы, скрипнули половицы в сенях, поздний гость долго нашаривал скобу второй двери, наконец, ступил через порожек и, ослепленный, загородил рукой глаза.

— Здравствуйте,— сказал человек, не отнимая руки от лица. Он был небольшого роста, тонок и статен, в хромовых сапогах, телогрейке и черном картузе с лаковым козырьком.

Лопатин узнал Гудимова и немало обрадовался ему.

— На ловца, Семен Георгиевич, и зверь бежит! Я наметил себе отыскать вас завтра поутру — потолковать надобно.

— Затем и прибеж,— Гудимов ясно улыбнулся, провел по усам маленьким кулаком и, веселея, подал руку.— Чалый сообщил, что вы здесь, и я побежал. Ко мне милости просим, мы одни с женой, дом наш просторный, и гостям завсегда рады. Собирайтесь.

— Неловко вроде бы... А бедному собраться — только подпоясаться, не так ли?

— Чего же неудобного! Гостиницы у нас нет, все приезжие на постой по избам пристраиваются,— Гудимов все улыбался, и хорошие его зубы даже при яркой конторской лампочке выделялись, белея. Лопатину не нравились только усы Гудимова — они, обегая рот, висели, чахлые, как у скопца. «Посоветую сбрить»,— решил Лопатин,— ближе познакомимся и скажу прямо, что портят его эти веревочки.

— А контору на кого оставим?

— Я тетке Дусе крикнул, сейчас явится.



Ночь была прозрачная, зеленовато-желтая. Гудимов шел впереди и подсвечивал путь фонариком. Они только отошли от конторы, и Лопатин вспомнил, по какой причине он думал о Гудимове именно в ту минуту, когда Гудимов топтался в сенах. Лопатин думал о письме в редакцию, и ему хотелось посмотреть фотографию гражданина, «который жил и вдруг помер».

— Где доска Почета? Убрали?

— На новом месте она,— Гудимов, не останавливаясь, показал фонариком за спину: там.

— Вернемся?

— Это еще зачем?

— На фотографию посмотрю.

Гудимов, видимо, не одобрял прихоти Лопатина, но, по-медля, повернул назад.

— Вы не сердитесь, Семен Георгиевич.

— Я и не сержусь, товарищ Лопатин,— Гудимов тихо засмеялся и чиркнул спичкой, прикуривая,— не сержусь. Со мной тоже бывает — припечет блажь, мне вынь да положь, иначе ночь не усну. Все мы, если присмотреться, малость трахнутые. Совсем уж правильных людей нет. Правильные — они скучные.

— Верно — скучные.

Гудимов засветил фонарь и снял картуз:

— Вот он.

Лицо на фотографии было обыкновенное, и никаких страстей на нем не запечатлелось: круглые и напряженные глаза, большие уши, прижатые к черепу, словно приклеенные мочками, тяжелый подбородок. Человек, был, наверно, широкоплеч, невысок и ходил по земле плотно.

— Написал я и зарекся,— сказал Гудимов за спиной Лопатина,— мертвые ведь сраму не имут.

— Да, мертвых — в землю, живых — за стол.

— Чьи слова такие?

— Поэта одного. Не помню...

Гудимов погасил фонарик и замолчал, посверкивая огоньком папирасы. Но молчать он долго не умел:

— И другое возьмем: жизнь мертвых — наука живым. Я так понимаю.

— Что ж, оно так...

— Я и озадачился: зачем он все-таки жил? С него ведь пример велели брать — передовик, трудяга. Дальше-то что? Дальше и ничего. У нас лишь бы работал и водку не пил через горлышко. И ладно.

— Но ведь у него семья есть, Семен Георгиевич. Дети.

— И это правильно, зачем семью тревожить. Я понял уже.

Гурий то и дело спотыкался, припадая к спине Гудимова, которая пахла травами и печным дымом.

Тропка вела в гору, слева был ельник, неподвижный и темный, справа и внизу было село, над головой было небо в звездах, близкое и доброе. Через ельник с посвистом пробивался ветерок, лаяли собаки, как сердитый мужик, ухал филин. По улице мимо конторы все шли и шли груженные зерном машины.

— Я на отшибе живу, — переведя дыхание, сказал Гудимов.

Лопатин вдруг хватился божьих коровок, он лихорадочно обшарил карманы, не нашел коробки и расстроился. Возвращаться в контору — далеко и неловко мучить Гудимова. Но завтра пропажу уже не воротить: смахнет коробку уборщица, как пить дать смахнет! Вот еще не было печали!

— Слушайте, Георгиевич, божьи коровки, они просыпаются весной?

Гудимов, кажется, некоторое время смеялся, не разжимая губ, беззвучно, и, остановившись, покачал головой. Он не хотел обидеть гостя, но и сдержаться уже не мог. Лопатин тоже остановился и некоторое время безоружно дожидался ответа.

— Мне знать это надо, какой век у божьих коровок, я

ведь лесовод, в техникуме учусь заочно, а вот не в курсе, честное слово! — Гудимов широко развел руками, — но не один год, по-моему. Выходит, после спячки просыпаются. К чему, однако, вы интересуетесь?

— Да так, интересуюсь...

— Понятно.

Гудимову ничего, конечно, было не понятно, и этот костлявый парень с развихренной шевелюрой, неловкий и застенчивый, начинал его забавлять.

— Вы сюда приехали специально насчет божьих коровок? — в голосе Гудимова была неприкрытая издевка, и газетчик рывкнул вдруг, как городской:

— Глупости, Семен Георгиевич! Глупости!

«Нервный какой-то!» — испуганно подумал Гудимов и смолчал, потому что испытывал непреходящее уважение крестьянина к людям возвышенным. Гудимов сам пишет. В прошлом году так же вот по осени он единым махом начал и в неделю закончил повесть про сплавщиков леса. Повесть получилась насквозь горькая: все герои, целая бригада, сложила буйные головы весной, спаслась лишь по случайности повариха Ларька Звягина, а ей-то как раз покончить счеты с жизнью велел сам бог по причине распутства и несерьезности. Гудимов, заранее тоскуя по поводу своей творческой неудачи, собирался читать сегодня Лопатину произведение, имеющее заголовок — «Там, у Мраморной скалы», или «Последний сплав».

Лопатин постоял на тропинке, размышляя, идти ему дальше или вернуться в контору, но все-таки решил идти дальше. Гудимов почувствовал облегчение, когда снова услышал за спиной его неуверенный шаг.

В озерке неясно плескались ночные блики; кряхтели спросонья перелетные утки.

Впереди обрисовался большой дом, он был тяжел и тесен, светились лишь сени, свет лампочки доставал до крылечка, охватывал часть двора в бутовом камне, желтую березу, бочку, перевернутую вверх дном, и собачью будку

у забора. Дальше виделся сарай с плоской крышей, стог сена возле него, похожий на огромную матрешку.

Гурий сел на ступень крыльца, влажную от вечерней росы, закрыл глаза и ощутил всем телом, как наваливается на него звенящая усталость, как кружится и падает земля. Встать не было мочи. Но хозяин звал. Гурий снял сапоги и, спотыкаясь, прошел в сени, где пахло дегтем и грибами. Запахи эти успокаивали, мирили с домом.

Встретила Гурия сероглазая женщина в коротком халате, молодая и смешливая. Он сразу вспомнил: это на нее в прошлый раз сердчал Вася Чалый. Звали ее Марией. На ее лице выделялись черные мужские брови. Мария держала на вытянутых руках холщовое полотенце, расшитое петухами, и улыбалась. Лопатин взял полотенце, повернулся спиной к ней у зеленого рукомойника в углу; он хотел, чтобы она ушла, но она ждала чего-то, привалясь плечом к косяку, и он слышал ее тихий смех.

— Вы рубашку-то скидывайте, до пояса мойтесь,— посоветовала она с обезоруживающей простотой,— стесняться-то нечего.

— Спасибо,— ответил Лопатин,— я так...

— Разве я мужиков без рубах не видела? Сколько хошь видела.

— Чего ты пялишься на человека! — крикнул из горницы Семен Гудимов, — поди сюда!

— Городской, а робкий какой! — Мария, смеясь так же тихо, выскользнула из сеней.

Лампочка, прикрытая эмалированным абажуром наподобие тарелки, висела низко, освещала резким кругом лишь середину горницы, все остальное было в полумраке, и этот полумрак, казалось, можно потрогать, провести по нему ладонью, как по шкуре

теплого зверя. Слева, в углу, стояла кровать, рядом с кроватью шкаф, за шкафом шуршал и потрескивал приемник, светилась его рубиновая шкала. Передавали камерный концерт, Гудимов убавил звук, чтобы музыка не мешала разговору, и отошел к шкафу, растворил обе его створки, по стенам метнулись желтоватые блики, остановились, качаясь, высветили фотографии в одинаковых рамках. На фотографиях были сняты дородные тети в платках, солдаты с шапками, детвора кучкой, охотник с собакой и ружьем, усатый парень в папахе и на коне...

Гудимов, не поворачиваясь, ткнул в фотографии пальцем.

— Родня. Теперь уж никого не осталось.— И поставил на край стола рюмки и водку в круглом графине, собирался уже сесть, но поскреб затылок, взял рюмки в горсть и вернулся со стаканами.

— Так-то по-нашенски будет.

Лопатину было все равно — рюмки или стаканы, он не хотел пить; его клонило в сон, он слышал в ушах частый и тугой стук сердца.

Жена Гудимова была где-то далеко, в другой комнате. Шаги ее были легки и негромки. Под лампочкой дымным столбиком подрагивала мошкара.

...Лопатин увидел во сне, будто стоит он на берегу моря, у самой кромки воды, и чувствует ногами горячий песок. Стоит он будто на берегу и смотрит на солнце сквозь бутылочное стекло, обкатанное водой за многие годы, величиной чуть больше горошины. Там, внутри стекла, в непроизжимой его глубине, качается зеленый ветер.

Гурий видел еще девочку в платьишке, она бросала в море медные деньги.

— Зачем деньгами соришь? — спросил будто Гурий, облокотясь на чугунную решетку, от которой пахло заводской литейкой, — лучше мороженое себе купи.

— Я бросаю деньги, чтобы вернуться сюда еще, — от-

ветила девочка и показала в ладошке мокрую мелочь,—  
мама велела бросать.

— Ты собираешься сюда вернуться?

— Да, хочу.

От пристани неподалеку отвалил пароход, гукнул и поплыл, качнув воду, оставил за кормой широкий след торфяного цвета.

«И я хочу вернуться»,— подумал Гурий.

Море было спокойно, все в слепящей ряби. На горизонте сквозь вязкую синеву проступали облака.

Гудимов принес полную тарелку малосольных огурцов, постоял в раздумье и тронул гостя за плечо. Лопатин открыл глаза, зевнул в кулак, потер ладонями щеки.

Мария, скрипя половицами, вошла в горницу, села, положила руки на колени и, сдержав смех, вызывающе уставилась на Лопатина темными глазами. Она была непосредственна, словно лукавый подросток, и Лопатин забавлял ее.

Гудимов разливал водку, сохраняя на лице чинную строгость. Водка лилась в стаканы щедро и нестрашно— как вода.

— Вы на море бывали? — поинтересовался Лопатин. Он обратился к Марии. Она сразу посерьезнела, выпрямилась на стуле, шумно вобрав воздух ярким ртом.

«Почему у них нет детей?»— вдруг подумал Лопатин.

Вокруг лампочки носился жук и нудно зудел. Гудимов, хмуря, помахал возле абажура полотенцем. Жук канул в темноту, слышно было, как он ударился об оконное стекло.

— Моря мы не видели,— сказал Гудимов,— дальше Москвы нигде нам бывать не доводилось.

— И напрасно не бывали, поверьте мне!

— Верю, отчего же не верить. Оно бы и надо к морю-то съездить, да не получается: учусь заочно. Кончу техникум, тогда уж.

— А ему сроду ничего не надо,—нараспев вставила Мария,—прилип он к своему лесхозу и отлипнуть не может. Все правду ищет. И какое тебе дело до правды этой, ты же не колхозник теперь, лесник ты, при питомнике работаешь!

— Не твоя забота, Маша. Выпьем, товарищ Лопатин,—Гудимов протянул гостью стакан.—Чокнемся? Дай бог, не последнюю. Или как?

— Все равно.

Мария тоже пригубила водки и закашлялась, качаясь на стуле, она прижала кулак к губам, из ее напряженно расширенных глаз редко падали слезы.

— Не пошла,—посочувствовал Гудимов и подмигнул Лопатину,—одно слово — баба. Но ничего — первая колом, зато вторая соколом. Обязательно.

— Будь она проклята, водка твоя!

— Не пей.

— Нет, буду, пока не научусь.

— Хреновая эта наука. Да.

Горница после выпитого сделалась большой и гулкой.

— Ты бы ложилась, мать? — попросил Гудимов жену,— без толку слушать тебе, честное слово. Я товарищу собираюсь свои произведения почитать.

— Что я дура совсем, не пойму, да? Я хоть буду знать, Сема, ради чего всю зиму спала одна, несогретая и неласканная. Ты писал, я спала. Я выспалась.

Гудимов пальцем слабо коснулся усов, расправил листки скрученной в трубочку толстой тетради в дерматиновом переплете и, погода немного, принялся читать рассказ под названием «Первое свидание».

Гурий ощущал хмельную тяжесть, но то, что читал Гудимов, принимал цепко и удерживал в памяти на потом целые фразы, резавшие слух. Сквозь нудное косноязычие в повествовании различались, однако, живые детали.

...Солдат-первогодок, серая деревня Иван Шмырко, знакомится в кино с маляршей Ксенией Зубовой, провожает ее до общежития и по пути все тужится изложить историю про кобылу Зорьку. Та самая, значит, кобыла пила вино и опохмелялась. «Утрость натурально толчется у сельпо и поджидает, кто из мужиков пожертвует остатки. Спisanная, значит, кобыла, никому не нужная. Жалуют ее, председатель забить не дает».

Ксенька Зубова слушала Ивана кое-как, смеялась невпопад так пронзительно, что прохожие спотыкались и смотрели им вслед.

У подъезда Шмырко спросил, потя ладонями

— Так я приду?

— Милости просим, моя комната — седьмая, — ответила Зубова и зевнула, не стесняясь.

Ксенька была толста, плоскоступа и срыжа, но Шмырко не замечал, что она дурна собой — он мучился плотской тоской, ему снились женщины.

Иван Шмырко, как уговорились, явился в субботу. Зубова в комнате находилась одна и мыла пол. Иван сел у порога на красную табуретку, прикрыл ладонью бутылку — она лежала в кармане галифе и холодила ногу. Иван сглатывал слюну сухим горлом, косился на ядреные икры малярши, на ягодицы, обтянутые коротким и мокрым платьишком из ситца. Было ему стыдно и тягостно. От Зубовой пахло потом и дешевыми духами. Она сдувала волосы со лба, округляя губы, опять без причины и пронзительно смеялась, хотя он уже не говорил про кобылу, которая пьет вино и опохмеляется. Ивану не нравился вымученный смех малярши, но он терпел, понимая, что надобно бы действовать, надобно выставить поллитровку на стол, потребовать какой ни есть закус и дальше все должно сладиться как по писаному. Бывалые ребята в казарме наказывали не смущаться, потому как дело его верное. Но солдат закаменел. Он моргал, и рот его устал держать улыбку.



Зубова на глазах гостя собрала исподнее бельишко, включила радио на полную, чтобы он не скучал, и убежала в душ. Наказала дожидаться. Но Иван ушел. И сам не мог понять, зачем ушел. Пол-литра он выпил один на скамейке в старом парке, окосел без привычки и заплакал, отягощенный безусловной своей неудачей.

...Гудимов откашлялся и сказал:

— У меня еще тут кой-что есть.

Мария пригорюнилась, подперев щеку кулаком.

Лампочка под абажуром вдруг притухла, на короткие секунды сомкнулась над ними тьма, и сразу же, больно, свет резанул глаза.

— От зараза, каждый вечер так! — Гудимов щелкнул выключателем. — Минут пять потерпим, пока они там баблуются. Электрики тоже, язви их в душу! — он ощупью, ругаясь, воротился на место.

В плотной темноте горницы лишь чуть белело окно. Лопатину почудилось, что за окном, в далекой дали, горит костер — то меркнет и стелется, то поднимается петушиным гребешком. Лопатин был уверен, что у костра — двое. Она, поджав колени, сидит на колодине и бросает в огонь сухие ветки. Он лежит рядом, смотрит в небо и курит папиросу. И кругом — ночь. В поле, близко, пасутся стреноженные кони, и под ударами их копыт мягко сотрясается земля.

Костер гаснет, растворяясь в малиновой лужице углей, кружатся, пропадают в темноте легкие хлопья пепла.

Сейчас трава в поле еще сухая, воздух же свеж, и прохладен. Темные холмы катятся в зеленоватую даль, как волны океана.

Гудимов ворчал, сердясь: ему не терпелось читать дальше, дерзость его таяла, он уже каялся, что раскрывается перед чужим человеком. Гудимов приготовился услышать суровый приговор, но в глубине души тлела у него малая надежда и на похвалу. Пусть бы хоть сказал этот долговязый: вам, мол, стоит работать, есть в вас божья искра, тог-

да бы и горы свернуть можно, с надеждой-то. Надежда — половина успеха.

Лопатин напряженно и долго смотрел в окно, но костра уже не увидел. Или он погас, или его никто и не зажигал там, в поле.

Во дворе залаяла собака. Мария испуганно шепнула:

— Неужели до нас кого черт несет!

— Никого там нет! — Гудимов в сердцах бросил на стол свою тетрадь.

— Я погляжу, — прошептала Мария. Гурий чувствовал: она стояла рядом. Стояла она долго, прислонясь к спинке стула, на котором сидел Лопатин, и вдруг коснулась рукой его головы, положила теплую ладонь ему на шею. Потом рука бессильно упала. Прикосновение это было зовущим и легким. Лопатин зябко поводит плечами, встал и подвинулся в сторону от стола — он дал понять ей, что вороватая эта ласка чужда и непонятна ему.

Мария ушла в сени, там скрипнула дверь, у крыльца загремел кобель, привязанный на ночь. Мария крикнула со двора веселым голосом:

— А никого и нет! — и засмеялась как давеча, в первый раз, грудным приятным смехом. Она вернулась, на-шлепывая мужниными калошами.

— Включите, пожалуйста, свет! — попросил Лопатин, — можно ведь уже включать?

Гудимов жевал огурец и капал рассолом на тетрадь.

— Осторожней, — предупредил его Лопатин, — читать нечего будет.

— Я почти что наизусть свои произведения помню, кровью писал.

— Что ж, похвально. Еще читать будете?

— Не против...

— Послушаем.

— Он про себя изложил в рассказе, — заявила Мария,

сдерживая зевоту и стерея кулаком со щеки истомную слезу,— несмелый он был, совсем несмелый. Я за него спокойная — не изменит. Ты бы взял да изменил хоть разок, Сема!

— Зачем?

— Я бы хоть поплакала, да соперницу свою, злую долю, за косы оттаскала.

— Не мели, Емеля!

— Не буду. Читай. Только грустно у тебя получается, плакать тянет.

— Правду пишу.

— Не всякая правда с руки, Сема.

— Помолчи! Заладила сорока про Якова.

— Не мешаю уже. Читай.

## 12

На далеком сплаве у черта на куличках, в верховьях горной реки Хомутовки, зиму и весну стояла бригада — двенадцать мужиков, собранных с бору по сосенке, и с ними была женщина, повариха Ларька Звягина. Жизнь на сплаве не в жизнь, и все из-за Ларьки. Интриги завязались среди мужиков, отчуждение наступило, случалась даже поножовщина, потому что спать с Ларькой хотел один, она же не отказывала никому. Всех же было двенадцать.

Когда над брошенной заимкой стрекозой зависал вертолет, бригадир, рыжий Савелий Погорелов, парень вполне надежный, если не считать его манеру доказывать правоту луженой глоткой и тяжеленным кулаком, загоразивал глаза ладошкой и пел: «Во сне, как андел, появился, на сердце искру заронил». И появлялся в бригаде директор леспромхоза Маркел Маркелыч Суслов — толстый, красный от ветра и хитрый мужик. Бригадир разговаривал с начальством грубовато, но по-своему любовно, потому что без-

условно уважал Суслова. И все тайком уважали Суслова: он был прост, доступен и справедлив. Бригадир Савелий Погорелов всякий раз говорил директору одни и те же слова: «Кончу я свою карьеру с этой кодлой опять на выборной должности — старостой тюремной камеры». Директор тер мощный загривок платком (он всегда потел — в мороз и зной) и отвечал серьезно: «Приятная должность, Савелий: харчишки там какие ни есть, а дармовые, постель с чистым бельем тоже предоставляется, если матрац в картишки не просадишь. Дышать и там можно».

Бригадир целую зиму клянчил у директора новую лебедку: «Нынче, Маркелыч, техника на первом плане. Вручную мы две операции с душевной легкостью производим — водку на троих разливаем, да деньги из кассы берем».

Суслов не смотрел, сколько повалено леса, он верил Савелию. И некогда было проверять: директор всегда торопился.

Последний раз Маркел Маркелыч побывал на брошенной заимке весной. Он был тих и озабочен, велел Ларьке Звягиной собрать лапотину и лезть в вертолет, потом отозвал в сторону бригадира и сказал, отводя глаза: «Будь начеку, Савелий. Прошу! Снега, видишь, большие нынче и весну сулят дружную. Как попрет вода разом — хана вам здесь. Вели ребятам лес-то выше закатывать, что ли. Из избы уходите. Я вам палатки привез, новые совсем. Пол настелите, и любо-дорого ночевать будет. Прошу тебя, Савелий!»

Савелия тоже гнула эта забота, но не смог он, впервые не смог, заставить сырую свою публику пошевелиться лишнее. Ему отвечали, матерясь, что новой лебедки так и нет, а пуп рвать без толку им чего-то не в охотку. И с заимки не смог их вытолкать. «Бог не выдаст, свинья не съест!»

Бригадир понимал, что устали ребята, что по всем меркам наступил предел.

Последние ночи Савелий не спал — слушал реку. Она

еще стояла прочно, но кругом уже шелестели ручьи и с мокрых сосен сползал, падал снег. На южной стороне сопки обозначились проталины. В тайге запахло хвойным паром. В погожие дни лед на реке покрывался водой, она, светлая насквозь, морщилась, бежала к устью.

На крутояре ниже заимки чудом росла береза. Была она стройна и по весне нарядно усыпалась почками, одевалась зеленым туманом. Однажды, когда бригадные мужики чаевничали под дощатым навесом, с горы хлынула белая лавина, береза вздрогнула макушкой, повалилась вперед, чтобы уже не встать. Савелий давно зарубил про себя: если береза упадет, быть, значит, беде.

И предчувствие сбылось: талая вода прорвала затор выше по течению и хлынула врасплох, ночью. Катилась она валом, пенилась, как брага, перла ледяное крошево, секла деревья по берегам, будто перестоялую траву, набухла дурной неумемной силой.

Савелий разрядил свою берданку в белый свет и поднял людей, чтобы спасались кто как может, они же кинулись к штабелям, взялись бестолково закатывать лес на сухой взлобок. Савелий со слезами кричал им, чтобы уходили немедленно по тропе вверх, но они не послушались его опять.

За первым валом несся второй, выше первого. Он раскидал штабелеванный лес, как солому, подхватил артельщиков и унес в темный котел. Некоторое время Савелий видел еще белые нательные рубахи, слышал крики о помощи. Видел и слышал недолго. И то слава богу: меньше досталось мучиться.

Погорелов мог бы спастись, но стоял на камне под крутояром и дожидался судьбы.

Вдоль реки со свистом прокатился ветер, сорвал шапку с головы, спутал волосы. Савелий, точно молясь, согнулся, упал лицом в реку, больно ударился о коряжину, она поволокла его за собой туда, где между двух скал, похожих

на ладони, свитая жгутом вода неслась быстрее самого быстрого поезда.

Савелий плыл, держась за коряжину, и думал про разное. Последняя его мысль была о том, что умирает он хорошо. Жил неряшливо, паскудно, можно сказать, а вот умирать довелось хорошо.

Утром, когда развиднелось, над затопленной заимкой покружил вертолет и пропал за горами.

Днем река поутихла и села. На то место, где в последний раз стоял бригадир Савелий Погорелов, картинной поступью прибежал мараленок, смочил губы в реке и позвал маралиху. Она не откликнулась.

На сопках горел снег. Уползали прочь синие облака.

— Вот так.— Гудимов вздохнул и неверной рукой плеснул в свой стакан водки.

Мария скрипнула под столом калошами. Звук был неприятен и морозил кожу.

— Вам налить?

— Спасибо, хватит.

— Я волнуясь, мне не мешает,— Гудимов, качнувшись назад, вылил водку в широко открытый рот. Лопатин видел сквозь донышко стакана его зубы, сильно увеличенные стеклом.

— Всех ты порешил, Сема! — Мария сокрушенно покачала головой,— зачем всех-то?

— Так было.— Гудимов ковырнул вилкой яичницу, подернутую сероватым налетом жира. Он исподлобья поглядывал на Лопатина, а Лопатин молчал, он не мог сейчас говорить с привычной округлостью о писательском мастерстве и прочих высоких материях. Вспомнились ему университетские литературные кружки. Там собирались больше для того, чтобы блеснуть и покрасоваться. Да и спорить-то всерьез было не о чем: в стихах преобладала сверхкамерная лирика, проза же, за редким исключением, грешила эстетствующим худосочием. Серьезные ребята, особенно

из бывших рабочих, кружками пренебрегали: было там скучно и смешно.

Повесть Гудимова была сделана коряво, но все-таки она пахла, жгла, волновала. И правды в ней было слишком много.

Повариха Ларька Звягина с розовым нестареющим лицом подростка, зеленоглазая, грудастая и похотливая, каждый вечер измывалась над лесорубом Труновым, набожным мужиком средних лет. Ларька кричала Трунову, когда тот появлялся из тайги, замороченный работой:

— Спешу до меня, ненаглядный, голубь ты мой сизокрылый! Иди, поиграем!

Мужики, скалясь, волокли Трунова к Ларьке в закуток, он упирался, крестясь, и, случалось, плакал.

Одного в бригаде звали Жалобной Книгой за несходящее кислое выражение на губах: мелкорослого, юркого вора-карманщика звали Трясогузкой. Ну, и так далее.

...Лопатин забыл сейчас, что между ним и Марией неожиданно завелась маленькая пугающая тайна. Лопатин искал слова для Гудимова и спокойно додумался до очевидного: он завидует Гудимову. Этот человек при желании будет иметь культуру, тонкий вкус, начитанность. Но он имеет, уже имеет, одно и неоспоримое преимущество — естественность. «Мне так писать не удастся долго. Может, никогда. Меня будут сдерживать каноны, интеллигентское целомудрие и незнание жизни «изнутри».

Однако почему у Гудимова все так оголено, почему его герои так жестоки и не улыбкивы?

— Вы, несомненно, способный человек, — услышал свой голос Лопатин. Голос был хриплый, и Мария вздрогнула, очнувшись от дремы. Она взяла пепельницу, полную окурков, поднялась и, нашлепывая калошами, вышла в сени, открыла двери на улицу. Во дворе, ласкаясь, заскулила собака, в спину дохнуло росным холодком.

— Вы способный человек, — повторил Лопатин, прислушиваясь к себе, — вы можете рисовать ярко, у вас чет-

кое и своеобразное видение мира. Вам, понятно, надо учиться и начинать, не обижайтесь, с азов, но главное у вас есть. Может быть, талант. Говорю «может быть», поскольку «талант» — слово высокое. О частностях, думаю, успеется. Меня вот что беспокоит в вашем творчестве...

— Так уж и творчестве?

— Да, смею заверить. Творчество. Почему вы пользуетесь одной только краской — черной?

— Не могу объяснить. Видел.

— Но литература должна и облагораживать, возвышать. Истина лежит всегда где-то посередине.

— Не совсем согласен с вами,— Гудимов стукнул кулаком по столу и, устыдившись своей решительности, погладил клеенку ладонью, отводя глаза. Он еще заметно робел перед Лопатиным.

«А этот крестьянин не прост»,— подумал Лопатин,— совсем не прост!»

Гудимов подул на клеенку, сгоняя с нее пепел, и наморщил лоб.

— Я так считаю, Гурий Михайлович. Литература в наше время, она, как-то выразиться поглаже... Пусть она, Гурий Михайлович, изо всех сил долбит в одну точку: ты отстал, современник и гражданин, характер твой не совсем подходящий. Ты поспешай переделываться, вот ведь что.

— Мысль верная. Но к цели ведут разные пути, не правда ли? Разные средства. Ваш путь и средства лично меня гнетут и раздражают. Ну что это такое! Явился солдат в гости к девушке. Пол-литра у него в кармане. Не прочь бы солдат повалить, извините, маляршу на кровать, да не знает, как приступить к делу. Верю: он научится валить женщин. И что же? Лично я не понимал и не понимаю, для какой надобности писать такую литературу.

Гудимов ни словом, ни жестом не показал, что слушает Лопатина и вникает: сидел твердо и, сощурилась, следил за папиросным дымом. Дым кудрявился вокруг лампочки и растворялся.



Мария открыла окно, ушла в другую комнату, возвратилась оттуда с матрацем и подушкой, принялась в углу возле шкафа стелить постель.

— Спать, мужики! До петухов прогалдите. Тебе, Семен, завтра можно дрыхнуть, а человеку рано подниматься, ему — работать завтра.

— Да, пора, — ответил Гудимов шершавым от табака голосом и поежился: из окна сильно сквозило. — Так вы, значит, признаете во мне способности, товарищ Лопатин?

— Безусловно!

— Что ж, спасибо. Над вашими словами я еще покумеаю.

— Советую подумать! Еще Джек Лондон заметил: одни писатели унижают нас, другие навешивают на нас лишние добродетели. Истина, повторяю, посередине. Как в жизни.

Верх неба чуть светел, до рассвета было далеко, но где-то у черты горизонта неясно угадывались вялые проблиски зари.

— Во сколько же вас будить? — осведомилась Мария. Она раздевалась за стенкой и сладко зевала.

— Чем раньше, тем лучше.

— Я так в пять поднимаюсь.

— Вот и отлично.

### 13

Ставни в этом доме были сколочены из тонких кедровых досок, сквозь щели просвечивали и на полу мельтешили рдяные пятна. Горница насквозь была пронизана светом.

Гурий Лопатин, накрытый лишь байковым одеялом, проснулся от холода. Проснулся не в пять, а много позже. Он увидел в сенях Марию. На ней была кацавейка на бараньем меху, ситцевый халатик и беспятые шлепанцы. Ходила она тихо, как мышь. Лопатин долго исподтишка на-

блюдал за ней. Мария, подбоченясь, остановилась спиной к нему. Волосы ее, собранные на затылке узлом, отдавали тугим и глубоким блеском.

Лопатин поднялся, воровато натянул брюки, стараясь не греметь пряжкой ремня, надел рубаху, искал глазами сапоги, вспомнил, что вчера оставил их на крыльце, робко направился в сени. Он боялся встречи с Марией: вчерашняя ее мимолетная ласка в темноте была, наверно, несчастна, и перед тем, как уснуть, Гурий с немалым страхом ждал, что она придет к нему. Она, слава богу, не пришла. Теперь Лопатин казнил себя за низкие мысли, но в самой глубине души испытывал тоску о невозполнимой утрате, которой нет названия.

Мария, нагнувшись, доставала ковшом воду из гулкой кадки. Лопатин на цыпочках проскочил мимо на крыльцо и прикрыл локтем глаза: утро было слепящее, щедрое. Белое небо стояло низко. Дымы печных труб поднимались прямо и казались застывшими. Издали желтел крест церкви, внизу блестела дорога, черная пашня за озерком светилась тусклым срезом свинца.

Лопатин сел на ступеньку крылечка, пеструю от росы, холодную, и стал обуваться. Портянки были волглы, тяжелы. Чтобы вогнать ногу в сапог, Лопатин яростно притопнул и растревожил кобеля, что лежал, морда на лапах, у дверей стайки. Кобель открыл один глаз, рябой и несердитый.

Сзади подошла Мария, села рядом, положила сцепленные руки на колени себе и легко вздохнула. Просто так вздохнула.

— Доброе утро,— робко сказал Лопатин и последним усилием, с хрустом, вогнал ногу в сапог и почувствовал облегчение,— что же вы меня в пять не разбудили, уговаривались же?

— Пожалела.

— Опоздал я.

— Беда невелика. Чалый тут подъезжал. Приказал:

пусть дрыхнет. Когда, говорит, продрыхнется, пусть у конторы дожидается.

— Кого дожидаться?

— Чалого, понятно,— она прижалась к нему, в мочке ее уха заиграла, искрясь, дешевая сережка из стекла. Зубы ее были влажны и чисты.

Кобель встал, пристально глядя на них, встрепенулся, звеня цепью, привешенной за кольцо к проволоке, зевнул, выгнул тонкий и красный язык, похожий на сточенный ножик.

— Сердитый пес, да?

— Ревнивый, ужас какой! — Мария оживилась, поворачиваясь к Лопатину, — ты возьми меня за руку, возьми, попробуй!

— Не стоит, пожалуй...

— Тогда я сама,— она, залиvisto смеясь, обняла Лопатина за шею, и он повалился навзничь под ее тяжестью, уперся спиной о ребро ступеньки. Он силился оторвать вязкие ее руки со своей шеи, но боролся скорее ради видимости, опьяненный близостью податливого тела. Лопатин, слава богу, успел подобрать ноги — зубы собаки лишь скользнули по голенищу сапог, дальше зверя не пустила цепь.

— Полкан, на место! — трезвея, крикнула Мария, — на место, проклятуший! — Она, наконец, отпустила Лопатина. Дышала тяжело и часто.

— Странные шутки ваши,— сказал он, поднимаясь и зачем-то отряхивая брюки. Он не сердился, он все еще чувствовал соблазнительный жар ее тела: потоптался и сел снова, уже наполненный непонятной жалостью к ней.

Небо очищалось и голубело, в необозримой его высоте цепочкой вились стрижи, невесомые, словно черный пух, подхваченный токами земли.

Мария ушла.

Полкан лежал на прежнем месте и не спускал с Лопатина рябых глаз.

Лопатина слегка подташнивало от выпитого вчера, ломило в затылке, не хотелось подниматься, куда-то идти, с кем-то встречаться.

Мимо прошла Мария, она, спотыкаясь, неловко волокла по двору мужнины калоши и была, видимо, не в духе. Ругнула между прочим кобеля: — Разлегся тут, барин! — и нырнула, пригнув голову, в смутное нутро стайки.

Небо все очищалось, дорога была еще пуста, за озерком прыгал стреноженный конек светлой масти, похожий отсюда на глазированный тульский пряник; солнце уже ощутимо грело плечи.

Дужка ведра звякнула отчетливо, громко, и Лопатин вздрогнул — настолько лишним и ненужным казался этот звук, он не вписывался в ясный благовест утра.

— Головка-то болит, куманек? — Мария вытирала руки передником и отворачивалась от света, который бил ей в лицо.

— Есть маленько.

— Похмеляться станешь?

— Не имею привычки.

— Мой тоже не похмеляется, рассол огуречный хлещет. Дать рассолу?

— Если бы кофе...

— Не держу. А завтракать?

— Не хочу, ей-богу!

— Как же так? И не торопись. Чалый с председателем в третью бригаду уехали, вернутся нескоро. Я провожу тебя, нам по пути. Пожуй немного хоть что-нибудь и пойдем.

— Хозяин-то поднялся?

— Не, до обеда проспит, ему сегодня можно — отгул взял. У них в лесхозе свои порядки, то тебе не колхоз.

Вдвоем на тропе было тесно, но они шли рядом.

Сквозь бор цедился ветерок. Неистово заливались птицы, неподалеку названивало ботало заблудшей коровы.

Сосны стояли просторно, и весь бор просматривался насквозь. За бором, ниже, видны были холмы в пашнях, желтой стерне и зеленке.

— Там — кладбище, — Мария остановилась и показала вправо, — посмотрим?

— Не стоит, наверно, — Лопатин поднял сосновую шишку, подкинул ее и поймал. Шишка была сердито растопырена и покалывала ладонь. — Не стоит, а?

— И то правда — не стоит.

Лопатин увидел ромашку — чахлую, на тонком стебельке, но живую — с лепестками и желтой середкой. Росла она на мшистой поляне совсем одна, открытая ненастью. Ромашка держалась и еще цвела. Почему же она не осыпалась и не опала? Проросло запоздалое семя вопреки всем законам. Гурий сорвал цветок и шагнул к тропе. Мария ждала, привалась спиной к дереву, она покусывала губы и напоминала сейчас обиженную девочку, которая убежала от людей перемыкать обиду. Крестьянская девочка в ситцевом платке — румяная, кареглазая, малость курносовая. И — милая. Такая она сейчас была милая, что у Лопатина сладко защемило сердце.

— Цветок! — сказал он, — ромашка. Представьте, ромашка — и в такую пору!

Мария закрыла глаза и шепотом приказала:

— Целуй!

Он обронил цветок, положил руки ей на плечи, он жалел ее, он понял, как хорошо это и как необходимо — жалеть, поклоняться — и поцеловал ее ласково, без страсти. Она обмякла под его руками, стала падать, подгибая колени, но выпрямилась с усилием, бледнея. Тряхнула головой:

— Нет, нет! Не сейчас, не здесь!

И немного погодя спросила с недоумением:

— Почто же так? Почто я тебе на шею вешаюсь, ведь я не баловная, Лопатин?

— Пойдем, — сказал он.

Мария шла понурясь, Лопатин отстал, чтобы закурить и успокоиться. Спички ломались и не горели, когда же, наконец, сигарета задымилась, Мария была уже далеко. Смятый платок лежал у нее на спине, и волосы, охваченные встречным солнцем, блестели. Лопатин догнал Марию, снова они шли рядом. Она не смотрела на него, отворачивалась.

Тропа на краю бора вилась прядками, разбивалась, как весенняя речка, на многие руслица, прыгала через корневища, капризно огибала стволы, струилась под гору к большой дороге.

— Ты извини меня,— сказал Лопатин.

Она теребила платочек и не поднимала глаз.

— Не за что извинять? Я тебе нравлюсь?

— Да, нравишься.

— Вот и спасибо! — она посмотрела на него открыто и счастливо,— я тебя еще на ферме заметила. Ты добрый, Лопатин, и ты выполнишь мой наказ. Выполнишь?

— Если смогу.

— Сможешь! Ты думай обо мне каждое утро, ладно? Ты думай обо мне, пожалуйста, чисто. И я о тебе так же думать буду,— она закрыла его лицо теплыми и чуть шершавыми ладонями.— Вот так.

Руки ее пахли молоком, укропом и еще духами.

Он как очевидное знал уже, что будет вспоминать ее, что легкая и неизбывная тоска по ней будет нужна ему как очищение.

— Мне вниз,— сказала она и вздохнула.— Опаздываю.

— Ты где теперь работаешь?

— На молзаводе. Видишь железную крышу? Вон, у мостика?

У мостика он видел много железных крыш, но кивнул: понятно, нашел.

— Лаборанткой работаю. Отпросилась с фермы, в техникум тоже поступила. Тут мы по часам, как в городе. Мне время нужно.

- Разумеется.
- Заглядывай, сливками угощу. Председатель каждое утро сливки пьет. Ты сколько еще у нас пробудешь?
- Дня три, пожалуй.
- Ночевать придешь?
- Нехорошо будет.
- Я жду,— сказала она твердо.

Расстались они по дороге. Она долго махала ему платком.

На столе председателя Кротова лежала вчерашняя коробка из-под скрепок, Лопатин взял ее, открыл, закусив язык, осторожно. Коровки за ночь как-то выбрались на волю. Лопатин улыбнулся и подумал о том, что в каждом из нас прячется ребенок.

Лопатин положил коробку на уголок стола, сбежал с крыльца конторы и сел на бревно, которое лежало комлем к свежей яме. Горка земли у края ямы курилась белым паром. Выше временной конторы колхоз строил клуб. Несколько рабочих обивали крышу железом. Один в фуфайке и шапке наушниками врозь стоял спиной к Лопатину и набирал в холщовую суму, перевешенную через плечо, гвозди из ящика. Потом человек в фуфайке опустился на колени, в его руке невесть откуда взялся молоток, на другом конце крыши, скрытом от глаз, ударил третий, четвертый... Этот бодрый перестук не досажал, он скорее убаюкивал.

Трава на поляне, еще мокрая, молодо блестела, меж сосен в бору косицами свивался туман. Лопатин вспомнил: здесь, где он сидит теперь, полмесяца назад умирал лосенок. Как давно это было! Кажется, годы позади. И с Марией он расстался тоже давно. Он успел забыть ее глаза, руки, голос. Так ему казалось. В теле была истома, клонило в сон. Лопатин испытывал странную раздвоенность: он знал, что сидит на поляне, что кругом село —

дома улицы, лают собаки, гремит жесь, по дороге внизу, как и вчера, цепочкой двигаются машины, что неподалеку ходит вразвалочку черный скворец, тяжелый на вид, будто откованный из цельного куска железа. Лопатин все это чувствовал, но вместе с тем он ясно видел себя на городском мосту. Река под мостом серая, течет быстро. Он кого-то ждет, на душе его беспокойно. Странная эта зыбь вдруг развеялась.

Рядом на бревне сидел Гудимов и глядел на Лопатина. Гудимов, одетый в черный свитер, черный картуз с лаковым козырьком и хромовые форсистые сапоги.

— Доброе утро,— равнодушно сказал Лопатин.

Гудимов встрепенулся и далеко бросил недокуренную папиросу. Вспугнутый его резким движением, поднялся и улетел скворец.

— Не выспались?

— Есть малость.

— Чего убежали-то?

— С Чалым договаривались встретиться здесь.

— И меня не разбудили?

— Зачем? У вас же отгул.

— Тем более. И давай на «ты».

— Что ж, можно и на «ты».

Лопатин украдкой наблюдал за Гудимовым, стараясь отыскать на его лице тень обиды или подозрения («Неужели ни о чем не догадывается?»), но Гудимов, окрыленный вчерашней похвалой, испытывал душевную обновленность, подсознательно пытался проникнуть в самую суть вещей, вдыхал запахи, слушал звуки, запоминал цвета. Он сегодня любил жизнь полнее, чем вчера, и любовь была нежданно острой. Лопатин понимал душевное состояние лесника, и оттого еще тяжелее казалась ему вина перед этим человеком.

— Чего мы зачумели?— удивился Гудимов и ударил себя обеими ладонями по коленям,— айда-ко, брат, обгля-



дывать наш колхоз. Нам сам бог велел любопытствовать, ты согласен со мной?

— Пожалуй...

Клуб напоминал школьный пенал — длинный, плоский и желтый; за клубом тянулись пашни вперемежку с клиньями стерни и березовыми колками. Даль была пегая, и где-то совсем рядом был край света — там земля мягко сливалась с небом.

Лопатина все подташнивало, ныл затылок, ноги были тяжелы, бесперечь спотыкались, и в тени за углом клуба районный корреспондент упал спиной на мокрую щепу, вельветовая кепка прыгнула с его головы, проковыляла несколько метров и задумчиво улеглась посередине лужи с зеленой и смрадной водой. Потом лесник вытирал плащ Лопатина газетой и смеялся как ребенок. Гурий тоже засмеялся, почувствовал, что усталости нет, что сейчас, немедленно, и в него польется полной меркой благодать этого утра, что и он готов любопытствовать, и не было в помине никакой вины перед лесником. Хорошо жить все-таки, черт возьми! Лопатин припустил с пригорка вниз, туда, где возились рабочие. Там лежали белые доски для опалубки, бумажные мешки с цементом и детали скульптуры, напоминавшие скелет только что откопанного мастодонта. Были они серы и шершавы на вид.

Гудимов вполголоса, чтобы не услышали рабочие, объяснил:

— Скульптурная группа «Праздник урожая». Девять тысяч уложено.

Лопатин придавил на щеке комара и ответил:

— Не так уж и дорого. Если настоящая вещь, я имею в виду.

— Хрен ее поймет, настоящая или ненастоящая, но девять тыщ — деньги. Все Вася Чалый. Тот из горла вырвет.

— Причем тут Чалый?

— Он председателя в это дело втравил. Художника из города пригласили. Опять, значит, плати. Три тысячи запросил.

— Который же здесь художник?

— А в курточке. Пил одно время страшенно. Лечился. Теперь за любую работу берется — наверстывает. И грамотный — академию кончил.

— Академию даже?

— Да, в Ленинграде.

Художник не выдерживал привычных стандартов, был он мужиковат, прост лицом, морщинист и сутул.

Лопатин громко поздоровался, рабочие ответили ему недружно, художник же лишь кивнул, не поднимая головы, и не оторвался от своего занятия — продолжал разгребать ногой, обутой в заношенный кирзовый сапог, гальку перед собой. Он уже выбрал гальку полукругом до черной мокроты. Художник, видимо, думал, и рабочие дожидались его слова.

— Ошибки нет, ребята, — сказал, наконец, художник, — продолжайте, ребята, я позавтракаю. Не ел еще, а накуриться успел с утра пораньше, — он направился через поляну вниз, к столовой — белому домику, в открытых окнах которого пузырились марлевые занавески.

Лопатин догнал художника на полдороге, представился. «Газета, сами понимаете, должна информировать читателя об этом, сами понимаете, не совсем заурядном событии...»

Художник тоже отрекомендовался, хмурясь: Силин. Виктор Васильевич.

— Скульптурная группа московских ребят «Праздник урожая». Не скажу, что блестяще сработано, но и не откровенная халтура. Я им свою композицию представил, — Силин вяло махнул рукой в сторону конторы, — обелиск павшим в войну. Не взяли, — он слышно вздохнул и отер лоб рукавом курточки.

— Почему же не взяли?

— Не время еще.

— Во дает — не время! Когда же время? — Семен Гудимов нехорошо засмеялся и притопнул барским своим сапогом.

— Когда в селе обозначится центральная площадь. Сегодня ее нет, площади.

— Мертвые, конечно, каши не просят, они в земле зарыты! — сказал Гудимов.

— Не так, Семен! Снова не так! — узкие глаза художника колюче заблестели. — Они правы: святому делу спешка во вред. И о праздниках. Разве наша деревня праздников не заслужила? Я тебя, Семен, не впервой слушаю, и чудно мне тебя слушать. Ты здесь живешь или на побывке?

— Здесь и родился!

— Тогда еще чуднее, ей-богу!

«А ведь скучно с ним, — подумал про Гудимова Лопатин. — Жене скучно. Всем скучно.»

Художник пошел от них усталым шагом, сутулясь. Со спины он был стариком. Лопатин, глядя на эту спину, утвердился в мысли, что художник долго мучил себя и не открыл своей истины, что ему горько теперь от сознания, что жизнь позади и начинать все сначала — поздно. Лопатин поежился и застегнул на груди плащ.

— И куда еще? — осведомился несколько пристыженный лесник, похрустывая в кулаке пустым спичечным корбком.

— Вы же хозяин.

— Мы же уговорились на «ты».

— Хорошо. Ты — хозяин.

— Тогда дунем на откормочную площадку?

— Нет. У меня есть конкретное задание — уборка картошки.

— Пожалуйста.

— Где комбайны у вас работают?

— Покажу, тут недалеко...

По главной улице они спустились к мостику у въезда в село.

Из озера непрытко бежала речка. У запруды удил рыбацкая пацан в дырявой соломенной шляпе, поодаль стояло ведерко, в нем кипели окуньки и сорожка.

Речка забирала в сторону, огибая холмик без единого кустика. Ивы на другом берегу были осыпаны жухлыми листьями цвета грязной пены. Под ивами ходил кулик и высоко поднимал ноги, по растоптанной тропинке к воде спускался буланый конь. На коне, откинувшись телом, покачивался старик в пиджаке и резиновых болотных сапогах. Конь остановился и стал пить из реки. Пил он нежадно, вздыхал, поднимал голову, с его губ редко и отчетливо падала вода. Тень деревьев стелилась поперек реки и захватывала песок, где шел Лопатин.

На горе за ивами темнел молодой ельник, высаженный по ранжиру, дальше стелились облака.

Лопатин хотел вспомнить о чем-то добром и вспомнил Марию. «Все правильно,— сказал он себе,— так и должно быть». Он видел краем глаза, как буланая лошадка побрела по реке, оставляя за собой рябь, звеня удилами.

От речки дорога сперва вздыбилась на взлобок с кустами жимолости, потом резко упала, безудержно покати-лась вниз, и за пихтовыми посадками, разом, перед ними открылось огромное поле, засаженное картошкой.

— Здесь гектаров десять,— сказал Гудимов, останавливаясь, и посмотрел из-под руки вдаль.

Лопатин тоже посмотрел из-под руки.

Земля не имела границы, она сливалась с лесом, за лесом были горы бурого цвета с белыми макушками, над горами, как дым, разворачивались облака синего цвета.

— Там снег,— сказал Гудимов и показал на горы.

— Уже?

— Да, уже.

— А у нас скоро снег?

— Через месяц, поди. Как обычно. Ну а прочно зима

к ноябрьским праздникам садится. По расписанию вроде бы. К людям двинем?

— Я что-то людей не вижу?

— Вон они.

И верно: далеко отсюда, на краю поля, копошился народ. Гудимов пошел решительно по сыпкой и сырой земле, приминая ботву.

Гурию отчего-то приятно было встретить опять того самого тракториста, который объяснял ему в прошлый раз с солидностью бывалого мужика о супесчанике в Германии. Парня звали Дмитрием. Он сидел на фуфайке в тени трактора, жевал хлеб с салом и пил, запрокидываясь, молоко из бутылки. К гусеничному трактору, как и в прошлый раз, был прицеплен новенький картофельный комбайн, позади него неровной стезжкой тянулась поднятая земля.

Гудимов нагнулся, поднял одну картофелину, другую, третью, вытер их о траву и поднес на ладонях к самому лицу тракториста:

— Оставляете добро, Митька!

Тракторист сумеречно отодвинулся, скользя задом по расстеленной фуфайке, и закашлялся — он подавился молоком; когда же откашлялся, мотая головой, будто конь, заворчал:

— Ты что мне в самое-то рыло суешься? Чего суешься, спрашиваю? Кто такой?

— Ты разве меня не знаешь?

— Я тебя знаю, потому и спрашиваю. Ты председатель разве? Бригадир?

— Нет.

— То-то и оно. Указывать вы все мастаки, а ты вот поработай с ними, помантуль. Им, понимаешь, хиханьки да хаханьки, они, кобылицы, отдыхать приехали, свежим воздухом подышать! — тракторист потешно округлил грачные свои глаза, сдернул шапчонку с головы и горестно

почесал затылок.— Они с комбайна роняют, у них руки нежные и к заднице суровыми нитками пришиты! Поговори с ними сам, вот что.

Тракторист разорвался в адрес женщин, сидевших кружочком поодаль на сухом кочкарнике возле березняка.

Гудимов положил картошку сбочь полосы на сухую травку, вытер руки о голенища сапог, посмотревши нерешительно на Лопатина: пойдём или не пойдём? Лопатин кивнул: пойдём. Они гуськом стали пробираться между кочек, с которых прядями свисала сухая и вязкая осока, под осокой хлюпала вода.

Женщины — их было много, человек двадцать, пожалуй, разных, молодых в основном — сидели большим кругом кто на чем, лежали, стояли. Рядом было побросано разноцветное тряпье: косынки, шерстяные кофты, свитеры, береты. В середине круга на чистых мешках лежала посуда — алюминиевые чашки, стаканы и ложки.

Женщины встрепенулись, увидев Лопатина с Гудимовым, повернули в их сторону лица с одинаковым выражением недоброжелательности.

— Здравствуйте,— вяло сказал Гудимов и поклонился, будто марионетка, рывком, дернувшись всем телом. Лопатин тоже поклонился и почувствовал, как горячая волна разливается по щекам. Он уже раскаивался, что черт их понес сюда, еще почувствовал, что дело кончится позорным бегством. Так оно в общем-то и получилось.

Навстречу поднялась толстая женщина лет тридцати с монгольским разлетом глаз, грудастая, в спортивном трико, на голове ее чалмой был повязан шерстяной шарф. За ее спиной фыркнула, закрыв кулачком крашенные губы, гибкая девица, статная, спортивного вида, с карими блестящими глазами.

— Вот и кавалеры нагрязнули. Здравствуйте, кавалеры, симпатяги! Веселить явились? Нас много, но мы вас уж как-нибудь поделим.

— Почему не работаете?— опять дернувшись, начальственным голосом осведомился Гудимов.

— Есть хотим, миленький! Жратву не везут!— толстая женщина, смеясь, взяла Гудимова за ворот свитера и потрясла слегка.— Дай фуражку померять, ты на флоте служил, миленький?

— Я серьезно: почему не работаете?

— Есть хотим. Завтрак в десять обещали подвозить, а время — одиннадцать,— толстая показала часы на руке и притронулась к ним пальцем.— Одиннадцать, миленький...

— Откуда такой симпатия? Подумать только, с усиками даже. Усики сейчас шибко в моде, миленький, но они тебе совсем не личат, ты бородку попробуй отрастить.— Так, смеясь, из-за спины толстой частила девица с крашеными губами под смех товарок, а толстая по-прежнему держала Гудимова за свитер, тянула его к себе, приторно-ласково мыча. Она даже сделала губы трубочкой и томно сощурилась. Лопатин сообразил, что теперь самая пора дать лататы, он нагнулся сперва, изобразив, будто сбивает с сапог грязь, поворотился, тишком спятился и зашагал сразу прытким шагом, дожидаясь ядовитых слов в спину, но, по счастью, Гудимов отвлек и заинтересовал разбойных женщин целиком, и они с миром отпустили Лопатина, скорее всего, просто не заметили его позорного бегства. Тракторист Митька встретил Гурия понимающей улыбкой.

— Они такие, — неопределенно сказал тракторист Митька,— они директорши своей боятся. Гром-баба.

— Из какой организации этот отряд?

— А со швейной фабрики,— ответил Митька и показал пальцем в сторону кочкарника.— Наблюдай!

По кочкам шустро прыгал Гудимов, он даже не прыгал, вроде бы возносился, ноги его были прямы и широко раздвинуты. Вслед Гудимову летели куски сырой земли, палки и даже алюминиевые чашки.

— От дают!— тракторист всплеснул руками, поднимаясь. Он весело качал кудлатой своей головой без шапки,

потом засмеялся. Смеялся он долго и до слез.— Правильно они его!

— Почему это правильно?— обиделся Лопатин.

— Занудливый мужик.

Последние шаги Гудимов попытался сделать непринужденно, он изображал вольный бег от избытка сил и радости жизни.

Тракторист все смеялся, пока не обессилел, немощно поваясь на свою фуфайку.

Гурий Лопатин сделал Гудимову знак рукой, и они медленно поплелись назад.

14

Откормочная площадка, чуть ли не единственная пока в районе (так по крайней мере объяснил Гудимов), не произвела на Лопатина особого впечатления: он, горожанин, привык к масштабам, а тут не было никакого масштаба — ну, асфальтированная площадка (четверть гектара на глазок), ну, проволочная сетка на стояках, скотный двор, вернее, крыша от дождя, сколоченная из досок... Эка невидаль!

На занавоженном асфальте, как валуны, лежали бычки разных мастей и жевали басконечную свою жвачку.

— Невеселы они что-то?

— Хандрят!— оживился лесник,— по первости-то режут, спасу нет. Животное тоже волю любит. Потом — ничего. И для колхоза выгодно: вес нагоняют моментом.

— А дальше?

— Дальше, понятно, бойня.

— И кто же здесь за главного?

— Вот он и главный,— лесник указал пальцем на всадника, которого Лопатин видел давеча у речки. Старик спешил, привязал уздечку за железную трубу и направился в их сторону, наигрывая аккуратно связанным букетом. Это была трава с мелким сиреневым цветком.



— Душица,— сказал лесник и подмигнул Лопатину,— мужскую силу поднимает. Вертаться будем — нарвем.

— Мне она ни к чему,— трава,— ответил Лопатин, почему-то сердясь.

— Да я так. Не нужна, так не нужна. Степан Егорович, тут вот корреспондент до тебя. Интересуется.

Старик был крепок, белозуб и шел к нам, улыбаясь. Поздоровались за руку. Бригадир, видимо, привык встречать гостей и немного даже стеснялся тем, что речь его звучит заученно.

— С виду-то оно и нехитро, да холку всем натерло.

— Доходы?

— В бухгалтерии спроси, там тебе до копейки подбьют, врать не с руки, давно не проверял. Тысяч десять в месяц на круг, поди, даем.

— Деньги!— лесник тряхнул головой и обратился к бригадиру:— Ты засвети товарищу Лопатину про спец-одежду, не стесняйся, тема эта для фельетона.

Старик глядел на Гудимова долго, тяжело, потом плюнул и отворотился.

— Сами разберемся, причем тут газета. Всякая малость печати тоже докука.

— Боишься?

— Кого мне бояться,— тебя разве!— старик засопел и поджал губы.— Ты не пиши, товарищ корреспондент, и Гудимова не слушай — он у нас такой. Он у нас всю жизнь вроде бы на еже сидит. Голым задом. Когда так сидишь, в глазах черно бывает. Ты бы усы свои соскоблил, таракан запечный!

— Вот уж и усы помешали!

— Не личат тебе усы.

— Когда же, Степан Егорович, соорудили эту площадку?

— Второй год работаем, товарищ корреспондент,— бригадир еще часто дышал, негодую.— Второй год. Тут с месяц назад, что ли, был заместитель министра сельского

хозяйства. Поощрение сделал — трактором колхоз наградили, вот как.

— Трактор еще не получили,— вставил Гудимов,— и нечем пока хвастать, Степан Егорович.

— Зряшный ты человек, Семен, ну прямо зряшный! Замминистра, он тебе что — натошак врет, а после обеда только правду говорит? С тобой не посоветовался, да?

— Нет же трактора, не получили.

Бригадир бросил душицу в теник под куст и, возвращаясь, опять плюнул, уже с настоящей яростью.

— Чего плюешь!? Смотри, куда плюешь!

— А ты зачем сюда явился, кто тебя сюда звал? Ты же не колхозник таперича, на государственной службе состоишь, зачем притащился?

— Имею право я по своему селу ходить или как?

— Ты, пожалуйста, мимо нас держись, стороной!

— Чего взбеленился — не пойму: нет же трактора, ну?

— От заноза, прости ты, господи, и помилуй. Скройся с глаз, тоска ты едущая!

Лопатин вздохнул с облегчением, когда увидел на дороге зеленый газик председателя. Газик катился к откормочной площадке, круто переваливаясь на ухабах и блестя стеклами. Он остановился неподалеку, из кабины показалась кудлатая голова Васи Чалова. Вася манил рукой, выражая нетерпение, и даже провел ладонью по горлу: нам, дескать, вот как некогда!

Гурий заспешил к машине, стыдясь в глубине души маленького своего предательства — он ведь бросал Гудимова, который старался как мог быть радушным хозяином. Гудимов сделал несколько шагов следом (Лопатин это чувствовал спиной), но сразу отстал — понял, что будет лишним. Да никто его и не звал.

Как только Лопатин сел, ударившись коленями о ноги Чалого, шофер резко взял с места, машина поползла вверх, наматывая на колеса чернеющую в траве и плохо заметную колею. Скоро впереди было лишь небо. Мотор

одышно постанывал, на грудь наваливалась мягкая тяжесть.

— Опять балуешься?— заворчал председатель, чтобы не молчать.

— Здесь короче,— тоже, чтобы не молчать, тонким голосом ответил молоденький лопухий шофер в солдатской гимнастерке.

— Круто. Опрокинет.

— Ездили же.

— Раз на раз не приходится.

— Оно и так... Не приходится.

Председатель сидел впереди, розовая его шея складками собралась к затылку.

Вася Чалый глядел в боковое окошко и высвистывал: «Степь да степь кругом». Был он задумчив и хмур.

— Куда мы спешим?— деликатно поинтересовался Лопатин, обращаясь сразу ко всем.

— А тебе не все равно? Ты мотай на ус да заноси себе в книжечку. Вот перед тобой товарищ Кротов, он у нас знаменитый председатель знаменитой сельхозартели, хитрый мужик, он все покажет, он умеет показать!— Вася Чалый громко зевнул, и, скосоротясь, подмигнул Лопатину: живем, мол, и хлеб жуем, и ты живи, не возражаю, потому что тоже вроде христианин.

Желтым пятном проплыл мимо березняк, потянулась гречишная стерня, отливающая радугой, как перекаленная сталь; дорога была усыпана пшеницей, нападвшей с перегруженных машин.

Дорога, укатанный большак, блестела, будто политая стеклом. Ехать было покойно и приятно. «Всю жизнь бы не устал так ехать,— подумал Лопатин, отваливаясь на мягкую спинку сиденья,— не трясет и места красивые. Осень-то какова — звонкая, можно сказать!» Тут же Лопатин вспомнил, как бежал от швейниц Гудимов, и фыркнул: смешно бежал Гудимов, с паникой на лице.

— Чему смеешься?— Вася Чалый, зевнувши, ткнул га-

зетчика под ребро локтем,— нас посмеши, а то Кротов, он скучный. И жадный — Кротов.

— Ты меня не тронь!— мрачно откликнулся председатель.— Ты у меня еще запоешь Лазарем, язви ты в душу!

Лопатин рассказал про швейниц и про Гудимова. Еще подосадовал про себя, что не спросил у тракториста Дмитрия насчет того, придумал ли тракторист рационализацию картофелеуборочного комбайна.

Председатель Кротов, услышав рассказ, покрутил головой и начальственно откашлялся.

— Боевые девки!— сказал Кротов.— Но директорша у них самая боевая баба, по стати и по горлу на министра потянет, ей-богу! Эти девки перед ней все бледные делаются. Позвоню вечером, она наведет порядок, тут я спокойный.

Разговор как-то само собой свернулся на горожан, Кротов говорил громко, чтобы пересилить звук мотора, и говорил он не для пассажиров, скорее для себя — рассуждал. Примерно так рассуждал: вот Маслов, он мужик светлый, голова у него на плечи не зря приставлена, но упрямый он, Маслов-то, и властный. Ить что надумал: продавай, мол, Кротов картофельные комбайны городским предприятиям, они за технику отвечать будут, ремонтировать ее будут и работать на ней, нэ технике, значит, тоже будут. Боязно ведь в чужие руки добро нажитое отдавать. Чужие руки, они и есть чужие... Вот ведь как...

Вася Чалый поерзал, задевая Лопатина сапогами, и, подмигнув, сунулся вперед, закричал в розовое и большое ухо председателя. Кротов испуганно отпрянул и трудно поворотил голову к ним, багровея.

— Куркуль ты несчастный!— кричал Вася,— человек тебе дело советует.

— Он не советует, он приказывает!— тоже закричал Кротов.

— И правильно приказывает, потому что ты долго ду-

маешь, до тебя свежие мысли туго доходят. Жалко ему, видите ли, они же у тебя не задаром просят.

Иван Иванович Кротов не слушал Чалого, кричал свое:

— У меня эта техника во где!— председатель весьма убедительно попилил шею себе ребром ладони.— Я ее со слезами доставал, я ее выбивал, если хочешь знать, через облсельхозуправление.

— Выбивал! Она у тебя под навесом стоит, техника. Новенькая стоит. Без толку стоит.

— Не каждому ее доверишь, с лету такое дело не возьмешь, людей подобрать надобно, обкатать и всякое такое.

— Пока ты подбираешь да обкатываешь, белые мухи полетят.

Кричали они долго, пока не устали. Наконец, председатель вяло махнул рукой, поворошился, усаживаясь, затылок его был упрям и сердит.

Машина катилась под гору, шофер выключил мотор, и наступила тишина: она была неожиданна. Где-то сзади позвякивало железо, свистел ветерок, в березовом колке чивикала птаха. Дорога тянулась стрункой среди жнивья и кустов смородины, потом заработал мотор, тишина пропала, и все снова стало привычным.

Кротов сдвинул выгоревшую фуражку на лоб и почесал затылок.

— Как, интересно, в Европе эта проблема решается, с овощами имею в виду? И в Америке?

— Там — сезонные рабочие. Люмпены. Ты роман читал — «Гроздь гнева» называется? Страшный роман, скажу тебе. Вот как раз про сезонных сельскохозяйственных рабочих в Америке.

— Некогда мне романы читать!

— А ты прочитай, я тебе дам его.

— Зимой разве...

Шофер снова выключил мотор, и снова прихлынула, будто упала сверху мягким облаком, неожиданная и благо-

датная тишина. Слышно было, как далеко в поле работал трактор. Машина катилась легко, естественно, будто летела невысоко над землей и по обе стороны проплывали, кружась, перелески, желтеющие поляны, черная пашня, кочкарник, усыпанный палыми листьями. Было похоже, что все кругом — и поляны, и лес, и болотца по пути забрызгано красками, похоже, краски эти падали вместе с дождем, растекались и застывали. Преобладали оранжевые и рубиновые цвета, черные пашни отливали серебром, пронзительно блестели горбатые стога. Небо было высокое и синее.

— Ты вот рассуди нас, корреспондент,— председатель навалился грузно плечом на спинку сиденья, поворачиваясь к ним всем телом,— прав я, по-твоему, или неправ?

Вася в этот момент пихнул Лопатина локтем и опять подмигнул — ты слушай, да не всему верь. И сказал:

— Снова да ладом! Не хватит ли, Иваныч, тянуть kota за хвост?

— Я к постороннему обращаюсь.

— Какой он тебе посторонний, он наш!

— Пока он ничей, еще свежий, и значит, объективный.

— Слушаю вас,— вежливо отозвался Лопатин.

Председатель закричал, еще круче наваливаясь плечом на сиденье.

— Так вот, товарищ Лопатин, Вася организует праздник Урожая. Я лично — «за»,— Кротов показал шоферу ехать прямо.— Он как рассуждает, Вася то есть. Работает, например, комбайнер Воробьев. Хорошо работает — себя не жалеет и начальству спать не дает. Передовику, значит, Воробьеву честь и хвала со всех сторон. Отчитывается партийный секретарь — на страницах его доклада, само собой, присутствует герой жатвы Воробьев. И заметь, с намеком присутствует: мы воспитали, наша кадра. Не так разве, Василий?

— Так, так!

— Профсоюзы. Те опять про Воробьева. И тоже с

намеком: мы, наш. Комсомол, если Воробьев еще молодой и в расцвете сил, как пишут газеты, тоже в доклад про него страничку вставит: мы, наш. Ну, и администрация. Свадьбу Воробьеву заделает, если он холостой и опять же в расцвете сил, дом новый семье срубит, самовар подарит или спальный гарнитур. Но где же культурный досуг и прочее возвышенное? Это вам берется с полной выкладкой предоставить Василий Чалый. Кроме него, значит, никто в районе этого сделать не может. Да и не хочет. Да и не умеет. Отчасти оно и правильно, но вот насчет денег Вася Чалый изволили хватить через край. Допустим, металллом. Собирай ты его, кто, ядрена мать, запрещает, но зачем электромоторы упер?

— Не разбрасывай свои электромоторы, хозяин тоже! — огрызнулся Вася.

— Ладно, механик виноватый, да я недоглядел. Электромоторы в конце концов по боку, дело наживное, а вот «Фордзон» наш почто ты в металлслом сдал, окаянный!?

— Что это такое — «Фордзон»? — спросил Лопатин и, приоткрыв дверцу, бросил окурочек в тугую струю ветра. Он видел, как сигарета покатила по дороге, разбрасывая бледные искры.

Председатель Кротов оживился и закричал опять:

— Видишь, он не знает, а? Не знает! «Фордзон» — трактор такой был, первый трактор в нашей деревне. Американской марки. На нем мой отец покойный коллективную, колхозную то есть, полосу провел, тоже первую. Рассказывал: старухи икону божьей матери притащили — напужались. Просят: «Ваня, он ничего, этот трафтур, только почто гремит так, в ушах ломотье?» Отец и пошути: «Хлеба просит». Вытащили старухи и хлеба: «Накорми, мол, жаб, добрее станет. А так — сердитый». Дичь, а! Так я этот «Фордзон» хотел на площади поставить перед клубом. Как танки в городах ставят. Хотел еще доску мраморную заказать, написать на ней биографию трактора-то. Вот и

памятник, не то, что эти твои бабы с витыми ногами в девять тысяч. На хрена нам эти бабы, а, корреспондент?

— Почему же, они на уровне сделаны...

— На уровне! «Фордзон» мешал тебе, Василий? Мешал? Молодые, жестокие вы! Для меня тот «Фордзон» — как живой. Я с ним иной раз разговаривал. Погоди, говорю, дед, покроем мы тебя лаком, подмажем, подкрасим и будешь ты стоять вечно в назидание потомству, заслужил ты почет и уважение в массах, вот как. А этот взял да и в мартеновскую печь памятник отправил. Прав он или нет, корреспондент?

— Неправ.

— Во! Слушай, как посторонний товарищ рассуждает, политически зрело рассуждает. О твоём же самоуправстве я на бюро райкома доложу.

— Ну и докладывай! — в сердцах ответил Вася.

— И доложу!

— И докладывай. У меня — свое мнение! — Чалый вырвал изо рта Лопатина сигарету. Лопатин распахнул дверцу, выплюнул на ветерок табак и недоуменно покосился на своего соседа. Вася пускал дым с выражением блаженной сосредоточенности. Корреспондент с облегчением подумал, что секретарь райкома достаточно закален и толстокож, легко противостоит всяким наскокам. Слава богу!

Газик все бежал по проселку.

— Хорошо сегодня! — сказал Лопатин, прикуривая новую сигарету.

Кротов заворочался впереди и опять поскреб загривок веснушчатой рукой.

— Все одно на бюро доложу.

— Докладывай, — Вася как бы невзначай уронил окурок под ноги себе и затоптал его сапогом, — денег у вас не выпросишь, так уж как можем, Иваныч. Как можем.

— Я тебе денег не дал! Я у тебя даже на поводу оказался, скульптуру купил, голова — ноги, ни хрена не раз-



берешь, район ведь надо мной изгаляться будет! Девять тыщ, так твою, перетак! Не считая работы.

— Заныл, кулак!

— Копейка, она народная. Народная, а?

Кротов, судя по всему, брал разбег для экскурса на тему «Народная копейка». Предвиделось с первых слов, что рассуждения его будут достаточно банальны и не выбьются из привычного круга — копейка рубль бережет. Лопатин угадывал еще, что излагать мужицкие премудрости для Кротова — удовольствие.

Вася засвистел «Степь», уходя в себя. Лопатин уже приготовился безропотно поддакивать, но шофер остановил газик, лег грудью на баранку и сладко зевнул.

— Чего это?

— Велели.

Кротов оборвал речь, и, сутулясь, трудно полез из кабины, ступил на землю с притопом и сразу же взъярился:

— Так я и знал! Ушли, мать иху так! Поехали, не на что и смотреть. Я ему покажу, откуда ноги растут!

15

Кротов ярился в адрес городских строителей, которые бросили коровник, не закончив даже кладки. (Коровник стоял на взгорке, стоял без крыши, окна его были пусты и бездонно черны).

За извилком дороги виднелась деревенька, ниже ее осенние леса, далеко и неярко светилась большая река, за ней поднимались городские дымы. Земля была без края: за дымами там опять леса и реки, деревни и города.

Кротов пострадал взять заместителя управляющего трестом Мякишева за самое теплое место. Мертвой хваткой притом. Мякишев уже на крючке — позавчера ребята тут неподалеку прихватили его с поличным, стрелял зайцев. Из легковой стрелял, с зажженными фарами. Акт со-

ставлен в надлежащей форме, так что не отвертится. Будет коровник, акт вернем, не будет — в газету статейку тиснем, на всю область ославим. Простое дело. В законе все. Мякишев-то — трус, правду если сказать. Кротов тихонько посмеялся:

— Стой, руки вверх!

Вася Чалый, вздохнувши, покачал головой:

— Запрещенный прием, удар ниже пояса.

Кротов не обиделся и сказал, что с детства хитрый. В войну еще, помнит, подростком был, спроворились впятером сотоварищи улей потрясти. Ночью, как и полагается. Не от баловства, правда, с голодухи. Меду наелись до тошноты и от пчел натерпелись, горемычные, дальше некуда. Утром выстроили подозреваемых, а рожи у всех разнесло — в окошко не пролезть. Доказательств не требовалось, лишь Кротова отпустили с миром, даже под зад не дали, потому что Кротов догадался той ночью напаялить на голову мешок с дырками для глаз. Товарищи не продали, но мать выдрала. Плачет, а бьет: «Вот тебе, вот тебе, блудник ты рыжий. Горе ты мое!»

— Хитрый, чего уж,— подтвердил Вася с некоторой даже завистью,— дошлий.

— Иначе на моей должности нельзя.

— Можно, только ты не умеешь, обязательно ближнего своего хоть на пятак, да обойдешь.

— Неправда.

— Правда.

К обеду они добрались до пятой, самой отдаленной бригады, до деревни Боровково.

На виду деревни колхозники подбирали клевер.

Кротов велел шоферу притормозить, долго, не поднимаясь, глядел в рязбое от трещин оконце и шумно дышал носом.

— Пропал клевер-то?

— Считай, что так. Эх-хе-хе!

Клевер сопел. Не убрали его вовремя, поглощенные другими заботами, после же грянули дожди.

Кротов, держа руки за спиной, постоял на дороге, шагнул через канаву и направился к работающим. Шел он неохотно, по обязанности — знал, что ласковых слов не услышит, на душе же и без упреков было невесело.

Лопатин тоже перепрыгнул канаву и тоже пошел в гору.

Пахло землей, солнце пригревало, но ветер был по-осеннему зябок. Где-то близко ныла пилорама.

Кротова на полпути остановила женщина. Была она широка, грудаста, с большим мужским лицом. Женщина опиралась руками на грабли, прижатые черенком к животу. Кротов смотрел вдаль пустыми глазами и хмурился.

— Так причитается мне сено или нет, товарищ председатель? — спросила женщина и скорбно поджала губы.

Вася Чалый неподалеку собрал народ в круг и ораторствовал, встряхивая немодным своим чубом.

— Нет тебе сена, Тетенева! — отрезал председатель, по-прежнему глядя вдаль, — сама разве это сено станешь жевать?

— А то уж не ваша забота, товарищ председатель! Савостьянов из райкома чином-то побольше вашего, так мне изложил положение: сено, грит, дадут тебе, гражданочка. На обчих, грит, основаниях. Как ты есть колхозница и закон для всех одинаковый.

— Деньгами возьмешь.

— Савостьянов так изложил: это, грит, по желанию — хошь деньгами, хошь — сеном.

«Дошла бабенка», — подумал Лопатин, исподтишка оглядывая колхозницу Тетеневу. Угадывалась в ней, что называется, былая статья, если бы не дурацкие штаны изпод платья, не шерстяные носки до колен и не вислый пиджак с засученными рукавами.

— Деньгами, значит, и возьмешь.

— Нет, товарищ председатель, я на своем твердая.

— Мало сена у нас нынче.

— Не мне ваши заботы, товарищ председатель. Савостьянов чуть-чего в обиду не даст, он человек праведный.

Кротов равнодушно пожал плечами — жалуйся, дескать, хоть папе римскому, и молча, не попрощавшись с женщиной, вернулся к машине.

Тетенева не осерчала, полная уверенности, что свое не мытьем, так катаньем возьмет, направилась в поле, где серыми волнами со слабой подзеленью лежал клевер.

Председатель ждал, устало наваялась на капот газика; он бил прутиком по колесу, и с колеса сыпалась глина.

— Коровы нет, а сено просит, жаба!

— Зачем же просит?

Кротов усмехнулся, дивясь первозданной наивности корреспондента:

— Сено дорогое, она опять хахаля завела. Они у нее сезонные — мало ли тут городских шоферов.

Лопатин все еще не улавливал сути и, любопытствуя (он жалел гражданку Тетеневу), раскрыл рот с выражением обиды. В рыжих глазах председателя коротким сполохом зажглась и погасла смешинка.

— Я мало заплачу,— сказал Кротов,— по государственным расценкам, она же сено кому угодно столкнет. Втридорога, заметь. Арифметика совсем простая.

— Но она же...

— Имеет право? Да. Но сена не получит. У нас — колхоз, у нас — демократия: как народ. Ну, а народ настроен соответственно.

— Савостьянов? Он вам как бы помешал, да?

— У него своя правда, у меня — своя.

— Так не бывает.

— Всяко бывает, товарищ корреспондент. Тебя как зовут-то?

— Гурий.

Кротов посмотрел на Лопатина сторожко, исподлобья — не шутит ли? — бросил прутик в траву и отвернулся. Наме-

танным глазом Кротов неясно еще, но уже с некоторой долей определенности угадывал в госте чистоту ребенка, какая попадает нечасто и выглядит на миру чудачеством. У таких праведников маетная доля. И Кротов, потеплев вдруг, сказал:

— Гурий. Гурьян, значит. Ничего.

— Мой отец,— Лопатин полез в кабину, достал свою кепку и зачем-то надел ее,— мой отец, он инженер, читает историю Ключевского и прочее. Он, если можно так выразиться, русофил. Надо мной иногда смеются: имя, говорят, тебе совсем не подходит. Но что поделать?

— Имя как имя,— с вежливой готовностью отозвался Кротов,— нормальное имя. Хочешь, факт для газеты дам?

— Буду весьма признателен, Иван Иванович!

— Есть у меня механизатор Мишка Загадный. Здесь живет, в Боровках,— Кротов повел рукой в сторону горы за спиной Лопатина. По горе, крутой и голой, бродило стадо коров,— он у меня и швец, и жнец, и на дуде игрец: кузнец, токарь, слесарь. Все угоды в нем. На «техпомощи» ездит. Не то, чтобы пообедать, когда и покурить недосуг, в уборочную или посевную — особенно. Последние дожди ударили, Мишка в кои-то веки раз наладил баню, попарился с квасом, вылез на свет, а тут, понимаешь, трактор прямо ко двору прет. Тракторист только что на колени не падает — полуось трещину дала, варить надо, дело стоит! Мишка как был в чистом, так и принялся ось эту варить и довершил дело, когда запели петухи. Был он на черта похожий — одни глаза и не запачкал. Утром — на работу, в мастерские. Вот и баня. Баня так баня!

Небогатая практика подсказала Лопатину, что такие детали газетчику встречаются нечасто. Лопатин подумал о председателе Кротове, все еще жалея гражданку Тетеневу, что Кротов в сущности неплохой человек. Хитрый, правда, ну и должность у него такая — всем не угодишь.

— Мы его найдем, Загадного?

— Найдется, куда денется.

Боровково была приятная деревня, дома имела новые, один к одному, с верандами, под железными крышами и садами в улицу. В садах доспевали яблоки — полукультурки, желтели подсолнечные бодулины, желтели березы.

Лопатин услышал от Кротова, что в пятой бригаде, то есть в Боровкове, народ обжился крепко, но молодежь и здесь больше тяготеет к городу и учителя сюда не едут. Для учителей колхоз поставил два коттеджа с гарнитурной мебелью в рассрочку, но иностранные языки — хоть ты задавись! — преподавать некому. Такие дела...

Вася Чалый рассказал, как на неделе заведующий отделом пропаганды Савостьянов проверял самодеятельность в Боровкове с точки зрения ее идейных позиций и общего направления. Савостьянов сетовал, что в репертуаре совсем нет старинных песен, например, про Александровский централ. А также других. Он сам для наглядности и почина ради спел под баян «Слышен звон кандальный».

Дает старик!

Гурий Лопатин очень отчетливо представил Савостьянова на клубной сцене: стоит в мерклом кругу светильника, руки замком на животе, ноги в битых сапогах по ширине плеч, воротник рубахи комком, и поет, широко разевая рот, похожий весь на старый гвоздь, который долго и трудно тащили из доски.

— В своем стиле наш дедушка, — сказал Вася Чалый и почему-то вздохнул.

Ночью Лопатин писал о Михаиле Загадном с тем, чтобы на завтра продиктовать зарисовку по телефону в редакцию Любочке — машинистке. Писал Лопатин за дощатым столом на пасеке, куда они приехали поздно вечером. Кротов год не был здесь, и пасечник, рябой, болезненно-

го вида мужичок, гостям обрадовался, поплакавшись, что он всеми позабыт-позаброшен и сходу начал клянчить у председателя талон на мотоцикл с коляской. Кротов эту просьбу, не моргнувши, пропустил мимо ушей, нахваливая медовуху — она была холодна и оставляла на губах липкую сладость. Лопатин выпил лишь стаканчик, от второго же, налитого «с макушкой», отказался.

Они сварили на костре картошку, пасечник достал из погреба магазинный арбуз, сало и каравай хлеба. Ужинали при керосинке. Свет ее был неровен и ломок, со щелкающим звуком сгорала над огнем мошкара. Сквозь окно студено проглядывали звезды.

Пасечник с кротовским шофером поехали ночевать в Боровково, Чалый забрался на чердак, где была постель, председатель уgomонился в сенях на кровати, и Гурий остался один. Он писал на линованных и шершавых листках амбарной книги (другой бумаги у пасечника не отыскалось), и ему было хорошо потому, что жизнь в эту ночь ощущалась сразу во многих измерениях: он видел белоголовую девочку, девочку-одуванчик, у прясла в деревне Боровково (она наблюдала за взрослыми сосредоточенно и строго); виделась Лопатину бабочка на капоте МАЗа, изумрудная полоска травы-кашицы под завалинкой избушки, горы пшеницы на цементном полу сушилки...

Кротов ритуально зачерпнул из вороха на сушилке пригоршню зерна, подкинул его, будто взвесил, рассыпал меж пальцев и вытер ладонь о пиджак.

Лопатин стоял на сквозняке в белом проеме открытых дверей и не смел пойти за Кротовым, потому что на полу кругом была пшеница и твердо чувствовалась даже под сапогами. Потом Лопатин чуть ли не на цыпочках побрел в гулкое нутро сушилки, минуя по возможности пшеничные лужицы, робко взял из вороха горсть, высыпал зерно из кулака, заметил, как оно, подпрыгивая и шелестя, скапилось под ноги. В квадратных цинковых трубах наверху

совершалось таинственное действо, размеры помещения впечатляли, и весь этот агрегат с котлами и трубами требовал к себе уважения.

Вася Чалый куда-то пропал, и Лопатин таскался за Кротовым как привязанный. Это было интересно — наблюдать за хозяином, выступавшим одновременно в разных ипостасях, а больше — судьей и наставником. С круглого лица председателя не сходило суровое выражение. Руки он держал за спиной и слегка небрежно клонился дородным станом к говорившему, и лишь единственный раз поздоровался даже как-то нежно с маленькой женщиной, пожилой, остриженной «под горшок». Женщина, как выяснилось, была директором школы. Кротов называл ее Марь Ванна, держался застенчиво, оттопыренные его уши были красны, как у мальчишки. Марь Ванна куталась в пуховую шаль, она, кажется, мерзла, хоть было на улице не так уж и холодно, то и дело показывала тонким пальцем под ноги себе. Лопатин догадался по этому жесту, что в школе непорядок с полом. Председатель вежливо попрощался с учительницей, улыбаясь ей вслед рассеянно и мягко, но тут же нагнал на чело свою скорбную озабоченность. Лопатину сказал сухо, словно застенявшись своей минутной слабости:

— Меня еще учила. Давно она тут, всегда тут. Святая женщина!

У Лопатина создалось такое впечатление, что Иван Иванович Кротов тут же забывает, о чем его просят, и что не умеет ничему удивляться, он хмуро, сопя носом, выслушал простоволосую и толстую старуху, которая держала коромыслом руки, вымазанные землей. Выскочила старуха, видать, с огорода, где копалась, боясь упустить председателя, нечастого здесь гостя. Кротов посматривал краем глаза на белое облачко — оно выбежало из-за горы, подталкиваемое ветром. Облако по форме своей напоминало лебедя с маленькой головкой на длинной шее. Старуха была сердита, она жаловалась на соседа Сергея



Косоротова, который по пьяной и беспричинной злости окатил старухино борово кипятком. Сергей Косоротов мылся в бане, а боров зашел к нему во двор через открытую калитку. Вот так и получилось.

— Попросила людей, прикололи борова, а зачем его летом колоть-то, сам сообрази!

Председатель, слабо кивнувши, пошел от старухи прочь и был тут же остановлен мужчиной городского вида в очках и кожаной фуражке. С мужчиной Кротов посидел рядышком на каком-то ящике, опрокинутом дном вверх, пожевал соломинку, так же глядя на облако, уже изменившее форму — оно круглело и становилось похожим на речной гольш. Опять слабый кивок, опять руки за спину. Кротов пошел вдоль по деревенской улице, пиная сапогами камешки. Мужчина в кожаной фуражке остался сидеть на ящике, не отрывая глаз от сутулой спины председателя, будто на спине содержался ответ.

Кто же такой он, Иван Иванович Кротов? Вася Чалый о Кротове отзывался в основном положительно: мужик редкой хватки, единственный самоучка теперь в районе, без образования, но — хозяин. От природы в нем талант такой, от отца передался. Отец Кротова председательствовал до войны, колхоз организовал, поднял его, сын был бригадиром, а когда отслужил в армии, вернулся солдатиком, его выбрали единогласно, не посчитавшись с мнением райкома. Старики выбрали, и стариков никто не мог сломать. Ваня Кротов, солдатик, аж плакал на собрании, отказывался. Ничто не было принято во внимание.

— Коммунист,— отрезали старики,— народ уважать должен.

— Я кандидат только, отцы!

— Разницы нету! Мы сказали и — ша.

После уборочной, по словам опять же Васи Чалого, Кротов сдает дела и едет на трехгодичные курсы председателей в Новосибирск.

В Боровкове было полно народа. Студенты клали из шлакоблоков свинарник, в тени сушилки рядком стояли грузовики, в большинстве своем трехосные, принадлежавшие геологам, шефам колхоза. Одно крыло школы-семилетки было заставлено кроватями. Кроме того, горожане квартировали по дворам, спали в палатках. Но заданный уборкой темп уже спадал — поля пустели, «мобилизованные» целились восвояси. В конторе бригадир, черный и сухонький, с неприбранными буденновскими усами, подписывал справки. За справками являлись по очереди старшие групп. Некоторым бригадир торжественно тряс руки и винтил при этом свой левый ус, говорил после глухого кашля:

— Спасибочка, помогли! Мы про вас куда надо сообщим.

С другими же бригадир Прохор Петрович обращался невежливо, глядел в угол, руки не подавал, но говорил в спину уходящему:

— Мы про вас куда надо сообщим, пьянчуги!

— И сообщайте! Условий, понимаешь, не создали, а требуете! Мы тоже куда надо сообщим! Чего пугаете-то?

— Мы не пугаем, мы правду отпишем.

В контору Кротов с Лопатиным пришли после обеда. Бригадир поздоровался с председателем, не поднимаясь из-за стола, поздоровался рассеянно и не отрешился от своих забот. Глаза его были круглы и пусты, как у птицы. Кротова такой прием вроде бы не обескуражил, он сел, широко расставив колени, обтер платком красное свое лицо. Помолчал немного, и четко, по пунктам, дал команду: он велел бригадиру, чтоб передал участковому милиционеру, если его нет сегодня на месте, оформить на Сережку Косоротова дело. Пусть Сережку Косоротова сажает хоть на пятнадцать суток. Бригадир Поликарпыч слабо взмахнул рукой, возражая.

— Я знаю, что ты мне скажешь — механизатор он, тракторист, нужный сейчас. Все знаю, а судить — надо,

ишь ведь до чего докатился, подлец, животное ошпарил. Пусть участковый дело оформляет. Точка по этому вопросу. Шефы жалуются — плохо людей кормишь.

— Вот уж зря.

— Не зря, руководитель у них нонче, который в кожаной фуражке, фамилию забыл, прости господи...

— Стукалов.

— Стукалов, значит, мужик хороший и напраслину не возведет. Еще услышу про плохую кормежку, отчитываться тебе на правлении. Со всеми вытекающими последствиями.

— Учту...

— Сегодня же учти! И пошли кого-нибудь там, пусть Загадного Михаила найдут, человеку вот нужен,— Кротов показал подбородком на Лопатина.— Тут Загадный-то?

— Счас нету, часа через два будет.

— Марь Ванна давеча подходила, почто ты ее обижаешь? Ее обижать нельзя!

— Плотников просит. Где я ей счас плотников-то возьму, все в разгоне!

— Извернись. Сними плотников хоть откуда, пусть завтра и приступают. Я обещал.

— Ладно уж, извернусь...

— Извернись.

Долго неприятно звонил телефон, но бригадир почему-то не брал трубку.

— Как она, обстановка?— спросил председатель без интереса: он знал обстановку не хуже бригадира.

— Конец близко, слава те осподи! Клевер видел? Ну и вот.

Кротов мягко вздохнул, раздувая щеки. И председателю, и бригадиру стало скучно, как бывает скучно людям, которые вместе съели не один пуд соли: обо всем переговорено, все, что можно, друг о друге узнано, и узнавать дальше уже нечего. Было похоже, что председатель с бригадиром могут сидеть вот так, не глядя друг на друга, и

молчать неопределенно долго. Лопатин забеспокоился, встал и прошелся по скрипучему полу.

— Машину не дадите, Иван Иванович?

— Это зачем?

— Посмотреть, как здесь картошку убирают.

— Хорошо здесь картошку убирают,— сказал бригадир,— и смотреть нечего. Старички там у меня колхозные трудятся. Народ солидный.

— Вот я и погляжу.

— Соглядатай еще нашелся,— незло заворчал Кротов,— мы — как зайцы, нас все едят, у кого зубы острые. Проверятьщик еще!

— Должность такая.

— Бери вон лошадку мою, у крыльца привязана, дуй себе.

— С лошадки он свалится, Поликарпыч, лошадок он только в кино видел. Буденновские атаки с саблями он видел. Иди, машина у сушилки стоит. Шофера Витькой зовут, передай, я велел...

Желтый круг от керосиновой лампы лежал на досках стола плотно и ощутимо, как блин. И был он теплый.

Лопатин подкрутил фитиль, на потолке тоже возник янтарный кружочек размером меньше, чем на столе, и в его середине, клонясь и вздрагивая, шевелился огонек.

В сенцах с присвистом дышал председатель Кротов.

Лопатин курил и писал о Загадном.

Писалось трудно.

Загадный коренаст, голова кругла, волосы белесые и редкие. Такие волосы бывают у новорожденных («Служил на Сахалине, там у всех прическа редеет, климат тому способствует, что ли»). Глаза у Загадного голубые и ребячьи.

Загадный с женой (сын на учебе в городе) живет в

большом и самом красивом доме на всю деревню (три комнаты, кухня, еще и веранда).

Жена Загадного Елена — крупная женщина типично русской внешности, в ситцевом платье цветочками, не спеша оборачиваясь, собирала на стол, слушала, о чем толкуют мужчины, и улыбалась глазами.

Загадный обо всем судил веско, умел наблюдать. На первых порах он огорошил Лопатина вопросом:

— Тебе лазурь нужна?

Лопатин не понял:

— Как это лазурь, простите?

— Кочегарил у нас в мастерских один товарищ, ну и стишки сочинял — все больше насчет проклятого империализма. Стишки не печатали: грамотешки мало, а одним злом такое ремесло, как я понимаю, не осилишь. Кто-то в редакции ему посоветовал на любовь перекантоваться. Империализм, дескать, и без тебя разоблачат. Бывало, спросишь: «Как, Вася, твои успехи по линии, значит, стихосложения?» В тоске человек: вроде все, говорит, мастерию в препорциях — где это лазурь брошу, где черемуху в белом цвету, где это ветерок пущу по травке. Любовь и закаты — само собой. И не берут ведь, нехристи! Учиться велют. Горький совсем неученый, а попер дальше некуда. Я хуже его, что ли? — Загадный показал в усмешке ровные свои зубы, — ты тоже больше насчет лазури промышленяешь?

Лопатин от души посмеялся и сказал:

— Стараюсь как умею, да плохо знаю село, по существу — совсем не знаю. В университете, правда, читали курс «Организация сельскохозяйственного производства» или что-то в этом роде, так факультативно читали: хочешь — ходи и слушай, хочешь — не ходи. Я, конечно, не ходил.

Загадный постучал корявым пальцем по стакану, который поставила перед ним жена. Стакан отозвался коротким и густым звоном.

- Ничего, разберешься.
- Мне Кротов рассказывал...
- Про баню поди? Было. Им, зубоскалам, случай на руку. Да я и не обижаюсь.
- Напишу?
- Пиши.
- Это — лазурь?
- Как уж получится у тебя. На днях у нас произошло.

Агроном молоденький, жареным петухом еще не клеванный. Весной по картофляницу велел сеять пшеницу. Оно по агротехнике-то и ладно, да не сообразил парень, что место — самая неудобница, крутояр. Жать невозможно: наклон в пятнадцать градусов для комбайна по технике безопасности — предел. Пшеница же, скажу тебе, уродилась ну на диво — стеной стоит. Часть делянки этой кое-как убрали, гривка с полгектара осталась и никак к ней не подобрешься. Литовками косить, так рук нет свободных! Городских попросить — не умеют. Хрен с ней, с пшеницей! Жалко до слез, да куда денешься. Тогда комбайнер Семен Шемякин и говорит нам: «Вы, люди, отвернитесь, я пожалуй, что и сожну эту гривку, язви ее в душу! Будет прокурор дознаваться, так вы ничего такого не видели, иначе вам тюрьма, люди!» Отвернулись мы, глаза пялим друг на друга, и все мы, заметь, бледные. Главный механик шепчет: «Остановить бы его надо, ребята!» А сам, заметь, ни с места. Так-то. И ведь скосил Шемякин все дочиста, до колоска убрал! Вернулся к нам, пот с него падает, в руках трясушка, прикурить не в состоянии. Я ему через короткое время вопрос задал: «Почто это жизнью распоряжаешься так легко, у тебя ж — семья?» Он ответил мне: «Не по озорству и удали головой рисковал — хлеб и есть хлеб, одно слово. Я в войну из дома на фронт бежал — геройствовать. Словили меня возле Омска и записали в ФЗУ. Тогда со шпаной не шибко-то вольнились. Ну, живем, работаем на энском объекте и голодуем, в пору нищенствовать. Да кто накормит, кто подаст — ни у кого

лишнего нет. Как-то раз подрядился я к одной карге рыть подпол. Бабка сама по себе ветхая, но не бедствует, и добра у нее — черт на печку не забросит. Копаю это я при свечке, и когда в дыру дышать высунулся, вижу, хозяйка собачке своей на чашку бросила ломоть хлебушка. Бросила и ушла. Я хватать ломоть и — в подпол. Собачка наверху лаем давится. Карга как ни в чем не бывало второй ломоть кидает. Я и второй поспел у кобелька из зубов вырвать, уже надкусанный. Вот как. Я, брат, то свое унижение до гробовой доски не забуду и не позволю, чтобы кто еще так унизил себя. Хлеб, он цены не имеет...»

Гурий Лопатин был счастлив, что встретил такого интересного человека, и начал рассуждать вслух:

— Я уже вам признавался, Михаил Семенович: мало я сведущ в сельском хозяйстве, но уже сейчас, с малым моим опытом, начинаю выделять одну проблему: город — деревня. Правильно я ее выделяю, Михаил Семенович?

— Проблема общенациональная, — ответил Загадный, блестя глазами азартно, — общенациональная, я не боюсь этого слова.

— А как ее решить, Михаил Семенович?

— Начну опять с примера, согласны?

— Ради бога!

— В июле было дело, нынче. Ехал я домой вечером на «техпомощи» и встретил тракторную тележку с сеном. Воз по самое небо, а на самой верхотуре — городские школьники на головах ходят. Сено ошметьями на дорогу сыплется. За трактором вдальеке, значит, еще одна группа школьников идет. С учительницей. Тоже сеном играют. Я трактор остановил, собрал это ребят в кружок, объяснил, как мог, про ценность этого самого сена. Да ведь что? Учительница, молодая совсем, тоже построжилась, а у самой глаза смеются. Вижу, не согласна со мной: пристал, мол, мужик от нечего делать, просто у мужика дурной характер. Расстались вроде хорошо, а ведь не перестали они сеном-то играть. Нет. И почему? Они просто не понима-

ют сельских наших забот. Да. Они, понятно, хорошие советские ребятишки, но они просто с другой планеты, что ли? И взрослые такие же. Многие, во всяком случае. Тако вот обстоит положение.

— А где же выход?

— Тут думать надо. И внушать: не временное это дело — помощь селу, а постоянное. Пока мы без города перевернуться не можем. Я вот недавно с делегацией побывал в одном совхозе, недалеко тут. Так совхоз («Гигант» называется) без города работает. А почему? Объясню тебе популярно: зерновое хозяйство, можно с твердостью сказать, полностью механизировано. Вот. С картошкой и овощами — хуже. Во-первых, техника несовершенна еще, мало ее, во-вторых, и не умеем мы на ней как следует работать. Это — третье тебе. Значит: город должен твердо знать свои обязанности, мы — свои.

— Вы слышали: Маслов предлагает овощеуборочную технику предприятиям продавать, чтобы они за нее полностью отвечали и полностью ее обслуживали.

— Пожалуй — дельно. А в общем-то думать и думать надо. Нам думать, городским думать. Чтобы судорог не было, авралов и кампаний. Есть ведь все хотят...

За окном был туман. От фитиля керосиновой лампы поднимался смрадный дым. Спал Лопатин мало, часа, наверно, три, но тяжести в голове не было, лишь слегка горчило во рту.

Близко хлопнула дверь машины. «Шофер уже здесь», — вслух сказал Лопатин и отодвинул ногой тяжелую табуретку. По истомному телу еще бродил сон. Лопатин сильно потер лицо кулаками, вырвал из амбарной книги исписанные за ночь листы, сунул их в карман и через сенцы вышел на волю.

Сквозь туман радужным пятном пробивалось солнце.

— День будет на все сто! — крикнул издали Чалый. Он,



голый по пояс, с рушником, повязанным вокруг живота, суетился у рукомоиника.— День, говорю, хороший опять.  
— Бабье лето!— крикнул Лопатин, потягиваясь на белом крыльце.

17

Перво-наперво по приезде из командировки Гурий Лопатин передал через секретаршу (Маслов был в обкоме) подробную и ехидно составленную справочку об уборке картошки в кротовском колхозе. В конце справки он вывел крупно: «Иван Иванович комбайны городу продавать не хочет. Ему жалко их продавать.» Сдал он такую справочку и, весьма довольный собой, прочно сел за свой стол в редакции.

Гурий Лопатин испытывал муки творчества и дурными глазами смотрел в затылок Любочке-машинистке, смотрел на ее восковую шею в кудряшках. На Лопатина навалилось косноязычие. Слово «который» лезло из-под пера вопреки авторской воле. Слово было вездесуще и неистребимо. Лопатин вдруг почувствовал на своем лице шершавую ладонь Марии Гудимовой, и работа застопорилась вовсе. «Который, которому, о котором... Надо же!»

Разрозненно всплывали картины.

Лошадь стоит по грудь в воде, затянжно пьет и вздыхает, с ее губ отчетливо и громко падает вода: блюмм, блюмм. По берегу вышагивает куличок и оставляет на песке следы-крестики. Осенние листья на ивах — будто засохшие стружки. Блюмм, блюмм. Тонкий, ласковый звон.

«Ты вспоминай меня, ладно?»

«Я вспоминаю.»

Тиховодье речки в золотой чешуе, потому что солнце еще поднимается и светит косо...

...Редакторша Серафима Никитична прошла мимо на цыпочках, бесплотная, как тень, и оставила после себя едва уловимый запах духов. Серафима Никитична, похоже, начинает Лопатина уважать: из колхоза «Красный пахарь» он прислал с оказией два письма под общим заголовком «Сегодня, завтра и послезавтра». В первом говорилось о растущем благосостоянии села, о близких и далеких перспективах, во втором — о предварительных итогах трудной страды, третье посвящалось молодежи и подготовке к празднику Урожая. Последний кусок новый сотрудник готовил теперь и просил его не торопить. Он курил «Шипку», одну сигарету за другой, и воссоздавал в деталях последний день своей командировки.

Вася Чалый нудно уламывал Кротова открыть зал нового клуба («Представляешь, какой сюрприз для ребят!»). У Кротова же были свои веские резоны — он хотел довести строительство до последнего гвоздя, под музыку (у колхоза есть, слава богу, свои «духачи») и при внушительном стечении народа (в присутствии вышестоящих товарищей), как в кино, разрезать ленту, ну, и прочее такое — по технологии: концерт и выпивка в интеллигентных рамках. Отклики в печати. Еще, глядишь, и по телевизору покажут. К открытию, надо полагать, будет готова и скульптура стоимостью в девять тысяч с копейками. На постаменте пока пугающе безобразно торчали ноги, много ног. Рядом на земле были сложены руки, женский торс с грудями по футбольному мячу и голова в короне из цветов. Только одна голова. Кротов смутно заподозрил, что над ним издеваются и что железная дорога поставила недокомплект. И не запил ли горькую художник? Может, он в нездоровом своем состоянии перепутал все? Кротов, сердясь на низкие свои помыслы, чуть ли не целовал художника — принимался. «Терезвый вроде, черт его разберет! Разве мускатный орешек грызет?»

Кротов приказал навесить на двери клуба замок величинной в калач и без его личного распоряжения никого в по-

мещение не впускать («Не хрен там делать, только полы истопчут!»). Но замок комсомольцы открыли кривой железкой и под предводительством Васи Чалого вечером хлынули в зал. Это было озорное и праздничное нашествие. Дежурные следили за тем, чтобы каждый мыл сапоги в цинковых корытах у входа, сушился на ветерке и занимал места в креслах с вишневым барроканом на спинках.

Заместитель председателя по хозяйственной части, небольшого роста мужчина с лицом, источающим доброту и робость, потерянно стоял в вестибюле. Его толкали, он извинялся и не способен был на решительные действия.

Из дома прибежал взлохмаченный Кротов в калошах на босу ногу, натужно красный, загородил своим телом веселый поток. Топот затих, стала слышна гармошка пожилого конюха Свиридова, изгнанного из клуба дежурным по причине легкого опьянения. Конюх сидел на лавке неподалеку и орал, опережая гармошку:

Цвели дрова и пели лошади,  
Верблюд из Африки приехал на коньках,  
Ему пондравилась колхозная буренушка —  
Купил ей туфли на высоких каблуках...

Своим ерничеством конюх несколько ослаблял напряженность момента. Даже Кротов было засмеялся, но сразу нагнал тень на багровое свое чело и дал команду утащить конюха Свиридова подальше с глаз. Однако конюх не подчинялся:

— Иде хочу, там, значитя, и развлекаюсь.

Кротов не успел войти в раж, потому что Вася Чалый укорил его при всех:

— Ты бы хоть калоши помыл, Иван Иванович! Здесь — культурный очаг.

Кротовская жена Дуся в этих калошах носила пойло корове и картошку свиньям. Бежал он сюда по тревоге, чу и... Действительно!

— И срам убери! — беспощадно добавил Чалый, — погляди на ноги.

Действительно!

Покойный отец Кротова, старшина Иван Игнатьевич, привез с войны пять пар солдатских кальсон мыльного цвета без износа и с завязками вместо пуговиц. Сын донашивал их вот уже, почитай, двадцатый год.

Все еще начальственно хмурясь, председатель глянул на ноги себе и засопел: мокрые и грязные завязки вытянули за ним дорожки на паркетном полу. «Ить от самого дома пер за собой эти сопли! Девок полно, вот срамота-то!»

Играя карими глазами, Вася Чалый тихо присоветовал:

— В сортир, что ли, спрячься. Я прикрою.

— Я тут, — мыкнул Кротов, — я счас. Нда...

Полчаса спустя председатель пожаловал в синем габардиновом костюме с иголочки, бритый, при галстукe, и особицей сел впереди.

Вася Чалый объявил порядок вечера. Первое: о ходе подготовки к празднику Урожая. Второе: просмотр номеров самодеятельности колхоза «Красный пахарь».

Публика (а в зал набилось до отказа) была довольна, лишь председатель держался сычом и даже не хлопал в ладоши, когда требовали обстоятельства. СердилсЯ. Дуськины калоши он забросил в подсолнухи, кальсоны порвал (рвать было жалко), позвонил в мастерские и дал указание сделать для клуба новый замок — винтовой, хитрый, чтобы ни одна живая душа не открыла.

Вот так.

Любочка-машинистка, задавленная табачным дымом, выскочила в коридор подышать свежим воздухом. Лопатин же не заметил этой демонстрации, он по-прежнему истоиво боролся со словом «который».

Который, которому, о котором...

Вошел Виталий Васильевич Цыбин. Он вытащил из нижнего кармана жилета часы, щелкнул крышкой и сказал:

— Пора обедать.

Цыбин был несуетен, умел поставить себя и расходовался целеустремленно. За ним по первому звонку приходили машины из организаций, о существовании которых Лопатин, например, и не подозревал — из «Сельхозтехники», из дорожного управления или лесхоза. Цыбин спускался по райкомовской лестнице в синем плаще до пят, прямой, как патриарх. На крыльце выкуривал папиросу, садился рядом с шофером и на прощанье делал ручкой Серафиме Никитичне, если она в тот момент была у окна. В районе на ночь Цыбин, как правило, не задерживался, к вечеру возвращался, утром без помарок выдавал драгоценные строки. Много строк. Создавал и фельетоны. Лопатин читал их с удовольствием и смеялся до слез, как ребенок, обижая этим смехом беззащитную редакторшу Серафиму Никитичну. Цыбин мог написать: «Она сидела при свете лампочки и штопала пятку носка». Фельетон (он назывался «Моральный урод») автор начал с рассуждения о том, что нормальный мужчина худо-бедно обходится одной женщиной. «Ведь мы не петухи. Это петуху одной курицы мало, он своих топчет бесперечь, да и соседскими при случае не брезгует. Таков и бригадир Семкин из совхоза имени Чапаева. Он подобен упомянутому выше петуху». И так далее.

Лопатин веселился над литературными трудами Цыбина в общем-то необходимо, даже уважал его за трудолюбие и хватку.

Фельетон «Моральный урод» был замечен, звонила даже из Алма-Аты первая жена бригадира Семкина, которой доброжелатели прислали газету, и кричала: «Так ему, кобелю, и надо!» Редакция получила отклики с энергичным призывом разоблачать таких уродов любого ранга и звания. Была напечатана подборка писем «Пусть под ними го-

рит земля!» Так что изгаляться, считала редакторша Серафима Никитична, тут не над чем.

Цыбин еще щелкнул крышкой часов.

— Так идешь обедать?

Гурий медленно вернулся в этот мир, подвинул рукой стопку бумаги в сторону и сказал:

— Есть не хочу, аппетита нет что-то, а вот поговорить с вами имею желание. В одной конторе работаем, а поговорить по душам все недосуг как-то.

— Крутимся, вертимся,— неопределенно ответил Цыбин, он спрятал часы в жилетный карман, вежливо и снисходительно наклонил голову, готовый слушать.

Любочка-машинистка перестала печатать, из своего кабинета тихо вышла Серафима Никитична и присела на стул, тоже готовая слушать.

— Вы плохие фельетоны пишете, Виталий Васильевич. Я не с точки зрения стиля и прочего, хотя стиль и прочее имеют значение, я о существе. И без околичностей, извините.

— Валяй, чего там, люди мы свои.

— Вот именно свои. Газета, как любил повторять декан нашего факультета профессор Яловой, должна делаться чистыми руками.

— Что ты имеешь в виду?

— Слишком уж вы беспощадны к людям, Виталий Васильевич. Фельетоны ваши грубы и развязны. По-моему.

— Это по-твоему.

— Я свою точку зрения и высказываю.

— Валяй.

— Насчет Семкина молчу. Может, он на самом деле кобель, пьяница и заслуживает самого сурового осуждения, а вот Петлин...

— Что Петлин?

— Человек добрый, вот что.

— Добрый-то добрый, но почему семью бросил?

— У вас ведь, Виталий Васильевич, тоже вторая жена, не так ли? — Гурию было стыдно, что он прибегает сейчас к запрещенному приему, но ему не нравился спесивый вид Цыбина, брезгливое и скучное выражение его лица. Про вторую жену Гурий услышал мельком от Любочки-машинистки, которая, кажется, тоже не одобряла ретивых упражнений Виталия Васильевича по линии морали. — Вторая, не так ли?

— Допустим...

— Почему же вы бросили первую?

— Были на то причины, и я не намерен тебе их объяснять!

— Я не к тому. Я не осуждаю вас, но почему же вы так рьяно осуждаете Петлина? У него ведь могут быть веские причины. Почему же вы отказываете ему в праве отстаивать самого себя? Семью рушить — великое зло, но в исключительных случаях люди вынуждены идти и на это, не так ли? Иногда, опять же в исключительных случаях, мужу с женой необходимо расстаться, потому что совместно прожитые годы mnoжат не любовь и взаимное уважение, но ненависть mnoжат, вот ведь как!

— По-вашему выходит, Гурий Михайлович, что для газеты эта тема — запретная? — тихо спросила Серафима Никитична и поднялась со стула. Лицо ее занялось нервным румянцем.

— Тема незапретная, Серафима Никитична, но весьма и весьма деликатная. Она размышлений требует, участия, а не бичевания, не обличения. Мы же с удовольствием копаемся в грязном белье, угождаем обывателю.

— Где же мерило? — Цыбин, набычившись, тер пальцами лацканы пиджака и не смотрел на Лопатина. Он тоже теперь был хмур и багров.

— Мерило? Совесть!

— Растяжимо, брат...

— Совсем не растяжимо. Слово бьет и стреляет, по-

этому и обращаться с ним нам положено с великой осознанностью. Вот я уверен, Виталий Васильевич, что вы с Петлиным по душам и не говорили. Не говорили же?

Цыбин смолчал, туго засопевши. Серафима Никитична, нерешительно оглядываясь, пошла к себе.

— Не убедил я вас, Виталий Васильевич?

— Нет, не убедил.

— Аргументируйте, пожалуйста.

— Некогда, в столовой очередь соберется. Потом как-нибудь.

Любочка-машинистка принялась печатать. Стук машинки был резок и вроде бы неуместен.

Цыбин, повернувшись по-военному, покинул комнату.

В проеме двери возникло худое чеканное лицо майора Доронина.

— Лопатин на месте?

— На месте.

— К Маслову. Срочно!

— Зачем к Маслову? — Гурий еще надеялся, что Витя Доронин пошло шутит. — Некогда.

— Ему некогда, видишь чего! — голова майора исчезла и появилась опять. Витя, видимо, оглянулся, чтобы усечь, не слышал ли кто еще наглое заявление литсотрудника Лопатина.

— Тебе говорят или стенке?!

— Не горит же! — Лопатин, вздохнувши, перечеркнул еще одно «которое», с прикрутом раздавил в пепельнице окурок, встал, пятясь.

— Давно бы так! — сказал с облегчением Доронин.

Маслов, заложив руки за спину, ходил вдоль огромного стола. Он кивнул Лопатину, приглашая сесть куда вздумается. Гурий сел ближе к двери — он боялся этого кабинета, который давил размерами и



обстановкой, современной дорогой мебелью. Только вот гнутая люстра со стеклянными висюльками явно не вписывалась в ансамбль. Когда на пустыре перед райкомом громыхал трамвай, висюльки позванивали нежно и долго, будто китайские колокольчики. На воценом полу желтело солнце.

Краем глаза Лопатин заметил на Маслове лаковые штилеты кустарной работы. Такую обувь продают грузины. «В Сочи купил. Или в Гаграх,— от нечего делать прикидывал Лопатин.— Я бы такие не купил, несовременная обувь. И скоро мы кончим в молчанку-то играть? Интересно, зачем вызвал? Где-нибудь я обязательно маху дал».

Маслов все ходил вдоль своего державного стола.

«Сейчас выдаст по первое число».

— Чего злой такой? — Маслов сел в свое кресло и отер лицо ладонями, отдуваясь, будто только что вынырнул из воды. — Извини, задумался я.

— Не злой.

— А вот и злой. Почему?

— Да так...

— Дела твои ничего?

Гурий пожал плечами: ничего дела.

— За справочку по Кротову — спасибо. И еще похвалить тебя хочу. — Маслов достал за уголок из стопки бумаг газету и положил ее перед собой. — Свежо ты из «Красного пахаря» очерк выдал.

— Это не очерк.

— Неважно. Корреспонденция, репортаж. Как там у вас еще-то?

— Зарисовка.

— Зарисовка. Свежо, сочно. Без этих «идя навстречу», «соревнуйся». По-людски. Читать приятно. Давно такого не читал, признаться.

— Спасибо.

— И дальше так пиши, не сбивайся на торную дорогу.

— Постараюсь. — Лопатин внимательно посмотрел на

Маслова и заметил, что ежик на голове секретаря стал совсем белый. Раньше, еще недавно, в волосах Никифора Даниловича ясно прострочивалась чернота, теперь ее совсем почти нет, враз пропала чернота, как пашня под снегом. «Ишь как сразу. Удивительно!»

— Вторую добрую новость скажу тебе.

— Потом будут плохие новости?

— Будут и плохие.

— Ясно.

— Чего тебе ясно?

— Что хвалить секретари не вызывают.

Маслов поднял бровь и скосил голову к плечу, будто прислушивался к чему-то, и в глазах его мелькнула короткая улыбка.

— А, пожалуй, и верно! Ты прав. И это — плохо. Это ты дельно заметил, постараюсь исправиться. Ласковое слово, оно ох как нужно, студент!

— Молодой специалист.

— Допустим. И вторая, значит, новость: через неделю обещан мотоцикл.

— Вот спасибо-то! Я и не верил, если честно.

— Напрасно. Ты уж привыкай: я зря не обещаю. Чин не тот. Иначе ведь я за день авторитет свой растеряю, годами нажитый. Авторитет — весь капитал мой, учти.

— Учту.

— Водительские права-то есть у тебя?

— Есть.

— Вот и ладно.— Маслов опять не глядя достал рукой из стопки бумаг конверт, из конверта вынул листок и поманил пальцем Лопатина ближе к себе, подвигая бумажку на край стола.— Ты писал?

Лопатин, склоняясь над столом, прочитал письмо и не сразу вспомнил тот дождливый день, игривую фамилию — Соловейчик. Этот самый Соловейчик требовал срочно напечатать статью про эсперанто. Статья была грамотная, но очень уж длинная и печатать ее в районной газете было

совсем не с руки, что называется, уборка идет, трудная страда идет, а тут на тебе — эсперанто, да еще с продолжением.

— Я писал.

— И рекомендовал автору обратиться в областную газету?

— Рекомендовал, верно.

— Уши бы тебе надрать как следует, да не имею права!

— За что?

— Звонил редактор областной газеты с час назад и голос сорвал, кричаши на меня.

— А имеет он право кричать на вас?

— Он — член бюро обкома.

— Не понимаю...

— Сейчас поймешь. Соловейчик довел до обморока заведующую отделом культуры, второй день сидит в кабинете редактора и добивается ответа, почему нельзя печатать его статью про эсперанто, — Маслов вдруг начал сотрясаться смехом, лицо его враз сделалось добрым и хитрым. — Представляю! О-ох! Они ему согласны и командировочные заплатят, только чтоб из города убрался поскорее.

— Пусть платят, они богатые.

Лопатина удивило, что Маслов умеет смеяться так: неужержимо, по-детски, и опять почувствовал к нему симпатию.

Секретарь, наконец, пересилил себя и построжел:

— Серафима Никитична твой ответ смотрела?

— Нет, кажется. Точно, не смотрела. Ее куда-то вызвали, я без нее почту отсылал.

— Тогда все ясно. Ты Соловейчика не знаешь. Личность особая. Толстовец. По просьбе Крупской им тут в свое время земли выделили. Целая община с запада переселилась. Но я не про то. Всего один эпизод. Для ясности. В позапрошлом году. Да, в позапрошлом, возглавил я рай-

онную делегацию передовиков на ВДНХ. Соловейчик — наш лучший овощевод, рекордные урожаи огурцов в теплицах выращивает. Старик зимой, между прочим, без шапки ходит, купается в проруби. Да. Ну, едем. Вагон купированный, честь по комедии. Народ разный. Да. Приехали. Выкатывается наша делегация на перрон, впереди секретарь райкома, за мной чуть ли не строем наша сельская знать, а позади — Соловейчик с громаднейшим мешком на горбу. И мешок-то не простой, полосатый, как матрац. И где он его спроворил, ума не приложу? Или с собой вез специально?

— А в мешке что?

— Бутылки пустые. Всю дорогу у пассажиров пустые бутылки собирал. Ну вот. Вышагиваем, и нас стеклянный звон сопровождает. Я тебе признаюсь: словчил я тогда, сказал товарищам:— здесь, мол, меня обождите, я минут на сорок отлучусь и вернусь за вами. Сам в кафе забегал, сухого вина выпил, газету почитал — дождался, когда он, подлец, бутылки сдаст и сидор свой полосатый опростаёт.— Маслов опять посмеялся, качая головой.

— Сдал он бутылки?

— Сдал... Не завидую я редактору.

— А как письмо к вам попало?

— Собкор областной утром завез. Обрати, говорит, внимание на своих шутников. Ладно, говорю, разберусь. Вот и разбираюсь.

— И что же вы порешили?

— Тебя наказать в административном порядке, но больше склонен я наказать начальницу твою.

— Вот и напрасно. Серафима Никитична, она очень уж впечатлительная, переживать и плакать тихонько будет. Она долго переживает.

— Тебя наказывать — какой резон, с тебя как с гуся вода: отряхнул перышки и поковылял дальше. Вижу, карьерой дорожить не будешь. Ведь не будешь?

— Вы угадали.

— Плохо.

— Почему же?

— Мы с тобой эту тему на досуге как-нибудь обтолкуем еще. На рыбалку возьму тебя как-нибудь, посидим, студент, у костерка, уха с дымком похлебаем. Хорошо у костерка-то, вот как ладно у костерка-то...

— Не возьмете же!

— Возьму. И честно скажу, не люблю я газетчиков. Возил я одного лет десять назад, вру — меньше, даже водку пили на брудершафт. Свой в доску. И таким же он меня после дураком выставил на весь Союз нерушимый, что хоть в гроб живым ложись. Он, видишь ли, был в полной уверенности, что кукуруза южных сортов у нас должна вызревать до восковой спелости, потому как на это есть соответствующее решение. И сам ведь агроном по образованию, подлец!

Лопатин уверился сразу, что Маслов говорит правду, что случай такой был. «А Цыбин? Вот он тоже не ищет истины, ему некогда искать ее».

— Не все ж такие-то, Никифор Данилович!

— Не все, понятно. Но делу — время, потехе — час. Иди.

— Можно вопрос задать, Никифор Данилович? Предупреждаю: вопрос деликатного свойства.

— Что ж, задавай, пока я добрый.

— Зачем вы взяли под защиту Петлина?

— Я его не брал под защиту, он строгача схлопотал, это, брат ты мой, суровая кара для партийца.

— Но ведь могли и исключить?

— Могли.

— А вы не дали исключить. Все так говорят. Почему не дали исключить?

— Вьедливый ты парень, Лопатин! — Маслов, слабо вздохнувши, расслабил галстук на мощной своей шее. — Так и быть, расскажу тебе одну маленькую притчу. Рос я в крестьянстве, были у меня родители и дед с бабкой были. Бабка Лукерья — редкой души человек: ласковая, муд-

рая, терпеливая. Сказки, которые она мне рассказывала, до сих пор наизусть помню и песни, которые пела мне. Она мне очень много дала, только взрослый это понимать начал. Да. А дед Касьян мужик был со всех сторон никудышный — деспотичный, злой, уросливый. И — неумный. Да. Помер он, а года через три бабка Лукерья слегла. Тихо хворала, терпеливо хворала, а когда кончину свою почувствовала, знаешь, какие ее последние слова были? «Не хороните,— сказала,— с дедом рядом, шибко уж он в жизни-то досаждал мне. Я прощать умею, дети, а его простить не могу». Вот как. Достаточно тебе этой притчи?

— Достаточно. Спасибо, Никифор Данилович.

Маслов демонстративно уткнулся в бумаги и не поднял глаз от стола.

Гурий Лопатин пошел по ковру, неслышно закрыл тяжелую дверь кабинета.

19

Редакторша Серафима Никитична вышла из своего кабинета и сказала литсотруднику Лопатину, клонясь к нему девичьим своим станом, что буквально минуту назад звонил секретарь Маслов и велел непременно присутствовать на бюро райкома.

— Мне, что ли, присутствовать? — крайне удивился Лопатин и бросил на бумаги деревянную ручку с простым пером, которым любил писать, окуная его в непроливашку, — я же беспартийный!

— Бюро открытое.

— А вы?

— У меня всегда работа есть.

— Цыбина бы послали, у него выправка, статья. Он жилет носит. И часы с цепочкой.

— Цыбин в «Партизан» едет. Это, во-первых, во-вторых, речь ведь идет о вас.

— Вот еще не было печали!

— Ничего, для общего развития полезно.

— Оно, конечно. С одной стороны...

Лопатин, смирясь, вычеркнул из актива двадцать пятое сентября 1970 года. Он всерьез брался жить по плану, а какие здесь планы!

— Не могу я, Серафима Никитична!

— И — приказы секретарей не обсуждают.

Любой публичный ритуал, думал Лопатин, приобретает со временем отточенные до мелочей формы. Все в итоге подчиняется скупой целесообразности, второстепенного нет, есть лишь Дело.

Члены бюро сидели рядом, похожие, как новобранцы. Кабинет высок, чист и холоден. Холоден блеск мебели, окон, наощенного пола, только люстра самоварного золота, осколок иного стиля, люстра в форме козлиных рогов, маячит перед глазами ненужно и нагло, будто кукиш, сотворенный пьяным гостем в приличной компании.

Слушали отчет секретаря партийной группы таежной бригады совхоза «Приречный», самой дальней в районе. По первопутку совхоз угонял молодняк крупного рогатого скота на отгул, возвращалась бригада на главную усадьбу лишь в ноябре.

Это был паренек лет двадцати пяти в новом и дешевом костюме. Волосы на его голове лежали кругло, подсолнухом, и не поддавались гребню; лицо паренька, обитое ветром, обожженное солнцем, было черно. Такая кожа уже никогда не возьмется конторской истомной бледностью.

Группарторг признавал: обстановка нынче куда хуже прошлогодней, привес скота не тот. Оно и погода сыграла свою отрицательную роль — в тайге моросно, трава прет выше некуда, да толку с такой травы мало, подкормки же, особо концентратов, коровам только по губам помазать. Это одно. И другое: бригадир Петро Худяков, зоотехник с дипломом, на работу не лют, пьет не просыхаючи, на

критику не реагирует и злопамятный: преследует выговорами, снимает дояркам премии и все такое прочее. Пугало, одним словом. «Мы, например, на партийной группе обсуждаем положение, он же, не член партии, сидит на завалинке и слушает, кто его задемет, чтобы вскорости почитаться. Морду набить ему, так засудят».

— Стоит и бить. До крови! — сказал Маслов, шевеля спиной в кресле. — Тайга все спишет, а?

— И тайга не все списывает, Никифор Данилович, законы и для нас законы, — группарторг принял реплику Маслова буквально и забеспокоился. — Нельзя так-то!

— Ты сколько лет в партии, Зимин?

— Полгода как из кандидатов.

— Неопытный еще.

— А директор куда смотрит? — подал реплику член бюро, председатель Кротов, сидевший чинно, как посаженный отец на свадьбе.

Через стул от Лопатина поднялся седоусый аккуратный старичок и с неуловимой быстротой воздел на нос очки в желтой оправе.

— Что поведаеть ты? — Маслов незлобиво посмотрел на директора из-под смурых бровей и шаркнул под столом ногами, качнулся телом вперед. — Ты цифирь оставь (старик уже держал в руке близко к глазам записную книжку), времени нет у нас на цифирь. Почему, ответь нам, пьяницу держишь на таком ответственном участке, Игнат Васильевич, уважаемый?

— Нету специалистов, Никифор Данилович. Нету. Я же просил у вас человека.

— Просил. Ты всегда просишь впрок. Да где я тебе наберусь специалистов. Своих расти, вот хотя бы его. — Маслов рукой указал на группарторга. В институт будешь его направлять, постричься заставь (члены бюро вежливо и в меру посмеялись) и выправляй положение. Сам поезжай в бригаду! Сам! Завтра же чтоб поехал.

— На чем я поеду? — директор так же неуловимо бы-



стро избавился от очков и заморгал глазами неясного цвета.—Вертолет в копеечку обернется, верхом не могу—спина можжит.

— Ты мне хоть на карачках добирайся. Для начала же предлагаю, товарищи члены бюро, записать директору совхоза «Приречный» выговор без внесения в учетную карточку, группарторгу Зимину поставить на вид — по причине молодости. Кто «за», «против», воздержался? Единогласно! Все! До свидания, Игнат Васильевич. До новой встречи.

Седенький директор сокрушенно развел руками («невинных бьют!»), провел расческой по редким волосам, будто собирался тотчас же сесть перед фотографом запечатлеться на долгую память, но перерешил и шажками засеменял по ковровой дорожке. Он не сознавал себя ни правым, ни виноватым — просто считал: обстоятельства, как часто случается, были на этот раз выше его. Молодой же группарторг наказание принял близко к сердцу, был чернее тучи и спотыкался на ровном месте.

— Пьяницу — гони!

Директор приостановился и потер рукой медную плешь:

— Погожу еще.

— Зачем же годить?

— Молод, необъезжен.

— Гони!

— Я еще не решился.

— Упрямый ты, Игнат Васильевич!

— Да какой уж есть.

— И не боишься?

— Устал я бояться, Никифор Данилович.

— Ишь, он устал!

— Так оно и есть. Страстателей много, помогателей нет.

— Повремени-ка минутку, Игнат Васильевич! — секретарь Маслов, привставши, поманил директора рукой.— Ты свои соображения по уборке овощей представил? У нас

по этому вопросу расширенный актив. Я с каждого руководителя соображения требую. Письмо наше получил?

— Получил... Какие мои соображения? Чем дальше, тем, значит, хуже.

— А мы хотим наоборот: чтобы чем дальше, тем лучше. Опыт твой — богатый, и сердце у тебя болит, как у меня, как у всех, кто с землей напрочь связан, разве не так?

— Так. Хорошо. Подумаю.— Директор не вышел, вроде бы растворился в «предбаннике» с двойными дверями, обитыми дерматином, за ним тяжелой поступью протопал лохматый группарторг.

В приемной секретаря, заполненной горячими телами и вокзальным гомоном, Лопатина припер с стенке инструктор Виктор Ильич Доронин и некоторое время мучился, вспоминая, зачем он, собственно, припер Лопатина к стенке? Наконец, вспомнил и озарился улыбкой. Оказывается, Лопатина дожидается какая-то девица. Витя, конечным делом, намекнул, интимно подмигивая, насчет разворотливости некоторых новеньких. Новенькие не успели на работе и одних штанов просидеть, а девахи уже бегут по их следу.

— Даешь стране угля! — Витя задрал голову, оголяя кадык, хохотнул и мигом затерся в толпу: он кого-то искал, был деловит, исполнен веры, что старая наша земля носит его не напрасно. Инструктор, как министерский чин, прижимал к животу черный немецкий портфель, купленный по случаю в Москве за большие деньги.

Ждала Лопатина девушка лет этак восемнадцати-двадцати. На ней был свитер, низко повязанный платок, из-под платьишка выглядывали округлые колени грузноватых и загорелых ног. Лопатин поклонился ей и пристукнул каблуками, она окинула его глазами с головы до носков ботинок и по-девичьи неловко подала шершавую руку.

— Я — Валя. К вам от одной знакомой.

Сердце Лопатина ёкнуло, и тело окатилось теплом.

— И от кого же вы?

— Будто и не догадываетесь! — толстушка опять при-  
мерила его взглядом, он ей не приглянулся, и она зато-  
ропилась.— Я с нашей машиной уговорилась, шофер уж,  
поди, туточка, айдате со мной, гостинец вам привезла от  
известной особы.

На первом этаже за вешалкой была спрятана сумка тол-  
стушки, набитая всякой всячиной из городских магазинов.  
Лопатин получил сверток и записку. И не получил никаких  
дополнительных разъяснений. Толстушка убежала, заде-  
вая сумкой паркет.

Витя Доронин зычным голосом старшины-сверхсрочни-  
ка звал заседать.

Сверток (в нем был маленький туес с медом) Лопатин  
затолкал в тумбочку стола, записку взял с собой, и пока  
члены бюро, гремя стульями, усаживались на привычные  
свои места, развернул тетрадный листочек и прочитал:  
«Почему не был у нас больше? Почему не пришел ты ко  
мне пить сливки? Ты плохой человек. Ты совсем плохой!  
Я видела тебя издали у конторы, ты садился в машину.  
Появишься в селе, спусти на тебя собаку, и она тебя съест.

Я тебя вспоминаю. Мария».

Лопатин спрятал записку в карман и поймал себя на  
том, что думать о Марии ему по-прежнему приятно, и  
больше того, он ждет втайне каких-то перемен, но сам (это  
он сознавал твердо) никогда не переступит черту запрет-  
ного, и если уж переступит (что маловероятно), ему не  
даст покоя совесть. Он уже сейчас моментами представлял  
себя законченным идиотом.

Маслов кивнул: продолжаем.

Докладывал член бюро председатель Кротов. Он спер-  
ва было встал, но сразу сел, махнувши рукой:

— Ладно, я сидя. Так я о комсомоле. Всего несколько

слов. Суть такая: хулиганит наш комсомол под руководством боевого нашего секретаря Василия Чалого. Обидели они наш колхоз и меня лично обидели до слез, понимаешь,—они трактор «Фордзон» в металлолом сдали. Этот трактор, товарищи, первый в районе, за ним мой отец покойный аж в Москву от общества ходоком был. Я этот трактор, товарищи, намечал поставить возле нового клуба, чтоб молодежь четко знала, с чего и как мы начинали,—председатель Кротов расчувствовался не на шутку, и не знал, куда девать руки.—Этот трактор за номером пять тыщ шестьсот по первости в нашем дворе стоял, и отец его с ружьем караулил от посягательств всяких. Да. А они взяли и свезли его на переплавку в город, тайно, ни у кого не спросивши. Они у меня и деловое железо потаскали, электромоторы даже потаскали, хулиганье!

— Как это — потаскали?

— Чего не понять-то — деньгу, видишь, на праздник зашибают!

Маслов покрутил головой, ослабил на шее воротник рубашки и положил на стол перед собой кулаки.

— У его механика,—сказал Вася Чалый, поднимаясь,—во рту мухи роятся.

— Так у тебя-то мухи не роятся! — закипятился председатель Кротов и оттолкнул локтем стул позади себя.—Ты же государственный человек, должен цену добру знать, лиходей! Ты что это завсегда дурачком отходишь, тоже манеру взял себе — хиханьки да хаханьки, молодые мы, и взятки с нас гладки, да? Вот, говоришь, механик у Кротова полоротый? Большой он, фронтовик. А голова его — золото, руки его — золотые. Бессребреник, открытая душа, коммунист настоящий. Ты над ним считай что надругался!

— Извините,—тихо и сквозь сжатые зубы сказал Чалый.—Неправ я, коли так. Человек он новый в районе.

— Вот! Первый раз слышу от тебя умную речь. Ты же хороший парень, Василий, но упрямый, как Нюркин козел.

— Что за козел такой? — деловито и без улыбки поинтересовался Маслов.

— Вдовая она, Нюрка-то. Козел ейный — знаменитость. Белоглазый, язви его, бородищу по траве таскает. И уросливый. Может сутки с места не сдвинуться, когда она ему чем не угодит.

— Зачем же держит?

— У меня старик такой же был — говорит. — Царствие ему небесное. Дети поразбежались, одна осталась. Ну, на козла и работает.

Маслов поднял подбородок, клонясь вперед: кто еще имеет желание высказаться? Нет желающих? Тогда я — в заключение.

— Трактор — жалко. Я тот трактор помню. Это история наша. Не так уж и далекая. Комсомол тут промашку дал, конечно. Нам ведь не только вперед глядеть, и назад иногда оглядываться надо. Затея здравая, имею в виду праздник Урожая, но не любое же средство оправдывает цель. Так или не так, Василий Григорьевич? Так или не так, тебя, спрашиваю, товарищ Чалый?

— Деньги нужны, Никифор Данилович, не хватает денег!

— По одежке протягивай ножки.

— Все в стороне! Комсомол затеял, комсомол и расхлебывай. Для себя я стараюсь, что ли!

— И я в стороне?

— И вы, Никифор Данилович, не лучше других, чего там!

— Даже так?

— Так оно и есть. Один Савостьянов помогает, да какая у него власть! Как вот из них рубли выколотишь? — Вася круглой, растопыренной ладонью обвел сидящих в кабине. — Они — бедные, для праздника у них нет ничего.

— Они не совсем бедные, — сказал Маслов рассудительно. — У них, видишь ли, деньги не свои, государственные и подотчетные.

— Слышали! — Вася Чалый вздохнул, как вздыхают люди, которым все известно и все наскучило.

— Ты не вороти нос-то! И не хватай, что плохо лежит, несолидное это занятие — добро со двора тащить. На пленуме, — Маслов, поскленив палец, полистал откидной календарь, — пленум у нас ровно через неделю, доложишь о своих заботах. Бросим клич и прочее такое.

— Бросали уже клич!

— Еще раз бросим — не повредит.

— Сомневаюсь в успехе, Никифор Данилович.

— Можешь не сомневаться.

Вася топыриться больше не стал, рассудив, видимо, что гусей дразнить не стоит, да и секретарь благодушеествовать дальше, похоже, был не намерен, а во гневе он жесток.

20

Лопатин через плечо посмотрел в окно и увидел плывущую мимо крышу трамвая; большие тополя за пустырем среди избышек осень лишь тронула — на тополях потемнела крона и вдоль стволов продернулась желтизна.

Маслов возился с какими-то папками, перекладывая их с места на место и озабоченно хмурился. Люди дожидались слова и прислушивались к стуку трамвайных колес.

— Чего это молчим-то? — простодушно спросил Чалый. — Милиционер родился, примета есть.

Вася на радостях несколько послабился, его выходка навлекла молчаливое и безусловное осуждение. Кротов даже подкашлянул и качнул головой: горбатого, дескать, исправит только могила.

Маслов кончил, наконец, надоевшую и самому возню с папками, отвалился в кресло, потер ладонями грудь и закрыл глаза, будто задремал.

Лопатин почувствовал, что сейчас или несколько спустя

его ждут неприятные минуты, не напрасно же он торчит здесь и не по своей воле, он зачем-то нужен. Маслов шаги свои рассчитывает вперед.

— Перерыв сделаем? — ласково и робко внес предложение инструктор Витя Доронин, — самый раз отдохнуть, а? Маслов встрепенулся, ответил немедля:

— Выбились мы из графика, — он поднял руку к глазам и посмотрел на часы, — лишним временем не располагаем, курящие — потерпят. У нас серьезный вопрос. Дело вот в чем, товарищи... Кузьма Кузьмич Савостьянов подал заявление об уходе. Годы не те и вообще... Как это яснее? Не соответствует. Устарел.

— Что верно, то верно, — вставил Чалый уже с явным вызовом, — сотворили мы из деда клоуна. Общими усилиями. Теперь — кому он нужен! Правильно.

— Компрометирует райком, — продолжал Маслов размеренно. Нарочитое его спокойствие сулило грозу. — Возраст — шестьдесят три. Поотстал от задач дня. Как поедет по деревням, так и жди звонков. То он, понимаешь, хмельного киномеханика арестует, то жуликов на току с ружьем сторожит. Да. С другой стороны, товарищи, человек много отдал партийной работе, жизнь по существу истратил, богатства не нажил, здоровья лишился. Характеризовать Савостьянова нужды не вижу. Работник он безотказный: надо, так надо. В дождь, в снег, в распутицу. Пешком ли, верхом ли. В селе на него и собаки не лают — привыкли. На пропаганде держать его по возрасту и другим причинам нет смысла, я ему предложил взять на себя хозяйственную часть райкома. Чуприна завтра идет в декретный отпуск. Это, считайте, на полгода. Дальше — будет видно.

— Не соглашается?

— Ни в какуюю. Я пригласил его на бюро — может, вы уломаете? Областную или республиканскую там пенсию он будет иметь, но в пенсии ли суть?

— Вот именно! — опять встрял Чалый. — И как понимать, Никифор Данилович, устарел? Годами? Старик он

грамотный, я у него всегда перед экзаменами консультируюсь. Историю партии на зубок, да и в философии не протак, рубит.

— Ты комедию, пожалуйста, не ломай!

— Я и вправду не понимаю.

— Тебе что не нравится?

— Все не нравится, Никифор Данилович!

— Тогда очисти помещение, не держим.

— Я послушаю.

— Сиди и слушай. Только тихо.

— Нет уж, Никифор Данилович, молчать я не буду, если потребуется. Я тоже коммунист, Никифор Данилович!

— Учтем, что ты тоже, понимаешь, коммунист.— Маслов кивнул Вите Доронину: — Зови!

Витя по сигналу сорвался, побежал было, но замороченно притормозил, оправил сзади гимнастерку, собранную птичьим хвостиком, закончил путь до двери уже чинной поступью, наскрипывая сапогами.

Савостьянов занял свободный стул рядом с Лопатиным, поздоровался глазами, кивком и пристыл со сложенными на коленях большими руками. На нем был неновый аккуратно отглаженный пиджак, белая рубашка, игривый галстук с «павлиньим глазом», как всегда, успел сбиться на сторону.

«Не по себе старику!» Лопатина пронзила жалость к этому человеку. В порыве великодушия и любви к ближнему, заполнившей все его существо, Лопатин шепнул:

— Как живется, Кузьма Кузьмич?

Старик поиграл губами: сам видишь, никак.

Маслов огляделся и сказал:

— Мы тут посоветовались, Кузьма Кузьмич, и решили просить тебя, чтоб остался ты в наших рядах. Чуприна наладилась в декретный отпуск, дальше еще кое-какие перспективы откроются. Без тебя оно как-то непривычно будет.

— Соглашайся, Кузьмич, чего там! — председатель



Кротов сиял круглым своим лицом, ему было приятно, что дело разрешается так легко и к взаимному удовольствию.

— Не резон мне оставаться, товарищи. Свое отработал. Немощный стал теперь уже, битый да грабленный, как говорят в народе. Шабаш!—Савостьянов сделал попытку встать, но Маслов остановил его порыв ладонью: люди свои, не будем церемониться.

— С места, Кузьма Кузьмич!

— Я, мол, отработал свое.

— Непривычно будет без тебя-то.

— Потешаться не над кем будет, Никифор. Смешной я стал по вашим меркам, Никифор. Надо мной даже инструктор мой Виктор Ильич Доронин шутки изволит.

Все, как по команде, повернулись лицами к Вите Доронину, сидевшему на стуле у дверей с черным портфелем на коленях. Доронин скраснел и потупился.

— Ты это зазря, Кузьма Кузьмич! Бывает. Всякое ведь бывает. Живем, работаем. А с Дорониным ты и сам справиться в силах, я так думаю.

— Я лучше встану,—Савостьянов медленно поднялся, огладил руками лацканы пиджака, подобрался весь, и щеки его зацвели пятнами. Это был старческий лихорадочный румянец.—Спасибо, что дали мне такую возможность — сказать слово. С моей стороны нечестно будет, товарищи, держать за пазухой камень. Я тебя, Никифор Маслов, давно ведь знаю, хороший ты парень был по молодости. Добрый был парень. Скромный. И высоко ты взлетал, и падать тебе приходилось, однако человеком ты остался. Нынче тыг мне не нравишься, Никифор,—сдаешь позиции. Я ведь хорошо понимаю, зачем тебе нужен. Я всегда рядом, и по мне ты себя проверяешь, Никифор: не слишком ли зарылся, не дал ли промаху. Я твой авторитет берегу, с глазу на глаз мы когда и поругивались с тобой. Исключительно с глазу на глаз. Я ведь тебя нисколько не боюсь. И никогда не боялся. Это в крови у меня, Никифор. Так меня старые большевики воспитали. Да. А ты на птице-

фабрике знамя вручаешь и после митинга в кабинете директора коньяк пьешь. Я тебе упрек делаю: так нельзя. Ты мне говоришь: отчего же я людей сторониться должен? Людей уважать — не грех, только коньяк свой пейте, не казенный. Они на птицефабрике-то кому-то премию выписали, а деньги на пропой взяли. Вот так. И еще одно мне не нравится. Приезжают товарищи из обкома, ты на себе только рубаху не рвешь: ты обещаешь золотые горы, два плана обещаешь. Я снова против: не поднять нам такую прорву, Никифор. Ты же — свое. Семенные фонды трогаешь, зато в чести. Тебе, видать, еще один орден заново бился, мало их у тебя?

— Ты сперва ответь нам: остаешься или, значит, нет? Мы кадровый вопрос решаем.

— Я и отвечаю: не хочу я с тобой работать, Никифор! Мы все дальше и дальше друг от друга. И руки уже не подать тебе — не достанет рука.

— Суди сам, Кузьма Кузьмич, — Маслов еще сохранял на губах улыбку («неисправный старик»), но был, чувствовалось, задет за живое. Суди сам. И повремени, дай сказать, я ведь слушал. Да сядь ты, правды в ногах нет.

— Постою, ничего. Я еще не кончил. Моя правда в ногах только что и осталась.

— Как хочешь. Так суди сам. Едешь ты в Березовку, оттуда звонят: Савостьянов запер в сарай пьяного кино-механика. Я тебя слушал, послушай ты! Едешь опять до Кротова, начинаешь жуликов искать, с ружьем по селу шастаешь, в результате бутылкой тебя по голове бьют. Едешь ты, допустим, к Марьянову с конкретным заданием проверить наглядную агитацию, ты ее не проверяешь, ты дачников, пенсионеров, считай, силком гонишь убирать картошку. Шум на всю губернию. Там и заметные пенсионеры живут, даже генерал есть.

— Правильно он их растревожил! — подал реплику Вася Чальй, — зато Марьянов первый в районе с овощами

справился. И генерал поработал, ничего такого с ним не случилось.

Маслов показал пальцем на телефон:

— Мне — звонки: уйми своего ретивого, активный чересчур! И ведь часто звонят, в месяц-то бывает, не единожды. Все у тебя, Кузьма Кузьмич, как-то судорожно получается.

Савостьянов после этих слов развел руками и покаянно кивнул, вполне соглашаясь с Масловым: что правда, то правда, что есть — не отнимешь.

— Характер уж такой, Никифор.

— У одного характер, у другого характер. А у меня?

— Тебе легче. У тебя, Никифор, не один даже характер, для подчиненных — свой, особый, — Савостьянов повернулся к Лопатину, чуть притронулся рукой к его голове. Прикосновение было легким, но Лопатин успел почувствовать, как горяча ладонь старика. — Вот зачем ты парня обидел? Он за дело болеет, ему в район крайность как надо, ты же его в машину брать не желаешь, он тебе малиновый ковер затопчет. Или ты забыл, Никифор, как сам пешком ходил? И машина не твоя, Никифор. Она, конечно, персональная, но все же от казны.

— Тема эта закрыта.

— Ты ее закрыл. Я не закрывал. И вообще много ты на себя берешь последнее время.

— Ты бы поконкретней.

— Ладно. Почему Петлина, например, широкой своей спиной загородил? Он же прощелыга, бабник и в партии ему не место.

«Старик-то, — подумал Лопатин с некоторым даже испугом, — прет, будто вспугнутой кабан сквозь чащу. Неужели это все серьезно?»

— Завидую я тебе, Кузьма Кузьмич! — сказал Маслов и медленно вздохнул. — Ты всю жизнь свою делил людей на чистых и нечистых, тебе поступок важен сам по себе,

про мотивы забываешь. А ведь неглуп. Судить ты горазд, миловать не умеешь.

— Я честно живу и от других того требую.

— Этого мало — честным быть. Мало. Вижу, не понять нам друг друга. Ты верно говоришь — отдаляемся мы, как льдинки в половодье.

— Оно так.

— И перевоспитывать тебя — поздно.

— Оно так, Никифор, поздно.

— Еще разоблачать будешь?

— Есть у меня факты, много фактов, но не стану я их перечислять.

— Дело твое...

Савостьянов постоял еще молча и сел на край стула, потер кулаком щеку. Был он рассеян и ничего больше его уже не касалось — ни то, что произошло, ни то, что произойдет. Он упер локти в колени, согнулся, под пиджаком обозначилась его худая спина. Он устал и не скрывал своей усталости, не скрывал разочарования в том, чего не смог бы назвать одним словом. Он смотрел под ноги себе, на паркет, оплавленный солнцем, и ни одной мысли теперь не обременяло его. Он знал, что ему не дано ничего изменить или поправить согласно своим понятиям. Он никому уже не нужен.

— Твой ответ, Кузьма Кузьмич?

— Я, однако, пойду. Спасибо, товарищи, за участие. Нет смысла со мной возиться, это я вам от сердца и без обиды.

— Неволить не станем, Кузьма Кузьмич.

— И правильно.

Старик уже видел себя за чертой горизонта, за той чертой, куда уходят не оборачиваясь. Уходят, чтобы не вернуться.

В кабинете секретаря Маслова осталась гнетущая тишина. Савостьянов осторожно, точно боясь нарушить тишину, притворил за собой дверь.

С утренней почтой Лопатин получил долгожданный ответ из толстого журнала. Заведующий отделом прозы сообщил, что эссе об умирающем лосенке, вероятно всего, будет использовано в ближайших номерах. «Судя по всему, у вас, Гурий Михайлович, есть данные и для вещей посерьезней. Про лосенка со- творено на уровне, но с темой вы подкачали: нынче все разом полюбили братьев своих меньших, но по-прежнему быт живность, какая только попадет на мушку ружья. У вас, полагаю, немало интересных наблюдений из жизни села. Присылайте, будем ждать новых произведений». Далее следовало с «поклоном» в добром российском духе и заковыристая подпись.

Письмо это Лопатин читал бесчисленно, потом спрятал его во внутренний карман пиджака и походя трогал пальцами жесткий уголок бумаги, испытывая при этом настоящее счастье. «Напечатано или нет, в конце концов не так уж существенно, важно, что ко мне отнеслись серьезно, намекнули даже на литературные способности, и это здорово! Новичкам толстые журналы комплиментов не разда- ривают».

Такими мыслями в то утро была занята голова лите- ратурного сотрудника Гурия Лопатина. Он, тихо ликуя, уго- варивал себя тотчас же отдаться серьезной работе и вы- дать серию рассказов, никак не меньше! О чем будут эти рассказы, он не имел представления, но он их напишет, стоит лишь как следует захотеть.

Моралист и ниспровергатель основ Виталий Васильевич Цыбин, пахнувший одеколоном «Свежее сено», тугощекий и благополучный, покрутился некоторое время возле с целью приобщиться к тайне, которую загадочно источал Лопатин, но приобщен не был, и, обескураженный, удалил- ся к инструктору Вите Доронину пить полезную для здо-

ровья минеральную воду «Ессентуки», купленную про запас в райкомовском буфете.

Машинистка Любочка, взгромоздясь на стул, затыкала оконную раму тряпьем, порезанным на ленточки. Тряпье Любочка принесла из дома в белом узелке. Она роняла ножик, и он сварливо звенел. Лопатин вздрагивал, терял нить. Из своего кабинета несколько раз выглядывала Серафима Никитична, застывала в дверях, опираясь плечом о косяк и, слабо вздохнувши, уходила.

Любочка демонстрировала свое плохое настроение и, может быть, даже нарочно роняла ножик, вызывая на острый разговор, Лопатин же отпуская грехи коробами. Да и Любочка тоже имеет право на характер. Лопатин, безусловно, уважая неповторимость Любочки, подался курить в коридор.

Райком был пустоват и темен. Приемная Маслова была растворена, оттуда, пересекая коридор, сочился дряблый свет. Маета одиночества завела Лопатина в кабинет Вити Доронина, заставленный вдоль стен театральными креслами серого цвета. Витин стол, наимоднейший, полированный, располагался близко от входа, напротив Вити, лицом к нему, сидел Цыбин за столом поплотнее и ценою подешевле. Оба, когда появился Лопатин, морщась, замахали руками: изыди, сатана!

Доронин и Цыбин по клятвенному уговору бросали курить, и запах табачного дыма их раздражал.

Виктор Ильич Доронин отколупнул ногтем большого пальца железную пробку початой бутылки, плеснул в стакан, на донышко, минеральной воды и единым глотком, задрав подбородок, выпил ее, крикнул и отер ладонью мокрые губы. Пустой стакан испятнался каплями, они лопались и стекали ломкими дорожками, оставляя на стекле известковый след.

— Вступай в наш святой союз, Лопатин!

— В какой еще союз?

— Некурящих. Одна сигарета,— доложил Витя, испол-

ненный торжества,—чтоб ты знал, отнимает пятнадцать минут жизни. Проверено и доказано. Новейшие,— между прочим, данные! — Витя повернулся к Лопатину, заложил ногу за ногу, веселый. Он был в кителе с белейшим подворотником, лихо чубатый и симпатичный в общем-то, но уж шибко большеротый. Нравится, наверно, женщинам. И поболтать способен, он тебе на любую тему выдаст новейшие данные в объеме газетной информации и популярных изданий. За прессой Витя следит — его хлеб, как-никак.

— Не желаю в союз.

— Брезгаешь?

Виталий Васильевич Цыбин тоже налил себе воды, тоже выпил, но губы отер платочком, встряхнул платочек и сложил его перед тем, как спрятать в карман.

— Не имею силы воли.

— Коллектив поддержит,— сказал Цыбин,— коллектив — сила.

— Чтоб ты знал! — добавил Витя и выпрямил указательный палец.

И Лопатин вспомнил, зачем, собственно, пришел сюда.

— Скажи, Виктор Ильич, как там Савостьянов живет? Неловко со стариком получилось все-таки. Не так бы надо, даже не проводили как следует.

— Вот еще интеллигент сопливый! А как надо-то?

— С почетом. Заслужил, поди.

— С почетом! — Витя закивал, как лошадь, потряхивая головой. — Ты мнишь, будто из-за тебя Кузьма ударился в амбицию? Чепуха! Просто всему есть предел. Сколько можно на самом деле махать саблей? Ты слушал Маслова? Маслов целиком и полностью прав. Я голосую «за».

— Ты за что угодно проголосуешь.

— И проголосую!

— Ты же будешь заведующим, вот и голосуешь.

— Про то бабушка надвое сказала, утвердит ли обком,— Витя несолидно поерзал на стуле, заглянул в глаза

Лопатину с надеждой — он заискивал, потому что очень хотел стать заведующим.

«Много ли человеку требуется для счастья!»

— Утвердят, куда денутся, ты у нас мужик способный.

— Куда денутся! — эхом отозвался Цыбин и взялся за бутылку. В стакан, шипя и пенясь, потекла минеральная, Цыбин едва заметно подмигнул Лопатину круглым глазом, лицо его при этом не изменило выражения солидности.

Витя Доронин оживился и потеплел.

— Насчет старика ты не переживай, ему приличную пенсию хлопочут, на хлеб и на масло будет.

— Причем тут пенсия! Он к тебе не заглядывал?

— Пока не видать.

— Ну, лады. Хлебайте свою воду.

— Курить, значит, не бросаешь? Нет? Нам тебя жалко.

— Я пошел. Вы скучные.

— Нам некогда скучать. Мы вкалываем. А ты вот не с того начинаешь. Ты к нам пренебрежения полон.

— К кому это к вам?

— Ну хотя бы к нам с Цыбиным. А мы тоже, между прочим, высшее образование имеем и тоже, поди, не лаптем щи хлебаем.

— Причем тут образование?

— Ты же гордишься своим образованием?

— Ничуть! С чего это вы взяли?

— Цыбина отчитал принародно за то, что он плохие фельетоны пишет.

— Фельетоны и на самом деле плохие. Я о другом говорил. Виталий Васильевич — хваткий газетчик, но это вовсе не дает ему право расправляться с людьми ради красного словца и ради собственного честолюбия. Печатное слово — оружие страшное.

— А ты Кротова разнес ради истины?

— Да. Я считал, что я прав.

— А прав ли на самом деле?

— Не совсем.



— Вот видишь! — напирал Виктор Ильич. Он отставил стакан с водой и навалился локтями на стол. — Не совсем. И Цыбин может ошибиться. Может?

— Нет. Он не ошибается. Он уверен, что прав. Так ведь, Виталий Васильевич?

— Я не намерен перед тобой отчитываться, ты еще сопляк! — ответил Цыбин подчеркнуто спокойно.

— Пойду я, — сказал Лопатин, — пойду.

— Иди себе. Иди, мальчик.

Мысли плыли, как бумажные кораблики, плыли мимо и не задерживались в сознании. Лопатин сел за свой стол и уставился на ворох бумаг, услужливо подброшенных Любочкой. Письма трудящихся. Теперь читатель зашевелился, ведь горячая пора миновала — хлеб в закромах, силос в ямах, зябь пашется... Что там еще? Да, растут надон. Редакторша Серафима Никитична снабжает газету передовицами, они, как уже принято, полны общих мест и цитат из постановлений, где указывается, чем должны на данном этапе заниматься совхозы и сельхозартели. На первой полосе косяком подавались сводки о вывозе органических удобрений, заготовке кондиционных семян и прочие показатели.

Последние две недели Гурий Лопатин налаживался в командировку, чтобы подзаправиться материалом.

В районе, прознал Лопатин, есть промысловая таежная артель «Труженик» (основной промысел — мед), управляется она областной кооперацией, но числится за районом, и сам Маслов там не был ни разу! Добраться до «Труженика», особенно зимой и осенью, — проблема из проблем: ночь надо ехать поездом до приисков и на месте договариваться с геологами или вертолетчиками. Подбросят по случаю и с оказией, значит, повезло, не подбросят — заворачивай оглобли. Были такие попытки — съездить туда — и ничем они не кончились. Лопатин грезил этой команди-

ровкой, ему рисовался мрачноватый кержацкий уклад: огнебородые старики, волоокие молодичи в черных платках, скиты, роковая любовь, мятежные песни старины и все такое прочее. Весь этот антураж был, понятно, навеян литературой, но что-то и должно оставаться, живы какие-то отголоски, наверно, и поныне?

Серафима Никитична отпустить Лопатина согласилась: она не против, пожалуйста, но вот как другие? Как Маслов или Василий Чалый? Вася же поднялся на дыбы:

— Кто же будет освещать праздник Урожая?

— Цыбин будет освещать, он разворотливый и все понимает — музыку, кино, драму, комедию, трагедию. Что хочешь понимает — он такой!

— Ты Цыбина мне не тычь, имею представление, кто он такой! — кричал Чалый и, уставши однажды от пустопорожних этих споров, положил на плечо Лопатину руку и попросил, наконец-то по-человечески:

— Не езд, погоди!

Лопатин впервые видел его таким нежным и, чувствуя, как нарастает возле сердца теплая волна участия, смешался:

— Что с тобой?

— Ни разу ведь у нас не было такого праздника. Ни разу!

— Остаюсь.

— Потом вместе съездим. Со мной не пропадешь.

— Конечно, ты же большой начальник.

Лопатин, к стыду своему, поймал себя на том, что ему нравится, когда его уламывают, что он полон, оказывается, мелкого тщеславия.

Насчет праздника Вася и верно постарался. Выше головы только и не прыгнул, фантазия его не знала предела. Он, святая простота, отослал приглашения даже столичным артистам. Писал приглашения сам, избегая досужего любобопытства, и в таком духе: «Уважаемый имярек! Мы живем далеко от центра, сеем и собираем хлеб!» Далее сле-

довали данные неуклонного роста урожайности зерновых и зернобобовых на полях района за последние годы. «Несмотря на неблагоприятные погодные условия нынешнего лета,— повествовал Вася,— труженики села справились со взятыми обязательствами, и по такому случаю намечено устроить большие празднества. Мы будем счастливы, если Вы порадуете нас своим искрометным талантом. Командировочные гарантируем. Секретарь Березовского РК ВЛКСМ В. Чалый».

Особо же хотелось Васе иметь на районных подмостках самого Райкина и уж на крайность Тарапуньку со Штепселем («тоже ничего ребята»). Лопатин, вызванный на тайный совет, дипломатично ускользнул от прямой оценки инициативы секретаря, и абстрактно покритиковал ни с того ни с сего нашу извечную приверженность штампу.

Вася, играя атаманскими бровями, потребовал держаться существа вопроса, он вообще не терпел витийствований по поводу и без повода, крестьянская его натура не умела воспарять к духу, он был рационален, как троп. Взгляд Лопатина в этот момент упал на стопку грамот, еще не заполненных, но уже с печатями. Конкретно? Пожалуйста, конкретно тебе!

— Что за грамоты?

— Передовикам уборки.

— И будет на них поставлено: Иванову Ивану Ивановичу за ударный труд, так?

— Как же еще-то?

— Почему бы не так, например: «Дорогой Иван! Ты был первым, ты не жалел себя и работал за троих. Спасибо тебе за то от комсомола, от всех людей, которым ты дал хлеб!» Две строчки, допустим, но теплых, от сердца, понимаешь! Совсем ведь другой колер, верно?

Васе мысль понравилась, они, не сходя, что называется, с места, заполнили на машинке пять грамот. Лопатин сочинял текст, все больше зажигаясь, Чалый, же, напротив, остывал, копя сомнения, и тихонько подался на второй

этаж к Маслову за советом («Я сейчас») и, возвратясь, сказал, что их самодеятельность жестоко осмеяна, зарублена на корню: официальный документ есть документ и форма есть форма. Пусть литсотрудник Лопатин тотчас же очистит помещение и не лезет вперед с глупостями в солидную организацию.

— Вот тебе и консерватизм в его натуральном виде!

— Ступай отсюда! С тобой того и гляди влипнешь в историю. Несерьезный ты человек.

— Странно ты говоришь. У каждого — своя мера ответственности.

— Ступай, ступай!

— Ты бы хоть повежливей. Больше не приду, учти.

— Очисти помещение!

— А с артистами у тебя ничего не получится, — сказал Лопатин уже с порожка, — над тобой обидно посмеются — не перевелись, дескать, еще деревенские простаки. Райкина ему подавай! Смешно.

— По шее дать?

— Деревня, деревня, деревня!

— Сам дурак, сам дурак, сам дурак!

Машинистка Любочка сметала мусор между оконными рамами, на стол Лопатина упала и покатилась божья коровка, он подержал ее близко к глазам, сухую, неинтересную, и сдул на пол, вспомнив, что так и не вызнал, просыпаются ли божьи коровки к теплу?

— Любочка! — он придал своему голосу игривую окраску. — Вот божьи коровки. Они умирают совсем или только на зиму? Ты должна из зоологии помнить.

Любочка на момент замерла у окна, прижимая к груди тряпку, выпятила губы, отдающие алюминиевым блеском

помады новейшего образца, рижской помады, и фыркнула.

— Я серьезно!

Любочка вышла вон, обдав Лопатина холодом. Он озлился и подбирал про себя самые сразительные выражения, чтобы встретить машинистку надлежащим образом. Терпению — конец! Лопатин все глубже погружался в амбицию, сопел и, прикуривая, ломал спички. Не обрадовал его и Чалый, который припожаловал мириться, улыбочивый и румяный с улицы. После истории с грамотами и раздора по этому поводу они не виделись больше недели.

— Мы не здоровались сегодня? — Чалый сел вольно, вытянув ноги. Подковки на его сапогах блестели и сверкали, как осколки зеркала.

— Мы давно не здоровались.

— Дуешься?

— Я тебя не уважаю.

— Сейчас зауважаешь!

— Когда?

— Сей же минут, — Вася достал из кармана блокнот, раскрыл его и сунул Лопатину почтовый перевод. — С тебя полагается.

Перевод был из областной газеты — гонорар за корреспонденцию из колхоза «Красный пахарь».

— Деньги гребешь пудами. Серафима, хочешь новый анекдот?

Серафима Никитична отозвалась из своей комнаты неопределенно, стесняясь Лопатина, а Гурий не то чтобы ревновал ее, он считал ее слишком хрупкой и чистой для всякого рода вольностей невысокого полета, даже откровенно невзлюбил ее мужа за вульгарную физиономию с вульгарным красным носом. Она, верил Лопатин, лишь подчиняется обстоятельствам по врожденной своей деликатности и пошлости переносит мучительно.

— Где взял перевод?

Вася уже завелся и остановить его не представлялось возможным.

— Вникай, Серафима!

— Она не будет вникать!

Вася все-таки рассказал о молодом мужчине, жена которого уехала на курорт.

Серафима Никитична засмеялась в горсточку. Она смеется, точно девочка, пунцовая до самых ушей.

— Интересный анекдот, правда? Слышь, Серафима, я у тебя Лопатина заберу, поможет кое в чем.

— Хорошо,— слабо отозвалась редакторша.

— Айда, Гурьян. Ша-го-м марш!

— Вещь я тебе, что ли! Он, видите ли, меня забирает. Не пойду и все! Куда идти-то?

— По дороге растолкую. Одевайся как следует, на дворе ветрено. Ночью снег повалит, костями чувствую.

— Где перевод взял?

— С почтальоншей в дверях столкнулся. Ей на второй этаж подниматься было неохота.

Земля на обочине гудела под ногами, как пустая. Ветер то затухал, истомленный, то вырывался из ниоткуда, тонко повизгивал, давил в грудь, сек лицо. На пустыре вскипала пыль, тащилась вдоль улицы, как подол сарафана, билась о дома и растворялась на черном асфальте. Небо было плоское, серое, лишь впереди и далеко, над тайгой и горами, клубами завязывались тучи. Печально качались деревья, скрипела калитка, над жерлом кирпичной трубы выгибался, рассыпаясь, дым котельной.

Вася потянул Лопатина к почте.

На почте было тихо и нелюдно. У стола посередине зала сутулый дед в очках сколачивал ящик для посылки и веером держал в губах гвозди. Блондинка за стойкой, подперев щеку кулачком, упивалась затрепанным детективом и оторвалась от его страниц без желания, как посередине сна. Вася поздоровался с ней весьма фамильярно и заявил,

что они торопятся и их день расписан буквально по минутам.

Из почты Вася взял азимут на ближайший гастроном, в толчее у кассы сунул Лопатину червонец, сказавши, что это в данный момент все его ресурсы. Лопатин червонец отверг и сердито спросил:

— Что брать?

— Выпить. И закуску. Потоньше закуску.

— Куда премся-то?

— К Савостьянову. Потом закрутимся, не до того будет.

— Завидую я тебе!

— С какого же боку завидуешь?

— Память у тебя крепкая.

— Не жалуюсь покудова на память.

Не о том и не так хотел сказать Лопатин, он досадовал на себя потому, что тоже давно собирался как-то поддержать старого Кузьму, искал ненавязчивую форму сочувствия, подавленный сомнениями о том, что прилично и неприлично. Лопатин боялся сфальшивить, или, не дай бог, показаться навязчивым. А все в сущности-то проще простого: купил пол-литра и стучи в дверь — вот и я! Как живете-можете? Вася Чалый не ищет проблем там, где их нет, у Васи Чалого другая закваска.

— Вставай в очередь, я осмотрюсь, прикину.

— Возьми червонец, оскорбляешь ты меня, честное слово!

— Обойдусь.

— Богатый стал, да?

— Не впервой, поди, еще заработаем.

— Дуракам везет.

— Оно так, дуракам только и везет.

Купили они для шика бутылку коньяка и прочий приклад: лимоны, сыр, колбасы, селедку и даже банку то-

матного сока,— и, обвешанные снедью, неаккуратно потолстевшие от покупок, растолканных по карманам, двинули назад, в сторону райкома.

Розовый дом Савостьянова начинал улицу. Во дворе за низким штакетником был устроен парк с грибками, песочницами, качелями и эстрадкой. Был в скверике и типовой пионер, стоял он, уперев левую руку в поясицу, голову держал высоко и несколько надменно.

Дорога, огибая двор изнутри, кончалась у бугра, истыканного уже пустыми будылинами полыни. За бугром строители тянули забор, над забором, отвалив челюсть, висел ковш экскаватора.

Дворник в сером переднике и солдатской фуражке мел дорогу. Вася Чалый показал кулаком на гору мусора у подъезда, состоящую из кожаной обрести, потрошенных кукол, старых валенок и наступил на метлу, которую неприткно гонял дворник в солдатской фуражке.

— Почему это дерьмо не убирается, хозяин?

Дворник, уставший от одиночества и никчемной работы, остановился, наваливаясь на черенок метлы, рукавом фуфайки убрал с глаз слезу, набитую ветром, и хоть вопрос посчитал глупым, заданный к тому же посторонним человеком, не осерчал:

— Дак ить артель, товарищи! Вывозить не успевают. Жильцы и в газету писали, не помогает.

— Мало писали!

— Всяко писали, нету толку.

Гурий Лопатин невзлюбил Васину манеру разводить турусы на колесах с первым встречным. Вася, кажется, не умел торопиться, и был любопытен, как баба.

— Пойдем, некогда же!

Дворник отпустил их без охоты и долго стоял в обнимку с метлой, все надеясь, что они обернутся, обронят слово, и тогда он сокровенно поделится своими печальями, скажет, что вообще-то он слесарь и на прежней службе начальство его ценило, к праздникам он награждался цен-



ными подарками от лица профсоюзов и общественности. Парни не обернулись, и дворник шажками ступил за ними, поводя метлой из принципа и согласно распорядку.

Дверь им открыл сам Кузьма.

Вася, стягивая пальто в коридорчике, чиркнул Лопатина кулаком по скуле, Лопатин отпрянул назад, где было еще темней, и сел на бочку, прикрытую дерюжиной. Старик догадался включить лампочку. Он бурно выражал чувства и мешал раздеваться.

Прихорашиваясь перед зеркалом, Вася сказал:

— Опять нализался наш литератор. Вставай, на капусте сидишь!

— Так и есть — на капусте сидит! — заволновался Кузьма, — вставай, пальто испортишь, чтоб ты знал!

— Посижу, здесь удобно.

— Разве чайку крепкого заварить, оклемаешься? Сильно пьяный-то?

— Неужели вы ему верите, он лжет, Кузьма Кузьмич! Он нагло лжет!

— И действительно. Ты, Вася, не шути так, меня будто кипятком окатило, хулиган ты чистый! Зачем ему напиваться, с какой стати? Не имеет он такого права, ему трезвая голова нужна. Проходите, гостеньки дорогие! У меня уже есть человек. Хороший человек. Прошу.

Коридорчик вел в комнату со столом посередине и шелковым абажуром над ним в форме корзины. Стол был заставлен снедью. В алюминиевой кастрюле, обернутой полотенцем, кудряво дымилась картошка, в графине, отражающем солнце, горела бордовая жидкость, тяжелая и густая даже на вид. На углу стола, навалился на него локтем, сидел пожилой мужчина, абсолютно лысый, большой и хмурый. Смотрел он не мигая и будто хотел, чтобы

Вася Чалый и Гурий Лопатин тотчас же сделались лучше, чем они есть, или такими, каких уважает он.

Старый Кузьма показал, куда садиться, и ушел на кухню, оттуда крикнул еще раз, что он рад их видеть.

Вася выставил бутылки, сверток с закуской унес Кузьме и задержался около него помогать.

Гурий кивнул лысому товарищу, готовый поддержать обязательный в таких случаях разговор о погоде, лысый же, оставаясь по-прежнему сумеречным, полез рукой в карман пиджака, который висел за ним на спинке стула, достал резиновый кисет, куцую трубку, и, набивши ее табаком, пустил из ноздрей синий дым. Лопатин, поерзавши от неловкости, встал и принялся разглядывать фотографии в рамках и без рамок. Здесь был всякий люд: старый, молодой, вовсе бесштаный, военный и штатский, важный и легкомысленный. Целая галерея, род Савостьяновых, несколько поколений от первой империалистической до второй мировой и наших дней. Сразу вспомнил Лопатин свою бабушку Аксинью, уже покойную. Вспомнил, как она принимала на кухне старух в цыганских платках и доставала им из тумбочки альбом с вензелями на обложке и толстыми ангелами, разламывала его на коленях, клонясь головой, очки ее при этом скашивались на самый кончик горбатого носа. Вещала она протяжно, с расстановкой, покачиваясь, словно от боли, и закрывала глаза. Младший брат бабушки Аксиньи, штабс-капитан, снятый во всю статью от пят до помаженной макушки, «застрелился от любви», старшего брата, врача по специальности, сразу после революции убили бандиты.

Мальчишкой Гурий любил эти вечера с чаем в невесомых чашечках китайского фарфора. Любил слушать распевную речь бабушки Аксиньи, и перед ним открывалась забытая, непонятная жизнь. Он воспринимал все это как сказку без начала и конца, гордясь тем, что внешностью и характером повторил деда Петра, того самого, что за-

стрелился в висок, не стерпев злой и коварной измены. Сердце Гурия наполнялось при том жутковатой сладостью.

Лысый подбрасывал на ладони бутылку «Плиски», не нашенской формы, пузатую, и вроде приноравливался, как ловчее ухватить ее и бросить за окно, подальше.

«Странная личность...»

Вася Чалый расталкивал на столе тарелки. В одной покоилась селедка в колечках лука, приправленная уксусом, она блестела, будто смазанная лаком, в другой тарелке был сыр, в третьей — соленые помидоры, в четвертой огурцы...

— Счас яишню сообразим! — крикнул из кухни хозяин. — Лукерья моей нет, в сад с внуком уехала, один я шурую. Пантелей, ты с ребятами-то обзнакомился? Хорошие ребята, наши, райкомовские. И не дуйся, по заслугам получил, по заслугам!

Лысый поднялся, бросил в пепельницу трубочку и протянул Гурию руку. Ладонь его была мясистая, горячая и неохватная.

— Курочкин, — отрекомендовался он и сел, подпернув на коленях брюки, затянулся трубочкой. Затяжка сопровождалась бульканьем и одышным хрипом.

«Черт похлебку варит!»

— Старая у вас трубочка, да?

— Карельская береза. Сам делал, и цены ей нет.

«Если сам делал — конечно. Мне ее так и даром не надо».

— Табак где достаете? У нас ведь нет хороших.

— В Москве беру. «Капитанский» или же «Золотое руно». Имею такую возможность.

— Тогда конечно...

Кузьма топтался возле стола со сковородкой, в которой шкворчало и постреливало. Места, куда ее пристроить, не нашел, и застыл, глядя в потолок — растерялся. Вася притащил фанерку, и сковородку они вдвоем, сутулясь, будто волокли рояль, водрузили на подоконник.

— Салом стекло забрызгаете — не отмоешь, — заворчал лысый Курочкин, — мужики и есть мужики.

— Не беда! — отмахнулся Кузьма и сел, ударив себя кулаком по тощему колену, потер руки, придвинулся вместе со стулом поближе, расковырял на бутылках пробки. — Кому чего? Испробуйте моей наливки — рекомендую. На алтайской рябине настоена, отличная вещь!

— Слабая она, — сказал лысый, — мне водки наливай. И в стакан.

— Неградусная, верно, но полезная. Ты, Пантелей, здоровый, тебе можно и водку пить. Стакан так стакан. Полный? Грамм полтораста? Хорошо, и не дуйся, отчитал я тебя сегодня по делу. У нас, понимаешь, какая привычка нажилась? Мы за столом веселиться так совсем отвыкли. Как попадет нам за воротник, обязательно начинаем лаять порядки и наливать друг друга тоской на манер сообщающихся сосудов. Игорь, внук мой, сейчас по физике проходит эти самые сосуды. — Кузьма потрогал Лопатина за локоть, ласково и близко заглянул ему в самые глаза. — Пантелея возьми. Я для него — что поп, а он — весь мой приход на сегодняшний день. Припожалует в мой дом и сразу начинает тоску свою изливать, злость выплескивать. И заметьте: он всегда прав. Он виноватым не бывает. А кто же мой груз на себя примет безвозмездно? Я тоже не свидетель, тоже много головой поворочал и сердцем пережил. И мне кое-что не нравится, так почему же я должен тебя только слушать, советовать, да сочувствовать?

— Ты старше и сильнее, Кузьма.

— Она еще как — сильнее! Кто же мою силу мерил? Я всегда рад тебе, но ты хоть единожды на веку поинтересовался, какие дела у меня? Ты же умный парень, так почему же до такой простоты не додумался? Я ведь тоже человек!

— Прости, Кузьма. Привык как-то.

— Недушевный ты, Пантелей. Золотой ты работник, а на фабрике, уверен, тебя не любят.

— Зачем мне их любовь?

— Тебе незачем, верно. Этих ребят возьми.— Кузьма показал рукой сперва на Васю, потом на Гурия,— они меня вслух жалеть не будут, они здесь потому, что мне тяжело. Чем он недоволен? — Кузьма также показал на лысого,— он — директор мебельной фабрики. На выставке его столовый гарнитур занял третье место, впереди оказались Москва и Ленинград. Несправедливо. Его гарнитур лучше. Конечно, лучше. Верю; лучше, верю — обидели твой коллектив. Еще ведь непривычно, когда провинция вперед лезет. Долго еще будет непривычно, всегда, чтоб ты знал!

Гурий выпил рюмку коньяка, налитую Кузьмой, и, прислушиваясь к блаженному теплу, что разливалось по телу, зацепил вилкой помидор и пока нес его, покропил скатерть сукровичной жижей и желтыми семечками.

— Ты ложкой действуй,— Кузьма Кузьмич положил на тарелку Лопатина еще два помидора,— хватит?

— Хватит, спасибо.

— Как на вкус?

— Отличная еда, спасибо!

— Свои, болгарский сорт. Как называется, убей не скажу. Лукерья, она по этой части академик. Я тебе трехлитровую баночку спроворю, в общежитие возьмешь.

— Неудобно, Кузьма Кузьмич!

— Пойми, чудак, раньше семья была. И нет семьи. Игорь, внук, временно с нами, к зиме родители приедут и заберут парнишку.

— Они где?

— В Индии. Он инженер по электрической части, она английский преподает. Хорошие ребята.

— Он в войну пятерых сирот брал на содержание.

— Ты, Пантелей, выражаешься как-то не так! Что значит «на содержание»? Дети они мои. И Лукерья, конечно.

— И своих двое было.

— Своих, Пантелей, не считай, они тогда уже на ногах стояли. Гриша в институте учился. Лиза школу кончала.

- Так уж и стояли!
- Почти что.
- Вот именно — почти что!
- Неважно.

Гурий Лопатин с любопытством наблюдал за Васей Чалым. Ел Вася много и вместе с тем как-то деликатно. Так едят, наверно, в больших крестьянских семьях. Кузьма налил еще по одной, гостям покрепче, себе — домашнего зелья из графина («она неградусная и полезная»); выпили без тоста, лысый пробормотал «будем», лихо опрокинул стакан и припечатал рот кулаком, багровея. Налег на закуску. Кузьма принес бумажные салфетки, выдал каждому по штуке. Впалые его щеки, тронутые хмельным румянцем, молодили его, он был лихорадочно подвижен, суетен и напоминал птицу, занявшую чужой сук ради чистого озорства.

Гурий проникался к старому Кузьме уважением, несмотря на разного рода байки Вити Доронина, услышанные в разное время. Однажды Витя изложил, например, такой факт: Савостьянов, будучи по натуре скрягой, в войну брал от военкомата на выучку овчарок, получал за них дополнительные продуктовые талоны, собаки же регулярно дохли от голода, зато старик был сыт.

Гурий потянул Кузьму за рубаху, распузыренную на спине:

— Вы собаку когда-нибудь имели, овчарку?

Старик обшарил рубаху у пояса, заправил ее в штаны и повернул к Лопатину голову, изобразив на лице вежливый интерес.

— О чем ты?

— Собака у вас когда-нибудь была? Овчарка?

— Нет. Это сейчас квартиру имею, она малометражная, правда, так вдвоем-то нам хоть в чехарду играй, раньше с соседями мыкались. Нас девятеро, да соседей пятеро. Коммуна! Ты почто про собак заговорил?

— Да так...

— Сроду не держал.

Витя Доронин упоминал еще про табуретки. Кузьма якобы потоком ладил кривые табуретки и менял их на картошку у колхозников. Доходный был промысел.

— Вы столяр?

— Балуюсь. В подвале у меня уголок выделен и полный набор инструмента имеется. Отец, мой, Кузьма Тихонович, талантливо работал. Ремеслом семью кормил, я же балуюсь. Всю войну отцовская справа в ящике пролежала, некогда было строгать и клеить, сам понимаешь.

Витя Доронин трепался, что Савостьянов имел привычку отпускать домашним харч на день по норме, по калориям, и основные запасы держал в райкомовском шкафу, и потому в его кабинете водились крысы. Зачем Доронин так жестоко врет? И отчего мы не несем никакой ответственности за свои слова?

— Я вас покидаю, товарищи! — лысый поднял свое тело, напоминающее туго набитый куль, постоял, дожидаясь уговоров остаться и не рушить компанию, не дождался и сел, пощипавши на коленях брюки. Кузьма, хозяин, никак не откликнулся на его попытку привлечь внимание к своей особе. Кузьма вспоминал для Васи Чалого:

...— Вечером стучат. Я только из командировки вернулся, посылали «пробивать» сено для армии. Колхозники в те поры все отдавали. Да.

— Так я пойду, Кузьма!

— Замри, Пантелей, не мешай!

— Ладно. Замру.

— Сорок второй, заметь, самая тяжесть. Пятеро, чтоб ты знал — три девочки, два мальчика. Голодные, сразу видать. Я к порожку будто и примерз. «Поддай, дяденька, родненький, на пропитание Христа ради и чего можешь, хоть луковку на крайность или сухарик черный. Детдомовские мы, эвакуированные». Впустил их, ночевать оставил, в детдом дозвонился — у меня ваши ребята, не теряйте, утром разберемся. Лукерья с работы подоспела, обиходи-

ла их, искупала. Ночь с ней судили-рядили, как же быть-то? Двух братьев и трех сестер случай нам преподнес. Как же их разобьешь? Оформили заявление — всех берем. Комиссии нас обследовали — сможем ли пятерых-то кормить, своих ведь двое, а? Сказал: могу! При земле состоим, одежкой, пожалуйста, помогайте когда. Мы огород возьмем, земли в Сибири много. Пацаны наши уже и плачут: не отдавай нас, дед, мы послушные! — согнутым пальцем Кузьма вытер слезу, не смущаясь слабости, крикнул и махнул рукой. — Гриша, старший мой, студентом был, на фронт добровольцем выпросился и не вернулся. Младшая Лиза после войны консерваторию кончила, в Новосибирске поет. Муж у нее — офицер. Живут не скажу что плохо. Приемыши тоже разлетелись, как птенцы из гнезда. Все люди полезные обществу. Пишут, в гости наезжают. Не жалуемся.

— Игорь, он чей? — спросил Вася Чалый.

— Клавдии, приемной.

— Бойкий мальчишка?

— Дальше некуда. Но — ласковый.

— Так я пойду, Кузьма?

— Сиди, Пантелей, чего заезжился-то! Лукерья должна вот-вот приехать, она тебя давно не видела, обидится, старуха, когда скажу — был да ушел. Ты, Лопатин, слышать, в тайгу ехать собрался, на пасеки будто. Так?

— Собираюсь, верно.

— Интерес, конечно, есть.

— Вы советуете?

— Я в те места лет этак двадцать пять-тридцать назад забирался. Пантелей вон оттудова, Кузьма — встрепенулся родом.

— Не совсем оттудова, Кузьма! — встрепенулся лысый, — не совсем.

— Велика ли разница?

— Почти никакой.

— То-то. Ты не дуйся, Пантелей, как мышь на крупу.

— Я и не дуюсь!



— Никто за тобой не ухаживает, привык, понимаешь, куражиться, в президиумах за красным сукном заседать, язви ты! Забыл, поди-ка, серость свою молодую?

— Ничуть даже и не забыл!

Старый Кузьма посмеялся дробным негромким смехом и закурил папиросу.

— Я секретарем комсомола был тогда, как сейчас Вася Чалый. Ночью однажды занимаюсь себе бумагами, слышу, по коридору сапожищи бухают. Пантелей вваливается, шапку наотмашь, рыжей бороденкой зарос и свирепости полный. Где, мол, партийный билет сдать, кому туточка сдают?

— Пойду, Кузьма!

— И ступай! Надоел, честное благородное слово.

Лысый, не торопясь, облачился в пиджак, прочистил трубочку спичкой, выбил табачное крошево в пепельницу и покинул комнату, источая оскорбленное достоинство. В коридоре лысый Курочкин еще повозился, ругаясь вполголоса, наконец, щелкнул замок, из подъезда четко донесся, постепенно ступевываясь, звук его шагов.

— Слава богу!

— Не обиделся?

— Обиделся. Он до вас бутылку выдул. Завтра извиняться прибежит. Смолоду такой. И не переделывается.

— Характер.

— Дурь, какой там характер!

— И дальше?

— Да. Где партийный билет сдать? В чем проблема, товарищ? Комсомольцы, докладывает, меня из партии исключили. Как же так? Пантелей тогда сельсоветом державил, один партиец на всю округу, комсомол же при колхозе уже ячейку имел, четыре хлопца да деваха. В страду Пантелей возьми и загуляй у вдовицы молодой. Комсомол и призвал его на суд. Исключить! Принято единогласно. Вот и привез человек билет в райком комсомола — по назначению. И смех, и грех!

— Так и надо!— сказал Чалый угрюмо.

— Порядок есть порядок, Васята,— рассудительно придержал Чалого старый Кузьма,— всякому горшку— свой шесток. Вынесли мы тогда на бюро райкома партии строгача Пантелею— за моральное разложение в страдную пору и за незнание Устава. Он наизусть Устав выучил, как Отче наш. Строго учили, брат ты мой! О, как строго!

— Зато справедливо.

— И очень даже не всегда! Ежели человек малость выпирал за рамки наших понятий и установок сверху, мы рубили ему голову с плеч и не сомневались в правоте своей. А сомневаться надобно. И кому чаще попадало? Инициативному. Вот ведь во что бескультурье наше выливалось. Пролетарскому чутью грамота и тогда не помешала бы. Всегда талантливым и смелым живется не в пример сложнее, чем глупым и трусливым.

Гурий откатил помидорину на край тарелки, положил вилку на стол и опять потянул старого Кузьму за рубашку:

— Хочу спросить вас.

— Спрашивай.

— Как вы считаете, кто больше прав был на бюро, да и не только на бюро. Кто больше прав— вы или Маслов?

— Нда-а. Под ребро ты меня ковырнул, Гурия. Вопрос задан прямо, и отвечать на него надо честно, так полагаю?

— Только честно. Или не отвечать вовсе.

— Отвечу. У меня теперь свободного времени-то уйма, все думы думаю... Перво-наперво скажу: Никифор, он умней меня, тоньше Никифор-то. А я к чему привык? Я к тому привык, что слушал меня раньше Никифор беспрекословно. Лет двадцать назад тому. Потом Никифора от нас забрали— сперва учился он, потом заместителем председателя облисполкома был. Высоко забрался. Я к нему с прежними мерками, а он не тот уже, не мальчик, да и видел больше моего, не все слушает, что советую. Обидно мне. И второе: он прав— старомоден я, напрямки иду, правду-матку режу, компромиссов не терплю. А люди ус-

тали от громовержцев вроде меня, люди выросли, у каждого — собственное достоинство да и образование. Не любят нынче, когда горлом берут и прописные истины без всякого чуру повторяют. Ты вот заметь, мы любой доклад или выступление начинаем чуть ли не с пушек «Авроры». А зачем? Все про пушки «Авроры» знают. Повторять истины без чуру — значит, по-моему, не уважать народ. Это я между прочим, не туда полез. А коротко... Коротко так будет: Кузьма Кузьмич Савостьянов потерпел крах. Мне тяжело признавать это, но от тебя, Гурьян, я не скрыл истины. Больно мне, а что поделаешь?

— Как самочувствие, Кузьма Кузьмич? — осведомился Вася.

— Скоро уж и на погост.

— На погост оно и рано еще.

— Оно всегда рано, хорошие мои, так ведь звонки звонят.

— Не туда вас понесло, мужики, — осуждающе сказал Вася Чалый, — вы бы закусывали, я один яичню смял. Неприлично даже получается.

— Ешь на здоровье, Васята. Ешь.

Из окна была видна крыша сельского райкома с гербом на фронтоне, чуть поддурмяненная закатным солнцем. Ветер теребил над крышей красный флаг, мотал его, как огонек свечи.

Дом старого Кузьмы они покинули уже в темноте.

Кузьма всучил Лопатину, как и обещал, трехлитровую банку помидоров («Не возьмешь — обидишь»). Банку затолкали в сетку, сетка вытянулась, билась об ноги. Вася отобрал у Лопатина неудобную ношу, поминая всех чертей и осуждая моду пить без закуски. Он, однако, ворчал напрасно — Гурий Лопатин не охмелел, он был просто рассеян, полон высоких и грустных мыслей, навеянных разговором со стариком.

— Ты не находишь, Вася, что с Кузьмой мы потеряли неизмеримо больше, чем просто труженика на ниве и так далее? Ты не находишь, Вася, что за спиной Кузьмы осталось целое явление, эпоха?

Они задержались у столба, выгнутого наверху лебединой шеей, которую венчал плоский фонарь. Свет фонаря был далек и трепетно бледен, как свет белых ночей.

— С Кузьмой мы потеряли детство,— сказал Вася и осторожно поставил банку с помидорами на асфальт.

— Детство? Не совсем мне ясно...

— Сердитое наше детство.

Лопатин прислонился к холодному шершавому столбу и вытащил из кармана сигареты.

— Закурим?

— Закурим. Ты голова, молодец! Детство. И оно невозвратно, сердитое наше детство?

— Оно невозвратно.

— Хорошо это или плохо?... Так закурим?

Вдруг поднялась настоящая пурга со стоном и тягучим подвывом. Повалил сухой и быстрый снег, он вихрился вокруг деревьев, оседал пеной, стлался по шоссе, бежал, приплясывая, как тополиный пух.

— Вчера,— кричал Вася,— является ко мне Степка Завьялов, председатель спортобщества «Урожай». Увольняюсь, говорит, работу в городе нашел. Кого же вместо себя наметил? А Соловьева Михаила. Есть такой у нас, шофер, мастер спорта по городкам, дубина и пивное брюхо. Я— Завьялову: смеешься, что ли? Он мне: умный заменит— меня худым словом будут поминать, дурак кресло займет— смотришь, и мои акции подскочат,— зря отпустили.

— Ловко! А знаешь, Вася, пойдем ко мне— душа просит душевного разговора. Пойдем?

Вася посмотрел на часы и ответил, что в общем-то не возражает, если ненадолго.

...Лопатин, сидя на кровати в общежитии, говорил, что ему с самого начала повезло на интересных людей.

— Ты заметь, всяк свою позицию ищет: Гудимов ищет, Кузьма искал, Цыбин... Правда, Цыбин нашел свою истину раз и навсегда, в том, между прочим, и слабость его. Но каждый, заметь, по-своему яростен и колоритен. Однако лучше всех мне нравится Маслов.

— Чем же он тебе нравится?

— Мы в большинстве своем предъявляем обществу претензии с точки зрения своих понятий о жизни, о правде, добре и справедливости. Мы требуем, а Маслов,— он действует, понимаешь? И еще. Он гибок и старается понять ближнего своего.

— Не всегда, Гурьяша!

— Пусть не всегда, он же — только человек, с вытекающими отсюда последствиями.

— Согласен.

— Я зарубил на носу своем две истины.

— Первая?

— Первая: действие — выше слов.

— Вторая?

— И вторая: мое понятие о жизни — не абсолют. Я приказал себе отныне и вовек: не торопись отрицать и судить.

— Негусто...

— А зачем — густо? Не надо густо. Этого вполне достаточно пока.

— И потом — старо все это.

— Все истины стары, но они тогда становятся руководством к действию, когда их сам постигаешь, вот ведь как, Вася!

Лопатин ту ночь почти не спал. Это была, пожалуй, его первая бессонная ночь. Он ворочался и вздыхал, размышляя. Ему не хотелось кончать жизнь, как кончает ее старый Кузьма: «Я потерпел крах». Неверно сказано. Старик, надо отметить, немного кокет-

ничал, но и была в его словах настоящая горечь... Гурья Лопатина утешала собственная молодость, и он считал настоящим счастьем, что начинает жизнь с поучительных уроков и в обстановке незаурядной. Он не мог предполагать в ту ночь, что отработает в районной газете еще два года, не самых бездарных в биографии, и уйдет потом со спокойной совестью, уйдет, когда станет совершенно очевидно, что повторяться не имеет смысла. И долго, всегда, он будет вспоминать то незабвенное бабье лето...

В ту ночь не спал и Семен Гудимов.

Гудимов писал балладу о хлебе. И баллада не сочинялась, потому что фабула ее была слишком проста: на дороге у болотца кто-то обронил буханку хлеба, испеченного в колхозной пекарне. По дороге возили от комбайнов зерно, и ни один грузовик не раздавил буханку. Машины проложили по мокрой траве новый путь, хлеб лежал два дня, потом его взял кто-то и унес. Гудимов по справедливости усмотрел в этом факте тему, но факт не давал строчек, он молчал, как амбарный замок, Гудимов бросил ручку и прислонился щекой к теплой бумаге; он терзался, познавая, что о добре писать сложнее, чем о зле.

Жена Гудимова, Мария, красовалась в горнице у зеркала. Она мысленно выходила на сцену в шали с кистями, чтобы петь старинную песню, отобранную комиссией в репертуар праздника Урожая.

Утром выкатилось теплое солнце и растопило снег;  
Первый снег той осени.

г. Новокузнецк, 1977—1978 гг.

## НЕМНОГО ОБ АВТОРЕ И ЕГО КНИГАХ

Впервые с прозаиком Геннадием Емельяновым читатели познакомились почти 20 лет назад: в 1961 г. в Кемерове вышла книжка «Когда друзья рядом», написанная им в соавторстве с Гаррием Немченко. В коротких ее очерках, зарисовках, новеллах, репортажах с места событий авторы, сотрудники многотиражки «Металлургстрой», рассказали о строительстве металлургического гиганта в Сибири — Запсиба.

В аннотации к сборнику говорилось: «Два молодых журналиста лицом к лицу увидели то, что мы называем романтикой труда. Они увидели, как настоящая дружба делает человека сильным. И рассказали об этом просто, сердечно, искренне. Авторы так же молоды, как и их герои. И может быть, поэтому книга покорила читателя родниковой чистотой чувств и непосредственностью».

В этой первой книжке, как в живом зерне, содержались ростки тех будущих проблем, которые впоследствии заставят ее авторов глубоко и серьезно познавать жизнь и, познавая, воссоздавать ее в художественных произведениях: оба журналиста — и Емельянов, и Немченко — станут писателями, и проблемы, увиденные здесь, на Запсибе, — а главная из них «Человек и его Дело» с ее многоплановыми аспектами — на долгие годы займут их умы, заставив искать ответы на самые актуальные вопросы жизни.

Об этом ярко свидетельствовали следующие за первой книгой Г. Емельянова «Друг Серега» и «Глубокая борозда» (обе вышли в 1964 г.). Маленькие рассказы первой о встречах почти случайно на

жизненных дорогах людей и пространный очерк о человеке хорошо знакомом — прославленном организаторе колхозного производства, тридцатитысячнике, Герое Социалистического Труда, председателе колхоза имени Димитрова Константине Николаевиче Дегтяренко — при всем различии жанров и объемов произведений роднит общее: стремление автора рассказать о верности человека своему долгу, об ответственности его перед людьми, будь это ответственность перед многими за дело, которое человек взял на себя, как в очерке «Первая борозда», или перед одним, любимым человеком, как в рассказе «Чужая беда» или «Друг Серега».

Проблему «Человек и его Дело» на новом, более высоком художественном уровне осмысливает писатель в следующем, большом произведении — романе «Берег правый» (1965 г.).

Этот роман — о первом этапе строительства Запсиба, где, как и на любой огромной стройке современности, тесно переплелись экономические, технические проблемы с морально-этическими. Емельянов говорил об этом: «Подспудно и давно меня волнует проблема: «Дело и Человек». Не надо думать, что вот, мол, сперва нам хлебушко насущный, а после — все остальное. Так не получится: мы ведь делаем будущее не только в его материальном воплощении, но и гражданина будущего делаем. Одно от другого неотделимо, и нельзя допускать, чтобы человек только давал, растворялся в большом деле — он должен приобретать и накапливать моральные ценности. На первом месте, даже на так называемом переднем плане, остался все-таки человек. Эту мысль я положил в основу романа». Лучшие образы романа — люди, преданные Делу, такие, как рабочий Петр Быков, за внешней резкостью и непокладистостью которого скрываются его человечность и надежность. Автор поднимает и старается решить в романе много аспектов проблемы «Человек и его Дело». Что такое преемственность поколений? Какой человек может называться современным рабочим? Что такое трудовой героизм и романтика первых трудностей? Какова мера подлинной человечности в большом деле большого коллектива?

О том, что вопросы, поставленные в романе, актуальны и что на них даны ответы, свидетельствует интерес к роману: в течение 10 лет он был издан три раза.



В том же 1965 году вышла в свет повесть Емельянова «Хочу удивляться» (первоначальное название «Лед тает весной»). Она тоже — о событиях на строительстве Запсиба. Уже в названии, полемически заостренном, чувствуется призыв автора увидеть красоту окружающей жизни, стать добрее, мягче друг к другу. Герои повести Галя Клочко и Вася Залыгин незаметно несли свет и тепло своих душ окружающим людям, но не все давали себе труд заметить это. Автор устами одного из героев прямо обращается к нашим чувствам: «Я по-прежнему стою на своем: надо, надо удивляться... Ты где-то в самой сердцевине добрый человек, но боишься проявить себя без оглядки, чтобы тебя не сочли наивным... Свет в нас самих. Тьма — тоже. Но не дай свету погаснуть».

Ни в одном из дальнейших произведений Емельянова мы не увидим такого прямого призыва к духовности, хотя проблема «накопления нравственных ценностей» все более глубоко волнует писателя. Недаром же он обращается к первоисточкам формирования человеческой души. Откуда она, доброта? Какой она должна быть? Как она должна быть связана с идейной убежденностью? На эти вопросы писатель ответил в повести «Далекое города» (1972 г.). Конечно, кругом этих вопросов не ограничивается проблематика повести. Федор Ананьин, парнишка из деревни, получает образование в вузе, но стать подлинным человеком учит его доброта и принципиальность коммуниста-фронтовика Алексея Волгина, страстная мечта о хорошей жизни для всех сельчан чудаковатого председателя Олега Порфирьевича Яшина. Смысл жизни этих людей — помочь окружающим жить достойной человека жизнью. И они не просто мечтают, но за мечту вступают в тяжелую борьбу с обстоятельствами, считая себя ответственными за все, что происходит рядом с ними. Такова для писателя мера доброты и правды. Эти уроки не прошли даром для Федора.

Олег Яшин, неукротимый мечтатель, человек «с чужинкой», фанатически верящий в свое дело, в произведениях Емельянова не одинок и не случаен. Писатель таких людей любит. Таков у него Дегтяренко, герой очерка «Глубокая борозда», таковы и герои следующей его книги «Капля из моря» (1975 г.) — доменщики КМК: неутомимый рационализатор и изобретатель Василий Гурьянов и обер-горновой доменного цеха Лукьян Селицкий. Как понимает свое призвание Гурья-

нов? Как ответственность в ее концентрированном виде: «...Стоит знать, что в определенной ситуации довести дело до конца можешь только ты, и никто больше».

В предисловии к этой книге автор, как бы объясняя причины, заставившие его написать книгу о доменщиках, говорит: «...разве можно с легким сердцем предать забвению имена людей, которые отдали себя без остатка, чтобы были мы, было солнце и небо?» Признательность и чувство восхищения водили его пером. И противоположные чувства — негодование, возмущение, ненависть к мещански-обывательскому бесплодному паразитическому существованию заставляли создавать таких героев, как Анастасия Кулагина из повести «Далекie города», или персонажи повестей «Медный таз из сундука» (1976, «Огни Кузбасса») и «В огороде баня» (1978, «Сибирские огни»).

Г. Емельянов владеет разными прозаическими жанрами: рассказом, публицистическим очерком, лирической повестью, «производственным» романом. Повесть «Медный таз из сундука» — фантастическая, «В огороде баня» — сатирическая. (Такая многоплановость может удивлять лишь невнимательный глаз — по всем произведениям Емельянова рассыпаны блестики юмора, острые сатирические образы). При всей фантастичности повесть «Медный таз из сундука» с полным правом можно назвать и сатирической, потому что единственный фантастический персонаж ее — засланный инопланетянами с целью получения достоверной информации о жизни землян робот в виде медного таза не мешает земным героям заниматься будничными мелкими делами. Неслучайно эпиграфом к повести писатель приводит слова из «Жития протопопы Авакума»: «...понеже не словес красных бог слушает, но дел наших хочет».

Таким образом, и в фантастической повести Емельянова своеобразно нашла воплощение самая дорогая его мысль: человек должен жить достойно, творить на земле прекрасное и сам быть прекрасным.

«В огороде баня» — едкая сатира, высмеивающая такие черты нашей общественной жизни, как безответственность и равнодушие, которые являются почвой для произрастания и процветания таких пороков, как пьянство, рвачество, разгильдяйство.

В 1978 году Геннадий Емельянов заканчивает повесть «Бабыим летом».

В какой-то мере повесть автобиографична: после окончания университета Геннадий Емельянов работал литсотрудником сельской районной газеты, познавая азы журналистской работы и сельского хозяйства.

Повесть «Бабым летом» как бы служит сюжетным продолжением повести «Далекie города», хотя главный герой первой и второй — не одно и то же лицо. Гурьян Лопатин — это как бы повзрослевший Федор Ананьин, закончивший вуз и начинающий свои первые самостоятельные шаги в трудовой жизни.

Непосредственность, совестливость, наивность и мягкость Гурьяна Лопатина — это те человеческие качества, которые помогут ему разобраться в сложной пестроте людских взаимоотношений.

Это только сначала Гурьяну Лопатину кажется все просто и ясно во взаимоотношениях сотрудников газеты, колхоза и райкома, и молодой журналист ничтоже сумняшеся пишет свои материалы, и, конечно, ошибается, давая прямолинейные оценки всему увиденному, и, стало быть, рубит с плеча.

Далеко не сразу Гурьян Лопатин поймет сложность жизни, противоречивость даже в каждом человеке.

Умнеть, мудреть его заставят разные люди, с которыми он связан общим делом: председатель колхоза Кротов, старый коммунист Кузьма Кузьмич Савостьянов, человечность и преданность которого так дорога герою повести. И конечно, секретарь райкома партии Маслов, кажущийся герою повести сначала неприступным и черствым, а при более внимательном его постижении — деловым, умным и глубоким руководителем.

Гурьян понял, что действие выше слов, что жизнь чрезвычайно сложна, что право судить о людях нужно завоевать не только знанием мотивов их поступков, но и конкретным умением делать для общества что-то важнее, необходимое. И делать хорошо, во всю силу способностей и души.

**Л. Глебова**

## СОДЕРЖАНИЕ

ДАЛЕКИЕ ГОРОДА . . . . .	3
БАБЬИМ ЛЕТОМ . . . . .	206
Л. Глебова, Немного об авторе и его книгах .	395

ИБ № 283

Геннадий Арсентьевич Емельянов

**ДАЛЕКИЕ ГОРОДА**

**БАБЬИМ ЛЕТОМ**

Повести

Редактор Л. В. Глебова; художественный редактор А. С. Ротовский; технический редактор Г. В. Адова; корректор Е. И. Тимощук.

Сдано в набор 13.IX.1978 г. Подписано к печати 22.VIII.1979 г. Формат 70×108<sup>1/2</sup>. Гарнитура журнальная рубленая. Печать высокая. Бумага типографская № 3. Усл. печ. л. 17,5. Уч.-изд. л. 18,88. Тираж 30000 экз. ОП00699. Заказ 10837. Цена 1 руб. 30 коп. Кемеровское книжное издательство, Кемерово, Ноградская, 5. Типография издательства «Омская правда», Омск. Пр. К. Маркса, 39.







1 р. 30 к.

ЦБС им. Н. В. Гоголя  
г. Новокузнецк



13842100301786